

НОВЫЙ Журнал

200

**THE NEW
REVIEW**

1995



THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Г. Андреев, Л. Ржевский

1978-1981 редактор Роман Гуль

1981 - 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 - 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкаров, Е. Магеровский

1986 Редакционная коллегия

1990 - 1994 редактор Юрий Кашкаров

пятьдесят четвертый год издания

(сентябрь 1995)

Редактор Вадим Крейд

Редакционная коллегия:

Сергей Голлербах

Марк Раев

Всеволод Сечкарев

Игорь Чиннов

Зоя Юрьева

Секретарь редакции

Александр А. Пушкин

Обложка работы Мстислава Добужинского

THE NEW REVIEW

SEPTEMBER 1995

© 1996 by THE NEW REVIEW

Присланные рукописи не возвращаются

Просим издательства, редакции газет и журналов СНГ
всякий раз ставить нас в известность о намерении
перепечатать произведения, когда-либо помещенные на
страницах "Нового Журнала"

Редакционная коллегия

THE NEW REVIEW (ISSN 0029-5337) is published quarterly
by The New Review Inc., 611 Broadway, #842, New York,
N.Y. 10012. Second Class postage paid at New York,
N.Y. Publication No. 596680. POSTMASTER: Send
address changes to the New Review, 611 Broadway, #842,
New York, N.Y. 10012

СОДЕРЖАНИЕ

Двухсотый номер	5
<i>Г. Газданов</i> — На острове. Рассказ	8
<i>А. Несмелов</i> — Два неизвестных стихотворения	18
<i>В. Набоков</i> — Что как-то раз в Алеппо; Забытый поэт; Быль и убыль; Условные знаки; Сестры Вейн; (<i>Г. Барабтарло</i> — Послесловие переводчика)	21
<i>В. Яновский</i> — Ересь нашего времени. Роман	83
<i>И. Акимов</i> — Стихи	139
<i>В. Сечкарев</i> — Резонеры-философы в романах М. Алданова	143
<i>С. Сендерович</i> и <i>Е. Шварц</i> — Цинциннат в двойной эмиграции	170
<i>О. Ильинский, В. Синкевич, И. Легкая</i> — Стихи	189
<i>Ю. Кашкаров</i> — Дама в белом. Рассказ	192
<i>А. Грицман, А. Алейник</i> — Стихи	208
<i>И. Муравьева</i> — Близнецы. Рассказ	211
<i>А. Сибилев, М. Бриф</i> — Стихи	230

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

М. Алданов — А. И. Коновалову — Публикация <i>А. Любимова</i>	232
<i>М. Раев</i> — М. М. Карпович: русский историк в Америке	244
<i>Л. Ржевский</i> — Зажмурясь в прошлое... ..	249
<i>Р. Гуль</i> — Моя краткая биография	276
Письма Романа Гуля писателям — Публикация <i>В. Крейда</i>	278
Письма писателей к Р. Гулю — Публикация <i>Г. Поляка</i>	296
Булгаков — Шестову, Шестов — Булгакову — Публикация <i>М. Раева</i>	311
Ларисса вспоминает — Публикация <i>Э. Штейна</i>	315

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

<i>М. Поповский</i> — Постскрипtum	327
<i>А. Л. Белый</i> — Об Иване Акимове и его стихах	328

<i>И. Грэм</i> — Еще об А. С. Лурье	332
<i>Э. Штейн</i> — Альбом шаржей В. Сорокина	339
Письма в редакцию	341

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>В. Крейд</i> — Поэт Игорь Чиннов	345
<i>О. Ильинский</i> — Памяти Игоря Владимировича Чиннова	347

БИБЛИОГРАФИЯ

<i>М. Раев</i> — Н. Е. Андреев. То, что вспоминается	350
<i>С. Голлербах</i> — The Salon Album of Vera Sudeikin-Stravinsky	352
<i>В. Синкевич</i> — Марина Гарбер. Дом дождя	356

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ "НОВОГО ЖУРНАЛА" (КНИГИ 192—200)	361
--	-----

ДВУХСОТЫЙ НОМЕР

Когда НЖ только еще создавался, М. Алданов писал поэту М. Цетлину: две книги выйдут, а далее будет видно. Шел самый тяжелый военный год. Уверенность в успехе нового издания в Новом Свете была шаткой. Перспективы оставались неясными. И все же как проявление жизненного и творческого оптимизма в трудном 1942-ом году вышел первый номер. Р. Гуль как-то обмолвился: потому и выжили, что были бедны. Даже единоличный редактор Гуль, который тридцать с лишним лет отдал журналу, не мог бы поручиться, что НЖ доживет до ДВУХСОТОГО номера. Как видим, дожил. Спасибо друзьям журнала. Без их благородной поддержки не было бы двухсотой книги, не было бы и сотой.

Сменялись литературные поколения. Сколько их прошло за долголетнюю историю журнала? Напомню, что старейшими из наших авторов были люди, родившиеся в царствование Александра Второго, а юннейшие — в годы брежневщины. Сотрудник НЖ философ Н. Лосский родился в 1870-м, Иван Алексеевич Бунин — в 1870-м, писательница А. Тыркова-Вильямс — в 1869-м. А сегодняшние молодые авторы — столетие спустя. Такова наша хронология непрерывности и традиции. Подобных русских изданий уже не найти. Сов. строй лишил целые поколения права на преемственность. О культурной непрерывности позаботились люди эмиграции. Сбереечь традицию — духовную связь с Россией вечной — можно было только в условиях свободы: это ясно как Божий день.

Спрашивали о направлении НЖ, и я чувствовал, что проще сказать, чем он не является. Сказать, что он ни левый, ни правый. Что не гонялся за злободневностью, но оставался современным. Что не поддерживал низости и ненависти. Что отрицал тоталитаризм и шовинизм. Не печатал того, что "сле-

довало", но печатал, что талантливо. А в центре внимания оставался феномен свободы.

Свобода мысли, творчества, самовыражения были фундаментальными понятиями для обоих основателей НЖ. "Если бы мы назвали просто... "Свобода", — писал Алданов Цетлину, — было бы лучше всего". Имелся и другой вариант: "Русский журнал" (не об абстрактной же свободе шла речь). Но чтобы подчеркнуть преемственность, наследие, традицию, остановились на названии "Новый журнал". Лет через тридцать, в сотой книге, Р. Гуль писал снова о том же: наша цель и смысл существования — свободное русское творчество, свободная мысль.

Сотрудники парижских "Современных записок" (1920 — 1940), приехав в Америку, намерены были возродить закрывшийся из-за военных событий лучший журнал первой эмиграции. Кое-что из его портфеля вскоре появилось на страницах НЖ. Видя в нем продолжение "Современных записок", можно назвать его старейшим из существующих русских журналов. Через "Современные записки" протянулась нить к дореволюционной журналистике. В книге "Русская литература в изгнании" Глеб Струве писал, что НЖ "оставался главным журналом Зарубежья, напоминая и своим положением, и своим характером "Современные записки". Андрей Седых, редактор "Нового русского слова", говорил, что лучшее, созданное в эмиграции, появилось в НЖ. И еще: "Если когда-нибудь нас спросят, что ценного создала русская эмиграция, мы сможем с гордостью ответить: "Новый Журнал". Так судили о вкладе эмиграции в русскую культуру по НЖ, и в годы советчины он действительно выполнял миссию по сохранению духовных основ нашей культуры. Именно отсюда — широта и терпимость, демократизм и плюрализм. Отсюда возможность для писателей разных взглядов и творческих манер собираться, как на форум, под одной обложкой. При всем эстетическом и философском многообразии проявлялся единственный вид нетерпимости — к антикультуре.

В последнее десятилетие журнал стал связующим звеном между литературным Зарубежьем и демократической интеллигенцией России. НЖ был и есть преимущественно о России,

отчасти — об эмиграции. Будучи самой эмиграцией, он явился голосом ее преобладающей части, той, что дорожила демократическими традициями. НЖ предоставлял свои страницы авторам из СССР, а со времен перестройки — многочисленным авторам из России.

Неакадемический ежеквартальник, благодаря своему интеллектуальному и культурному уровню, НЖ стал нужным изданием для ученых-славистов многих стран. На страницах НЖ (а их более пятидесяти тысяч) представлена целая мемуарная библиотека, не говоря уже об архивных документах, эпистолярном наследии и др. Комплект НЖ не раз служил источником исследований для гуманитариев разных профессий.

Двухсотую книгу мы решили посвятить русскому Западному берегу. Мы вспоминаем и чтим бывших редакторов — Алданова, Карповича, Гуля, Кашкарова. Читатель познакомится с неизвестными произведениями, с письмами, со статьями о некоторых из них. В двухсотом номере публикуются неизвестные произведения новожурнальных писателей — Набокова, Газданова, Яновского. Представлены и другие издавна знакомые новожурнальные имена: Б. Зайцев, В. Вейдле, А. Бахрах, В. Муромцева-Бунина, Г. Иванов; и рядом с ними имена менее известные или неизвестные совсем. В двухсотом номере собрались все эмигрантские "волны", не исключая новейшей — еще одной составляющей российской диаспоры.

В. К.

Гайто Газданов
(1903-1971)

НА ОСТРОВЕ

В те дни, когда в садах лица
Я безмятежно расцветал...

Я учился в четырех гимназиях, в реальном училище, в кадетском корпусе и, наконец, в парижском университете, — но нигде не видел ничего, что хоть отдаленно напоминало бы то своеобразное учреждение, в которое поступил в Константинополе, в тысяча девятьсот двадцать втором году; удивительное и неповторимое время, когда одинаково возможными казались и поездка в Америку, и превращение — как в Шехерезаде — в турецкого рыбака, или солдата британской армии, или подданного голландской королевы. Все было зыбко и расплывчато, никто бы не мог сказать, что будет завтра, люди добывали средства к жизни самыми неожиданными способами. Один мой знакомый, например, не обладавший ни музыкальным образованием, ни даже слухом, хорошо зарабатывал, настраивая рояли. Это было так поразительно, что я попросил его рассказать, каким образом такая вещь могла удаваться.

— Очень просто, — сказал он, — все это чистейшая психология.

— Я до сих пор думал...

— Совершенно напрасно. Я прихожу в дом, где есть пианино, и спрашиваю, не нужно ли его настроить. Хозяйка мнется. Тогда я сажусь за рояль и играю вальс, который с величайшим трудом выучил, — и не думайте, что по нотам, так как нот я не знаю; знаю, что есть ключ скрипичный и ключ басовой, а чем они друг от друга отличаются, — черт их ведает. Да, играю вальс и нахожу, что пианино необходимо настроить. Хозяйка соглашается. Я прошу всех выйти из комнаты и закрыть дверь, так как иначе работать не могу. Все удаляются. Я сажусь, вынимаю книжку и читаю с полчаса; иногда для разнообразия нажимаю один клавиш. Потом отворяю дверь и говорю:

— Пианино настроено, мадам.

Она что-то там играет и находит, что действительно совершенно другой звук, что я прекрасно его настроил. Затем я получаю деньги и ухожу. Вот и все.

Он учился вместе со мной, потом работал во Франции, был маляром и собирался поступать в *Ecole de langues orientales*; он бегло говорил по-турецки, по-гречески, по-армянски и по-персидски. Умер от туберкулеза в Ницце несколько лет тому назад.

Константинопольская гимназия, в которую меня приняли, переехала месяца через два в один из городов Болгарии. Я хотел написать — в небольшой провинциальный город; но в Болгарии все города небольшие и провинциальные. Это была закрытая восьмиклассная гимназия. Все мы состояли на полном пансионе, который, впрочем, ввиду нерегулярного "поступления сумм", не всегда было достаточным; во всяком случае, летом из экономии ходили босиком. Гимназия занимала большое здание, окруженное двором и садом. Освещение было керосиновое, а отопления вовсе не было, пока мы сами не устроили глиняных печей. Учеников разных классов было, помнится, двести с чем-то и человек пятьдесят служебного и педагогического персонала. И ученики, и персонал были не совсем обыкновенными. Большинство гимназистов в недавнем прошлом были солдатами, офицерами или матросами. В седьмом классе самому младшему ученику было семнадцать лет, самому старшему — тридцать шесть: как это проходило в

официальных отчетностях — не знаю. Среди нас были кочегары, артиллеристы, матросы коммерческого, военного и даже парусного флота, был комендант города Керчи, ставший учеником пятого класса, — учился он средне, но обнаружил большую склонность к любительским спектаклям, где неизменно играл в пьесах Островского на патетических ролях с задушевыми интонациями, — были спекулянты, столяры, рабочие, офицеры разных чинов, впрочем, не старше капитана, был один ротмистр, милейший и беспечнейший человек, кончивший кадетский корпус в России в тысяча девятьсот десятом году. И все эти люди усердно учились. Культурный уровень их был тоже очень различен; но учеников, обладающих нормальным для своего возраста запасом знаний, хотя бы по Пушкину:

Мы все учились понемногу
Чему-нибудь и как-нибудь —

было ничтожное меньшинство. Помню, преподаватель математики, увлекавшийся и очень любивший свой предмет, экзаменовал одного вновь поступавшего юношу, чтобы определить, в какой класс он может быть принят. Юноша стоял у доски — с усердным и недоверчивым видом: ему было лет восемнадцать, на нем были штаны галифе и сапоги бутылками. Преподаватель математики стал его спрашивать:

— Вы помните квадратное уравнение?

Экзаменующийся с трудом крякнул и промолчал.

— Не помните? Ну, это не удивительно. Это ничего, мы с вами сейчас выведем первую формулу квадратного уравнения. Существует, если вы не забыли, две формулы, но мы пока что ограничимся первой формулой простого квадратного уравнения. Ну, пишите: $x^2 + px + q = 0$.

Сапоги бутылками несколько раз тяжело переступили с места на место. Экзаменующийся не писал.

— Ну пишите же: $x^2...$

Экзаменующийся не писал. Причина выяснилась довольно быстро: он не знал латинского алфавита. Это даже у

нас было исключительно. Но я помню, как сокрушался один мой одноклассник, сидя над французским уроком: в трех-страничном отрывке из "Отверженных" Виктора Гюго, который он переводил, ему попало четыреста незнакомых слов. В пятом классе был ученик, написавший совершенно анекдотическое сочинение на тему о Кавказе, которое потом долго ходило по рукам и где Кавказ был назван "жемчужиной России с очень многими ископаемыми". "Искаемые" значило ископаемые: и, что удивительнее всего, употребляя этот сомнительный термин, ученик имел в виду минеральные богатства Кавказа, полагая, по простоте душевной, что если их добывают из-под земной поверхности, то почему же им не быть ископаемыми.

Педагогический персонал был не менее оригинален. Далеко не все были профессиональными преподавателями. Это имело свои дурные и хорошие стороны. Лучшим из них был директор гимназии, Григорий Григорьевич Мейер. Кажется, в России он был одним из преподавателей артиллерийской академии. В нем не было ничего военного или административного: но управлял он гимназией, что было особенно трудно при таком составе учащихся, при всегда стесненных материальных обстоятельствах, — так хорошо и умно, что не было ни резких мер, ни наказаний, — и все шло настолько прекрасно, насколько это вообще было возможно. Каждый гимназист пользовался такой свободой, что мог бы делать все, что захотел; но непостижимый секрет Григория Григорьевича заключался в том, что даже самые отпетые ученики ни разу не захотели воспользоваться этой свободой. Как и большинство дельных людей, Григорий Григорьевич не был особенно словоохотлив; но с тем большим вниманием его слушали, когда он говорил. Вместо наказаний, он употреблял следующий способ воздействия: вечером после ужина он собирал всех учеников и говорил с ними о тех или иных проступках, коротко их комментируя. Здесь он бывал безжалостен: читал нам вслух любовную переписку учеников (гимназия была смешанная), — или говорил, с недоумением пожимая плечами, — речь шла об "Орле", ученике седьмого класса, бывшем профессиональном борце, человеке добродушном и миролюбивом,

никогда не прибегавшем к физической силе, но не всегда словесно корректном и своеобразно диком, — господа, ну, представьте себе: вот вы кончаете гимназию и едете за границу, и Орел тоже едет; и вот — Орел в Париже. Ну, представьте себе: Орел — в Париже! Вся гимназия начинала хотеть; думаю, что Орел чувствовал себя неважно.

В другой раз директор читал нам послание гимназиста к Людмиле Д., ученице шестого класса:

"Дорогая Милочка, вы можете мне не верить, но я нахожусь на краю напряжения"...

— Я не говорю о стиле, — разводил руками Григорий Григорьевич, — но вообще разве можно так писать? На краю напряжения, — это совсем нехорошо.

Он преподавал физику, и у него не было неуспевающих учеников. Я был всегда плох в точных науках и особенной любви к ним не питал; но физику учил; было уж очень неловко выйти к доске и не знать, как устроен электроскоп, или как идут лучи в лупе — смотреть в умные, понимающие и снисходительные глаза Григория Григорьевича и не быть в состоянии ответить — было бы просто унижительно. Такое чувство было у всех, и к урокам физики готовились особенно усердно.

Другим преподавателем, непохожим на остальных, был Валентин Валентинович Рашевич; он заслуживал бы того, чтобы о нем написали не несколько слов, а целую книгу. Принадлежал он к той породе энциклопедически образованных людей гуманистического порядка, которые существовали в блистательном девятнадцатом столетии и которых почти не осталось в нашем веке, невежественном и убогом. Кажется, он знал все: он одинаково свободно говорил и о двигателях внутреннего сгорания, и об египетской культуре, о медицине, математике, философии и английской литературе.

Никогда не забуду его последней речи — в день выпускного акта. Он говорил о Паскале и Пастере и кончил, обращаясь к нам:

— В мире есть три рода борьбы за существование: борьба на поражение, борьба на уничтожение и борьба на прими-

рение. Помните, что самый лучший и самый выгодный род борьбы — это борьба на примирение.

Преподавал он нам русскую литературу, читал нам классиков и объяснял, как их следовало понимать: объяснения его, при всей их замечательности, — мне не приходилось впоследствии ни слышать, ни читать ничего, что могло бы сравниться с их интуитивной безошибочностью и непогрешимым, мгновенным угадыванием самых удаленных сторон скрытого смысла; обычные критические статьи казались беспомощным лепетом по сравнению с его объяснениями, и было смешно и жалко открывать потом учебник словесности — правда, более глупых книг, чем русские учебники словесности, не существует, — объяснения его отличались тем недостатком, что были недоступны большинству учеников; и я помню мертвенно непонимающие лица, когда Валентин Валентинович с волнением в голосе, повторял фразу Паскаля, ужасную по своему трагизму, почти нечеловеческому:

— "C'est le silence éternel des espaces infinies qui m'effray".

Я как-то спросил его мнение о религии. — Надо верить в Бога, — сказал он, — это, может быть, самое прекрасное, что придумали люди.

Через несколько дней после этого у нас в гимназии умерла от какой-то молниеносной болезни одна учительница, молодая женщина двадцати четырех лет. Ночью я вышел на балкон; было душно, недвижимое небо тяжело лежало над нами; в передней я увидел старика с седой бородой, отца умершей; он сидел за столом, плакал и читал Евангелие. На балконе я заметил широкую спину Валентина Валентиновича. Я на цыпочках подошел к нему. Он повернул ко мне свое лицо, освещенное медным светом луны, — и сказал:

— Ну, что вы можете ответить этому старику, чем вы можете его утешить? Все сокровища мира не существуют для него, — и нет человеческих слов для его утешения. И видите, — он читает Евангелие. Чем вы замените ему эту единственную книгу?

Всем нам — и преподавателям тоже — жилось трудно; помню, мы узнали, что у Валентина Валентиновича нет денег

на табак; мы собрали всем классом какую-то сумму и во время отсутствия Валентина Валентиновича поставили ему на стол в его комнате коробку с тысячью папирос.

Он помогал всем, кто к нему обращался: нужно было решить сложную задачу — шли к нему; нужен был трудный перевод — обращались к нему же. И однажды наша одноклассница, готовившаяся к экзамену и плакавшая над совершенно непонятной теплотой, — никто не мог ей объяснить, что такое теплота, — пошла к Валентину Валентиновичу — по нашему совету; было решено, что если уж он не объяснит, то значит это — вне человеческих возможностей; и, поговорив с ней полчаса, Валентин Валентинович заставил ее понять теплоту. Как он этого достиг — уму непостижимо. Ученица выдержала экзамен. — Это на вас вдохновение нашло, — сказал ей преподаватель. — Валентин Валентинович объяснил, — ответила она.

Было бы слишком долго рассказывать о всех наших преподавателях. Я приведу лишь несколько примеров. Был такой воспитатель, генерал Орлов, ныне покойный, который решительно не знал, как с нами обращаться — то ли как с солдатами, то ли как с кадетами; штатских людей он до этого, я думаю, почти не видел. И он изобрел такую странную формулу обращения: "господин молодой человек".

Каждое воскресенье он неизменно приходил к нам в дортуар — и заставлял меня в постели.

— Господин молодой человек, — громко говорил он, — извольте вставать и отправляться в церковь.

— Да я, Василий Степанович, в Бога не верю.

— Все равно, ведь вы же, слава Богу, православный, а не басурман. Глупости. Верите, не верите, а в церковь надо идти.

Однажды он отправил таким образом на богослужение одного нашего гимназиста, еврея, на том основании, что "Бог у всех один". Преподавал он историю; и, оставляя в стороне конгрессы и торговые соглашения, особенно налегал на войны, — в противоположность второму историку, дряхлому старику Тирце, не любившему войн и налегавшему на конгрессы. Этот Тирце сказал мне, узнав, что я выписал из Берлина несколько книг и в том числе какой-то из романов

Эренбурга: — Зачем вы такие книги читаете? Ведь это все одна компания: Грузенберг, Эренбург и так далее — ведь это же масоны.

У него была привычка говорить:

— Я вам откровенно скажу...

Фразу эту он произносил механически и говорил тогда, когда она не имела уже вовсе никакого смысла; например:

— Я вам откровенно скажу: Петр Великий умер в 1725 году.

Читал он свои исторические лекции по собственному курсу, им составленному и переписанному его рукой. Сочинения, которые ему подавали, он оценивал в четыре, — если сочинение было, мягко говоря, заимствовано из учебника Платонова, — и на три с плюсом, если из другого. Один гимназист захотел его перехитрить и скопировал свою письменную работу из собственного курса Тирце, — все от слова до слова. Тирце поставил ему три с минусом и внизу укоризненно приписал: "стиль слабоват" — что, впрочем, было совершенно верно. Тирце был очень стар; он, кажется, родился в тысяча восемьсот сорок пятом году и преподавал, как кто-то сказал про него, — всю новую историю по личным воспоминаниям.

Не знаю, каким чудом, в силу какого эмигрантского недоразумения к нам в воспитатели попал бывший жандармский полковник Травкин, человек почти сумасшедший и исключительно неудачливый во всем, за что ни брался. Ему поручили огород; он посадил пять мешков картофеля и в нужное время собрал только три. Тогда ему доверили скотный двор; но из шести свиней, над которыми он начальствовал, четыре скоро издохли; кажется, он гонял их на корде, чтобы они "не теряли формы". Отчаявшись найти Травкину какое-либо полезное применение, его попросили преподавать Закон Божий в приготовительном и первом классе, но однажды инспектор попал на его урок и услышал, как Травкин спрашивал своим жандармским басом восьмилетнего стриженного мальчика с испуганным лицом, — сколько километров от Вифлеема до Назарета. Мальчик не знал и получил двойку. После этого

Травкина освободили от обязанности преподавать Закон Божий, — и так он остался в гимназии, ничего не делая, "без руля и без ветрил", — то прохаживаясь по коридорам, то спускаясь в огород и сад и заглядывая на осиротевший скотный двор, где он недавно еще был властелином и экспериментатором. Последнее, что ему поручили, — было вымостить дорожки внутреннего двора, соединявшие два корпуса здания; он их посыпал щебнем, а сверху положил толстый слой какой-то особенно вязкой глины, сделав эти дорожки совершенно непроходимыми после дождя.

Был еще заведующий библиотекой, болезненно бережливый и аккуратный человек: книги он выдавал с величайшей неохотой, уверяя, что если их не брать, то они будут в сохранности; это было бесспорно, но книги все-таки брали. Видя, что уговоры не действуют, он решил прибегнуть к более решительным мерам: прибил на дверях надпись — "библиотека закрыта по случаю проверки книг", — и успокоился. Через некоторое время ему заметили, что книги все-таки нужно выдавать. Тогда он написал другое объявление: "Библиотека временно открыта", и опять стал давать книги чуть не со слезами на глазах.

Был у нас священник, говоривший с сильнейшим украинским акцентом, франт и шеголь; он низко стриг волосы à la gaçonne, носил узенькие штаны и лакированные туфли и тросточку, а рясу набрасывал на руку, как плащ или накидку. Он был удивительно красноречив, его можно было слушать часами, речь его убаюкивающе катилась, почти как колыбельная песня, до тех пор, пока он не начинал говорить явные несообразности вроде успехов современной хирургии: "делали операцию пожилому пациенту, и, можете себе представить, из одного носа шестьдесят три косточки вытянули"; по-видимому, в его представлении пациенты были более костистые и менее костистые, — как рыбы; жил он в мечтах, окруженный воображаемыми чудесами хирургии и другими столь же неправдоподобными вещами. Я попытался однажды вслушаться в то, что он говорит; это были плавные фразы, в которых временами появлялся частичный смысл, тотчас

поглощавшийся потоком новых, ничем между собой не связанных, слов:

— Как цветок тянется своими лепестками до солнца, — говорил он, — так душа человеческая до Господа Бога, и в последнее время многие ученые. Кроме того, но не забывая, каждый ученик среднего учебного заведения может вести дневник...

Он уехал потом от нас, его сменил другой священник, озлобленный, несчастный и очень некультурный человек, вскоре умерший.

Особенно хорошо в гимназии было летом, когда можно было сколько угодно лежать в саду, есть прекрасные болгарские дыни и арбузы, — кругом была болгарская тишина и зелень, все было лениво, спокойно и хорошо. Было хорошо еще то, что в те времена мы были непростительно молоды, пели "Гаудемаус", и перед нами была целая жизнь — Берлин, Вена, Париж, и все казалось легким и блистательным. Мы не знали тогда, какие страшные утраты ожидают нас; немногие увидели стены университетских аудиторий, остальных ждала бессмысленная и тяжелая жизнь иностранных рабочих.

Многие умерли, некоторые, — в том числе Орел, — сошли с ума; большинство надежд не оправдалось, — и нужда и горе оказались такой же плохой и бесплодной наукой, какой был для нас опыт гражданской войны и долгой жизни за границей.

В гимназии был балкон, с которого открывался вид на поля и деревья, лежавшие перед глазами. В солнечные, летние дни, в силу странного зрительного обмана, сначала казалось, что видишь перед собой синее море; и гимназия тогда представлялась островом или кораблем, медленно движущимся навстречу этому синему пространству.

ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ СТИХОТВОРЕНИЯ А. НЕСМЕЛОВА

В письме к Раисе Ломоносовой из Медона в Америку Марина Цветаева писала 1-го февраля 1930 года:

"Есть у меня друг в Харбине. Думаю о нем всегда, не пишу никогда. Чувство, что из такой, верней на такой дали все само собой слышно, видно, ведомо — как на том свете — что писать потому невозможно, что — не нужно. На такие дали — только стихи. Или сны".

Имелся в виду лучший русский поэт Харбина — Арсений Несмелов. В письме к Ивану Александровичу Якушеву, редактору пражского русского журнала "Вольная Сибирь", Несмелов писал: "Теперь следующее. Марине Цветаевой, которой я посылал свою поэму "Через океан", последняя понравилась. Но она нашла в ней некоторые недостатки, которые посоветовала изменить. На днях она пришлет мне разбор моей вещи, и я поэму, вероятно, несколько переработаю" (письмо от 4 апреля 1930 года).

Разбора поэмы от Цветаевой Несмелов не дождался, — хотя хотел ей эту свою лучшую большую вещь посвятить. В письме от 14 августа 1930 года тому же адресату он пишет: "Разбора поэмы от Марины Цветаевой я не буду ждать. Она хотела написать мне скоро, но прошло уже почти полгода. Напоминать я ей тоже не хочу. Может быть, ей не до меня и не до моих стихов. Не хочу да и не имею права ее беспокоить. Она гениальный поэт".

В письме к И. Н. Голенищеву-Кутузову от 30 июня 1932 года (в Париж) Несмелов писал еще раз: "Позвольте вручить вам оттиск моей поэмы "Через океан". Она была напечатана в шанхайском журнале "Понедельник", в скором времени ее издадут отдельной

книжкой с красивым рисунком на обложке. Я хотел посвятить ее Марине Цветаевой и почти получил от нее разрешение на это. Но потом как-то это не вышло".

Ну, а почему "не вышло" — объяснено в письме самой Цветаевой, процитированном выше. Во второй половине двадцатых — первой половине тридцатых годов Несмелов слал письма и стихи в Европу пачками. Почти все пачки погибли, некоторые — не то чтобы чудом, скорее случайно, по теории вероятности — уцелели.

В архиве журнала "Звено", попавшем в Москву, в РГАЛИ, и лишь недавно выведенном из "спецхрана", такая пачка тоже есть. Почти все стихотворения, приложенные к письму от 26 августа 1927 г., хорошо известны, но два, предлагаемые вниманию читателей "Нового Журнала", не попадались ранее ни в публикациях, ни в автографах.

Текст воспроизводится по фонду РГАЛИ № 2475, опись 1, е. х. 334.

Евгений Витковский, Москва

Арсений Несмелов

* * *

Я одинок, без близких и друзей,
Целую очи моего искусства,
Придет толпа, я говорю: "Глазей!"
Придет поэт: "Товарищ, знаю вкус твой!"

А может быть, стихов из тысячи,
Кремневых два — бессонное терпенье
Кладет в карниз — простые кирпичи
Собора, загудевшего от пенья.

И голуби свистящий свой полет
Смахнут с крыла и рядом заворкуют,
Ведь сердце обреченное поет,
Не требуя награду никакую.

САМОЕ ОБЫКНОВЕННОЕ

На Каланчевской пять, квартира три,
Жил человек. Труслив, к тому ж развязен.
На желтом лбу его цвели угри,
Воротничок всегда помят и грязен.

Но полночью к нему пришел Господь,
Он милосерд, иль с неба видно проще, —
И до утра и до рассвета вплоть
Сияло в комнате, как в снежной роще.

И стало так. Он жил теперь в пустом
Пространстве рокота и вихревого гула,
А по ночам беседовал с Христом
В саду, у склона лунного аула.

И раз Христос сказал, сияя весь,
Они тогда к ручью сходили вместе:
"Ошибся я, тебе бы жить не здесь
И не теперь, а лет назад на двести!"

И с Каланчевской пять, квартира три
Поднял его и отослал в былое,
И встретил он румяный свет зари
В избе, в скиту, в лесу у аналая.

И память старца праведного чтим,
Не ведая, не знающие крылий,
Что вот прошел он спутником твоим,
Что с ним вчера еще мы вместе жили.

Владимир Набоков

ЧТО КАК-ТО РАЗ В АЛЕППО...

Дорогой В., помимо прочего, пишу тебе, чтобы сообщить, что я наконец здесь, в стране, куда столько закатов вело. Один из первых, кого я встретил, был наш старый приятель Глеб Александрович Гекко, угрюмо пересекавший проспект Колумба в поисках *petit café du coin*, где никому из нас троих уж больше не сиживать. Он, кажется, считает, что ты каким-то образом изменяешь отечественной литературе, и дал мне твой адрес неодобрительно покачивая седой головой, как если бы ты не заслуживал удовольствия получить от меня письмо.

У меня для тебя история. Это мне напоминает, т. е. эти мои слова напоминают мне те дни, когда мы писали парные, ещё пенившиеся стихи, и всё на свете, будь то роза, или лужа, или освещенное окно, кричало нам: "Я рифма! I'm a rhyme!" Да, вселенная эта полна возможностей. Играем, умираем; *ig-rhyme*, *umi-rhyme*. И звучная душа русских глаголов придает смысл буйной жестикуляции деревьев или какому-нибудь брошенному газетному листу, который скользит, останавливается, и снова шаркает безильными всплесками, безкрылыми рывками, по безконечной, обметаемой ветром набережной. Но теперь я не поэт. Я пришел к тебе как та экспансивная чеховская дама, которой до смерти хотелось, чтобы ее описали.

Russian translations of five stories, copyright © 1996 by The Vladimir Nabokov Estate
"The Vane Sisters", copyright © 1975 by Vladimir Nabokov,
"That in Aleppo Once", "A Forgotten Poet", "Time and Ebb", copyright © 1958 by
Vladimir Nabokov.

В рассказах В. Набокова и в Предисловии сохраняется правописание и пунктуация переводчика. — *Ред.*

Я женился через месяц, что-ли, после того как ты покинул Францию, и за несколько недель до того, как благодущные немцы с ревом ворвались в Париж. Хотя я могу представить документальные доказательства моего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения: это имя призрака. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое рассказа (точнее, одного из твоих рассказов).

Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем с первого взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая; но как-то вечером я провожал ее домой, и что-то забавное, сказанное ею, заставило меня со смехом нагнуться и легонько поцеловать ее волосы. И кому же не знаком этот ослепительный взрыв, вызванный всего-навсего тем, что с пола подобрал небольшую куклу в доме, который основательно подготовили прежде чем его покинуть: оказавшийся здесь солдат ничего не слышит; для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что всегда было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах оттого, что видимая твердь, особенно ночью (над нашим затемненным Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и безпрестанным альпийским звучанием пустынных писсуаров), кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва.

Но разглядеть ее я не могу. Она остается такой же смутной, как и лучшее мое стихотворение — то самое, которое ты так язвительно высмеял в *Литературных Записках*. Когда хочу изобразить ее, я принужден мысленно держаться за маленькое родимое пятнышко на ее опушенной руке, как, бывает, сосредоточиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Быть может, если бы она употребляла больше грима или употребляла его постоянно, я мог бы сегодня вообразить ее лицо или хотя бы тонкие поперечные бороздки на сухих, горячих, накрашенных губах; но нет, не могу, не могу — хоть я еще иногда ощущаю их уклончивое прикосновение, как бы в жмурки играющее с моими чувствами в одном из тех ще-

мнящих снов, в которых она и я неуклопе хватаемся друг за друга в душераздирающем тумане, и я не могу разглядеть цвета ее глаз из-за пустого блеска накипающих слез, застилающих их райки.

Она была гораздо моложе меня — не настолько, насколько Натали с ее прелестными обнаженными плечами и длинными серьгами была моложе смуглолицего Пушкина; но все-таки этой разницы было довольно для такого рода ретроспективной романтики, которая находит удовольствие в подражании судьбе неповторимого гения (вплоть до ревности, вплоть до грязи, вплоть до укола, когда замечаешь, что ее миндалевидные глаза обращены из-за павлиньего веера на ее белокурого Кассио), даже если стихам его подражать не можешь. Мои ей, впрочем, нравились, и она вряд ли стала бы зевать, как это имела обыкновение делать та, другая, когда стихотворение ее мужа длиною превышало сонет. Да, она осталась для меня привидением, но ведь может быть и я был для нее тем же: думаю, что ее привлекала разве что непонятность моих стихов; потом она прорвала дыру в их покрове и увидела в прорехе чужое, нелюбимое лицо.

Как ты знаешь, я уже давно собирался последовать примеру твоего удачного бегства. Она описала мне своего дядю, который, по ее словам, жил в Нью-Йорке: сначала он преподавал верховую езду в каком-то южном учебном заведении, а кончил тем, что женился на богатой американке; у них была маленькая дочь, глухая от рождения. Она сказала, что давно потеряла их адрес, но несколько дней спустя он чудесным образом отыскался, и мы написали ему драматическое письмо, на которое никакого ответа не последовало. Оно и не имело большого значения, потому что у меня уже было солидное поручительство от профессора Ломченки из Чикаго; но к началу оккупации очень мало еще было сделано для получения нужных бумаг, а между тем я предвидел, что если мы останемся в Париже, то какой-нибудь доброжелательный соотечественник рано или поздно укажет заинтересованным лицам некоторые места в одной из моих книг, где я утверждаю, что, несмотря на множество своих черных грехов, Германия навсегда останется посмешищем для всего мира.

Итак, мы пустились в наше злосчастное свадебное путешествие. В давке и толчее апокалиптического исхода; в ожидании поездов вне расписанья, шедших по неизвестному назначению; пешком проходя через затасканные декорации абстрактных городов; живя в вечных сумерках физического изнеможения, — мы бежали, и чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас, было неизмеримо крупнее болвана в солдатских сапогах и ремнях, с его набором железной дребедени, швыряемой разными способами, — нечто, чего он был всего лишь символом, нечто чудовищное и неосознаваемое, безвременная и безликая масса незапамятного ужаса, который все еще наваливается на меня сзади даже здесь, на зеленом раздолье Центрального Парка.

О, она-то переносила все это довольно мужественно, с какой-то ошеломленной бодростью. Но однажды, совершенно неожиданно, она разрыдалась посреди переполненного сочувствием железнодорожного вагона. "Собака, говорила она, собака, которую мы оставили. Не могу забыть бедной собаки." Искренность ее горя поразила меня, ибо у нас никогда не было никакой собаки. "Я знаю, сказала она, но я попыталась представить себе, что мы все-таки купили этого сеттера. И только подумай, он бы теперь скулил за запертой дверью." Никогда не было и речи о покупке сеттера.

Не забыть бы еще ту часть пути, где мы видели семью беженцев (две женщины с ребенком), у которых в дороге умер не то старик-отец, не то дед. На небе беспорядочно громоздились облака черного и телесного цвета, с безобразным ореолом, брызнувшим из-за затененного холма, а мертвец лежал на спине под пыльным платаном. Палкой и руками женщины попытались было вырыть у дороги могилу, но земля была слишком твердая; они сдались и теперь сидели рядом, среди худосочных маков, чуть в стороне от тела с торчавшей вверх бородой. А мальчик все царапал и скреб и дергал, покуда не выворотил плоский камушек, и тогда забыл о мрачной цели своего труда, и, сидя на корточках (причем его тонкая выразительная шея выставляла напоказ палачу все свои позвонки), с удивлением и удовольствием глядел на тысячи крошечных коричневых мушек, кишевших, сновавших туда-сюда, разбе-

гавшихся, направлявшихся в безопасные места в департаменты Гар, и Од, и Дром, и Вар, и в Нижние Пиринеи — мы же остановились только в По.

В Испанию было не пробраться, и мы решили ехать дальше, в Ниццу. В городишке именуемом Фожер (десятиминутная остановка) я с трудом протискался из поезда, чтобы купить провизии. Когда минуты через две я вернулся, поезд ушел, и безтолковый старик, виновный в кошмарной пустоте, открывшейся передо мной (угольная пыль, блестящая на солнце меж равнодушных голых рельс, да одинокая апельсинная корка), грубо заявил мне, что ни в каком случае я не имел права выходить из вагона.

В лучшем мире я мог бы устроить так, чтобы мою жену разыскали и сообщили ей, что делать (у меня были оба билета и большая часть денег); на деле же моя бредовая борьба с телефоном ни к чему не привела, так что я, разом оборвав нить карликовых голосов, лаявших на меня издали, послал две или три телеграммы, которые, должно быть, только теперь отправляются в путь, и поздно вечером сел на первый местный поезд в Монпелье, дальше которого ее поезду плестись не полагалось. Не найдя ее там, я должен был выбрать один из двух возможных вариантов: продолжать путь, потому что она могла сесть на марсельский поезд, который только что ушел на моих глазах, или ехать обратно, потому что она могла вернуться в Фожер. Не помню теперь, какой клубок разсуждений привел меня в Марсель и Ниццу.

Если не считать таких элементарных мер как разсылка неверных сведений в несколько малообещающих мест, полиция ничего не сделала, чтобы помочь мне; один полицейский чин наорал на меня за то что надоедаю; другой отклонил вопрос, усомнившись в подлинности моего брачного свидетельства из-за того, что штемпель, по его мнению, был поставлен не с той стороны; третий, толстый commissaire с маслянистыми карими глазами, признался мне, что в свободное время пописывает стишки. Я обошел разных знакомых среди множества русских, живших или застрявших в Ницце. Те из них, у кого была еврейская кровь, говорили о своих обреченных родных, битком набитых в поезда адского назначения; и в сравнении моя соб-

ственная беда приобретала характер какой-то нереальной повседневности, когда я сидел в переполненном кафе, глядя на млечно-голубое море, а позади глухой, как из морской раковины, голос без конца бормотал про избиения и бедствия, про серый рай за океаном, про повадки и прихоти безсердечных консулов.

Через неделю после моего приезда ко мне зашел вялый шпик и провел меня по кривой и вонючей улице к вымазанному сажей дому с надписью "Отель", почти что стертой грязью и временем; там, по его словам, отыскалась моя жена. Предъявленная мне девушка оказалась, разумеется, совершенно мне незнакомой, но мой участливый Шерлок Холмс в продолжение некоторого времени пытался заставить нас сознаться в том, что мы женаты, между тем как ее молчаливый и мускулистый сожитель стоял тут же и слушал, скрестив на полосатой груди голые руки.

Когда я, наконец, избавился от них всех и добрался до своего квартала, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей открытия съестной лавки; и там, в самом конце ее, была моя жена, на цыпочках силившаяся разглядеть, что продавали. Если не ошибаюсь, первое, что она мне сказала, было что она надеется, что это апельсины. Ее рассказ показался мне чуть-чуть туманным, но вполне банальным. Она вернулась в Фожер и пошла прямо в полицейский участок, вместо того, чтобы справиться на вокзале, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, как три полена. На другой день она сообразила, что ей не хватит денег добраться до Ниццы. В конце-концов она заняла у одной из этих поленоподобных женщин. Но она ошиблась поездом и заехала в город, названья которого она не могла вспомнить. Приехала в Ниццу два дня тому назад и в русской церкви нашла каких-то знакомых. Те ей сказали, что я где-то поблизости и разыскиваю ее и, конечно, скоро объявлюсь.

Немного погодя, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула и держал ее за стройные юные бедра

(она расчесывала свои мягкие волосы и с каждым взмахом откидывала голову назад), ее рассеянная улыбка вдруг превратилась в странную дрожь губ, и она положила одну руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, словно я был отражением в пруду, которое она впервые заметила.

— Я лгала тебе, мой милый, сказала она. Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с чудовищем, с которым познакомилась в поезде. Я совсем не хотела этого. Он торгует вежеталем.

Время, место, род пытки. Ее веер, перчатки и маска. Я провел эту ночь и множество других вытягивая все из нее по кусочкам, но всего так и не вытянул. У меня была странная фантазия, что прежде всего я должен выяснить каждую подробность, возстановить каждую минуту, и только тогда решить, могу ли я это перенести. Но предел нужного знания был недостижим, да и как я мог даже приблизительно представить себе ту черту, за которой я мог бы считать себя удовлетворенным; когда знаменатель каждой дроби узнанного потенциально был, разумеется, столь же бесконечен, как и количество интервалов между этими дробями.

В первый раз она была слишком усталой, чтобы противиться, а в следующий не противилась, потому что была уверена, что я ее бросил, и она по-видимому думала, что ее объяснения должны были быть каким-то утешительным призом для меня, а не вздором и пыткой, как оно было на самом деле. И это продолжалось без конца, причем она время от времени не выдерживала, но скоро опять овладевала собой и отвечала на мои непечатные вопросы шепотом, затаив дыхание, или пытаясь с жалостной улыбкой ускользнуть в полубезопасность не относящихся к делу комментариев, а я все давил да давил на обезумевший коренной зуб до тех пор, пока челюсть едва не разрывалась от муки, огненной муки, которая казалась все же лучше унылой, ноющей боли терпеливого смирения.

И заметь, что в перерывах этого дознания мы пытались добыть у неуступчивых властей нужные документы, которые в свою очередь позволили бы подать законным порядком формальное прошение на получение бумаг третьего рода, а те дали бы их обладателю право обратиться еще за другими бума-

гами, которые могли бы дать или не дать ему возможность узнать как и почему это случилось. Ведь если я даже и мог вообразить эту проклятую, все повторяющуюся сцену, мне никак не удавалось связать ее остроугольные гротескные тени со смутными очертаниями конечностей моей жены, которая тряслась и потрескивала в моих яростных объятиях.

И вот ничего больше не оставалось как терзать друг друга, проводить часы в префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже испытывшими на себе соприкосновение с сокровеннейшими внутренностями всевозможных виз, препираться с секретарями, снова заполнять формуляры, в результате чего ее похотливый и изобретательный коммивояжер отвратительно смешался с крысоусыми рычащими чиновниками, с полуистлевшими связками устарелых ведомостей и вонью лиловых чернил, со взятками, подсовываемыми под гангренозные клякспапиры, с жирными мухами, щекочущими потные шеи быстрыми, холодными, как бы войлоком подбитыми лапками, с только что вылупившимися неказистыми, вогнутыми фотографиями шести ваших двойников, с трагическими глазами и терпеливой учтивостью просителей родом из Слуцка, Стародуба или Бобруйска, с раструбами и дыбами Святой Инквизиции, с ужасной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорта найти не удалось.

Признаюсь, однажды вечером, после особенно гнусного дня, я опустился на каменную скамью, рыдая и проклиная шутовской мир, в котором липкие клешни консулов и комиссаров жонглируют миллионами жизней. Я заметил, что и она плакала, и сказал ей, что все это не имело бы такого значения, какое имеет теперь, если бы она не сделала того, что сделала.

— Ты думаешь, что я сошла с ума, сказала она с возбуждением, которое на миг чуть не превратило ее в реальное существо, только ничего этого я не сделала, ничего, клянусь тебе. Может быть, я одновременно живу несколькими жизнями. Может быть, я хотела испытать тебя. Может быть, эта скамья мне снится, а на самом деле мы живем в Саратове или на какой-нибудь звезде.

Было бы скучно разбирать различные стадии, через кото-

рые я прошел покуда не принял, наконец, первую версию ее исчезновения. Я не разговаривал с нею и много времени проводил один. Она, бывало, мелькнет и пропадет, и появится опять с каким-нибудь пустяком, который, как ей казалось, должен был мне понравиться — то с горстью вишен, то с тремя драгоценными папиросами и тому подобное — обращаясь со мной с невозмутимой немногословной приветливостью сестры милосердия, которая ухаживает за трудно-выздоровливающим больным. Я перестал посещать большинство наших общих знакомых, потому что они потеряли всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось, начали обнаруживать легкую враждебность. Я сочинил несколько стихотворений. Я выпивал столько вина, сколько мог достать. Потом был день, когда я прижал ее как-то к своей ноющей груди, и мы уехали на неделю в Кабуль, где лежали на круглой розовой гальке узкого пляжа. Как это ни странно, чем счастливей казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал тайную струю острой тоски, но я все уговаривал себя, что это неотъемлемая черта всякого подлинного счастья.

Между тем, что-то там переместилось в изменчивом узоре наших судеб, и, наконец, я вышел из какой-то темной, душной канцелярии с двумя пухлыми *visas de sortie* в дрожащих руках. В них была надлежащим образом впрыснута сыворотка С. Ш. А., и я кинулся в Марсель, где мне удалось достать билеты на ближайший пароход. Я вернулся и протопал к себе наверх. Увидел розу в стакане на столе — сахарную розовость ее очевидной красоты, пузырьки воздуха, прилепившиеся как паразиты к стеблю. Оба ее платья исчезли, исчез гребень, исчезло клетчатое пальто вместе с лиловой лентой и лиловым же бантом, служившими ей шляпой. К подушке не было приколото записки, не было ничего в комнате, что могло бы навести меня на след, ибо роза была, конечно, всего лишь тем, что французские рифмачи называют *une cheville*.

Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не могли мне сообщить; к Гельманам, которые отказались разговаривать со мной; к Елагиным, которые не знали, сказать или нет. Наконец, старуха Елагина — а ты знаешь, какой Анна Владимировна может быть в критические минуты — велела подать

себе свою палку с резиновым наконечником, тяжело, но энергично поднялась своим грузным телом из любимого кресла и повела меня в сад. Там она мне сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать мне, что я негодяй и чудовище.

Ты только представь себе эту сцену: крохотный, гравием посыпанный садик с синим кувшином из Тысячи и Одной Ночи и одиноким кипарисом; разтрескавшаяся терраса, где, бывало, любил подремать с пледом на коленях ее отец, — когда вышел в отставку после своего новгородского губернаторства, чтобы провести несколько остававшихся вечеров в Ницце; бледнозеленое небо; в сгущающихся сумерках чуть веет ванилью; цикады издают свою металлическую трель на две октавы выше среднего до; Анна Владимировна, у которой складки кожи на щеках свисают и трясутся, осыпая меня оскорблениями по-матерински, но совершенно незаслуженно.

В продолжение последних нескольких недель, дорогой мой В., всякий раз, что она без меня посещала те три или четыре семейства, с которыми мы оба были знакомы, моя призрачная жена наполняла сочувственно отверстые уши всех этих добрых людей необычайным рассказом. Именно: что она безумно влюблена в молодого француза, который мог бы доставить ей замок с башнями и имя с гербом; что она умоляла меня дать ей развод, но что я отказал; что я даже сказал ей, что скорее застрелю и ее и себя, чем поплыву в Нью-Йорк один; что она сказала, что ее отец в сходных обстоятельствах поступил как джентльмен; что я отвечал, что мне дела нет до ее *sous le pègre*.

Было еще множество нелепых подробностей в таком же духе — но они были замечательно подобраны, и не удивительно, что старуха Елагина заставила меня поклясться, что я не стану преследовать любовников с заряженным пистолетом. Они уехали, сказала она, в шато в Лозере. Я спросил, видела ли она хоть раз этого человека. Нет, но ей была показана его фотография. Я уже собрался уходить, когда Анна Владимировна, которая отошла было и даже дала мне поцеловать свои пять пальцев, вдруг опять вспыхнула, стукнула палкой по гравию и сказала своим сильным грузным голосом: "Но чего я вам

никогда не прощу, это ее собаки, бедного зверя, которого вы своими руками повесили перед отъездом из Парижа."

Превратился ли "состоятельный господин" в коммивояжера, или произошла обратная метаморфоза, или может быть он не был ни то, ни другое, а просто был какой-нибудь неудобосказуемый русский эмигрант, волочившийся за ней еще до того, как мы поженились — все это было несущественно. Она ушла. Стало быть, конец. Надо было быть сумасшедшим, чтобы, как в кошмарном сне, заново приниматься искать и ждать ее.

На четвертое утро долгого и унылого морского путешествия я встретил на палубе церемонного, но симпатичного пожилого доктора, с которым игрывал в шахматы в Париже. Он спросил меня, как моя жена переносит качку. Я отвечал, что еду один; он был явно огорошен и сказал, что видел ее дня за два до отплытия, в Марселе, где она, как ему показалось, довольно бесцельно брела по набережной. Она сказала, что я должен скоро прийти с багажом и билетами.

Это, я думаю, и есть главный пункт всей истории — хотя если ты напишешь ее, лучше не делай его доктором, потому что это уж избитый прием. В ту минуту я ясно понял, что ее вообще никогда не было. И я тебе еще вот что скажу. Когда я добрался до места, то поспешил удовлетворить какое-то болезненное любопытство и отправился по адресу, который она мне однажды дала: он оказался адресом безымянного пустыря между двумя конторскими зданиями. Я поискал фамилию ее дядюшки в телефонной книге; ее там не было; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает все, сказал мне, что и человек этот, и его лошадица-жена и вправду существуют, но что они переехали в Сан-Франциско после смерти своей глухой дочери.

Глядя на прошлое отвлеченно, я вижу наш исковерканный роман на дне глубокого, туманом наполненного ущелья меж двух прозаических утесов: жизнь была прежде настоящей, она и впредь будет настоящей, надеюсь. Не завтра, однако. Может быть, послезавтра. Ты, счастливый смертный, со своей чудесной семьей (Как Инесса? Что близнецы?) и разнообразной работой (как поживают лишайники?), ты вряд ли сможешь

разобраться в моей беде в смысле человеческих отношений, но ты можешь кое-что разъяснить мне через призму своего искусства.

Но какая все же жалость. К чёрту твое искусство, я ужасно несчастлив. Она все бродит да бродит туда-сюда, там где бурные сети растянуты для просушки на горячих каменных плитах и крапчатый отблеск воды играет на боку зашвартованной рыбацкой лодки. Я совершил, неизвестно где и как, какую-то роковую ошибку. В бурных ячейках невода там и сям поблескивают бледные кусочки обломанной рыбьей чешуи. Если не буду осторожен, все это может кончиться в *Aleppo*. Помилосердствуй, В., ты бросил бы невыносимый вызов судьбе, если б взял это в заглавие.

Бостон, 1943 г.

Английское название рассказа, *That in Aleppo Once*, заимствовано из Шекспира: Отелло произносит эти слова перед тем как заколоться. — Г. Б.

ЗАБЫТЫЙ ПОЭТ

1.

В тысяча восемьсот девяносто девятом году, в солидном, удобном, как бы фланелью подбитом Санкт-Петербурге того времени, известная культурная организация, Общество Ревнителей Русской Словесности, решила устроить торжественное чествование памяти поэта Константина Перова, умершего полвека тому назад в пылком возрасте двадцати-четырёх лет. Его называли русским Рембо, и хотя французский юноша превосходил его дарованьем, такое сравнение не было совершенно лишено основания. Всего восемнадцати лет отроду он сочинил свои знаменитые "Грузинские ночи", длинную, вольно-растекающуюся "поэму-сон", иные строфы которой

прорывают покров традиционной восточной обстановки, отчего райский холодок истинной поэзии находит точку своего приложения как раз посередине между лопатками читателя.

Затем, три года спустя, появился том его стихотворений: он увлекся каким-то немецким философом, и некоторые из этих стихов производят удручающее впечатление, так как в них он пытается сочетать (с карикатурным результатом) настоящую лирическую судорогу и метафизическое объяснение вселенной; прочие все так же живы и необычны как в те дни, когда странный этот юноша вывихивал суставы русского словаря и свертывал шею общепринятым эпитетам, чтобы заставить поэзию захлебываться и вопить, вместо того, чтобы чирикать. Большинству читателей нравились больше всего те его стихи, в которых идея равноправия, столь характерная для пятидесятих годов, выразилась в восторженной буре темного красноречия, которое, по словам одного критика, "не столько указывает на врага, сколько вызывает желание биться с ним". Что до меня, то я предпочитаю его более прозрачную и в то же время менее гладкую лирику, например, "Цыганку" или "Нетопыря".

Перов был сын мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался завести чайную плантацию в своем Лужском имении. В юности Константин (говоря языком биографа) проводил большую часть времени в Петербурге, не слишком усердно посещая университет, потом не слишком усердно подыскивая какую-нибудь канцелярскую должность — в сущности, очень мало известно об его деятельности, если не считать заурядных сведений, которые легко вывести из быта людей его круга. Отрывок из письма Некрасова, который случайно повстречался с ним в книжной лавке, рисует образ утрогого, неуравновешенного, "неуклюжего и сурового" молодого человека "с глазами ребенка и плечами ломового извозчика".

Упомянут он также в одном полицейском донесении: "негромко говорил с двумя другими студентами" в кофейне на Невском. Говорят, его сестра, бывшая замужем за рижским купцом, порицала поэта за его романтические приключения с белошвейками и прачками. Осенью 1849-го года он навестил отца специально затем, чтобы просить у него денег на пу-

тешество в Испанию. Отец его, человек простой и несдержанный, дал ему оплеуху, а спустя несколько дней бедняга утонул в местной речке. Его одежду и недоеденное яблоко нашли под березой, но тела так никогда и не обнаружили.

Слава его едва теплилась: отрывок из "Грузинских ночей" (всегда один и тот же) во всех антологиях; пламенная статья Добролюбова в 1859-ом году, восхваляющая революционные поползновения в самых слабых его стихах; ходячее в восьмидесятых годах убеждение, что атмосфера реакции теснила и в конце концов погубила отличный, хотя несколько косноязычный талант — вот, пожалуй, и все.

В девяностых годах, вследствие более здорового интереса к поэзии, который, как это иногда случается, совпал с устойчивой и скучной политической эрой, интерес к стихам Перова возобновился, между тем как либерально настроенные люди были непрочь последовать по дорожке, указанной Добролюбовым. Успех подписки на сооружение памятника в одном из городских парков превзошел ожидания. Известный издатель собрал по крохам все доступные материалы для биографии Перова и напечатал полное собрание его сочинений в одном, довольно толстом, томе. Журналы посвятили ему несколько статей. Вечер его памяти в одной из лучших столичных зал привлек толпу народа.

2.

За несколько минут до начала, когда участники еще сидели в комитетской комнате за сценой, дверь распахнулась и вошел крепкого вида старик в сюртуке, знававшем — на его или на чьих-то других плечах — лучшие времена. Не обращая ни малейшего внимания на уговоры двух студентов-распорядителей с нарукавными повязками, пытавшихся задержать его, он с безупречным достоинством направился к членам комитета, поклонился и сказал: "Я — Перов".

Один мой приятель, который старше меня в два раза, последний живой свидетель происшествия, передает, что председатель (который, будучи редактором газеты, имел большой опыт по части навязчивых посетителей) сказал, даже не повер-

нув головы, "Вон его". Никто этого не сделал — возможно оттого, что принято соблюдать некоторую учтивость по отношению к пожилому, на вид сильно подвыпившему человеку. Он же сел за стол и, обращаясь к выглядевшему безобиднее других Славскому, переводчику Лонгфелло, Гейне и Сюлли-Прюдома (а позднее члену террористической организации), деловито осведомился, внесены ли уже "деньги на памятник", и если внесены, то когда он мог бы их получить.

Все отчеты сходятся на том, как необычайно спокойно он предъявил свое требование. Он не напирал. Он высказал его так, как будто совершенно не допускал мысли, что ему могут не поверить. Больше всего поражало, что в самом начале этого странного происшествия, в этой уединенной комнате, среди всех этих почтенных людей, какой-то человек с бородой патриарха, с выплывшими карими глазами и носом картошкой, спокойно расспрашивал о доходах от сборов, не затрудняясь предъявить даже такие доказательства, какие мог бы подделать обыкновенный самозванец.

— Вы родственник ему, что ли? — спросил кто-то.

— Я Константин Константинович Перов, — терпеливо сказал старик. — Мне сказали, что в зале находится член моей семьи, однако к делу это не относится.

— Вам сколько лет? — спросил Славский.

— Мне семьдесят четыре года, — отвечал он, — притом я жертва нескольких неурожаев сряду.

— Вам вероятно неизвестно, — заметил актер Ермаков, — что поэт, чью память мы чествуем сегодня, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет тому назад.

— Вздор, — возразил старик. — Я разыграл эту комедию, потому что имел на то причины.

— А теперь, любезный, — сказал председатель, — вам надлежит удалиться.

Они забыли о его существовании и гуськом вышли на ярко освещенную сцену, где другой длинный стол, задрапированный торжественным красным сукном, с нужным числом стульев позади, уже некоторое время привлекал внимание публики бликом традиционного в таких случаях графина. Слева от него был выставлен портрет маслом, взятый на вечер из Шереме-

тевской картинной галлерей: на нем был изображен двадцатидвухлетний Перов, смуглый молодой человек с романтической прической, в рубашке с открытым воротом. Подставка была целомудренно задрапирована листьями и цветами. Кафедра, с другим графином, возвышалась впереди, а за сценой рояль ждал чтобы его, несколько позже, выкатили для музыкальной части программы.

Зала была битком набита литераторами, просвещенными адвокатами, педагогами, учеными, восторженными студентами обоих полов и так далее. Несколько скромных агентов тайной полиции, посланных присутствовать на вечере, расположилось в неприметных местах в зале, ибо правительство знало по опыту, что самые благонамеренные культурные собрания обладают странным свойством превращаться в оргию революционной пропаганды. Тот факт, что одно из ранних стихотворений Перова содержало скрытый, но одобрителный намек на бунт 1825-го года, указывал на необходимость соблюдения некоторых предосторожностей: кто же поручится, что может прозойти после того, как будут публично произнесены такие, например, строчки:

Сибирских пихт угрюмый шорох
С подземной сносится рудой.

Как говорилось в одном отчете, "скоро возникло смутное предчувствие скандала в духе Достоевского (автор имеет в виду знаменитую балаганную главу из *Бесов*) и возникло ощущение какой-то неловкости и беспокойного ожидания". Причиной этому было то, что пожилой господин умышленно вышел на эстраду вслед за семью членами юбилейной комиссии и сделал попытку усесть вместе с ними за стол. Председатель, желая прежде всего избежать потасовки на глазах у публики, изо всех сил старался его отговорить. Под прикрытием вежливой улыбки, он шепнул старцу, что велит вывести его из залы, ежели он не выпустит спинки стула, которую Славский с непринужденным видом, но стальной хваткой, незаметно старался вырвать из его узловатой руки. Тот отступить отказался, но рука его соскользнула и он остался без стула. Он огляделся, заметил

рояльный табурет за сценой и хладнокровно выволок его на эстраду, на долю секунды опередив руку невидимого служителя, который попытался перехватить его. Он уселся на некотором расстоянии от стола и тотчас сделался главной достопримечательностью.

Тут комиссия совершила роковую ошибку, решив опять игнорировать его: им, повторяю, очень хотелось избежать скандала; к тому же куст гортензии рядом с мольбертом наполовину скрывал от них неприятного субъекта. К несчастью, старик оказался на полном виду у публики, когда опустил на свой неподобающий пьедестал (поминутным скрипом напоминавший о своих вращательных способностях), раскрыл футляр для очков и, по-рыбы округлив губы, подышал на стекла, совершенно невозмутимый и спокойный, своей величавой головой, поношенной черной одеждой и прюнелевыми сапогами напоминая одновременно обедневшего профессора и процветающего гробовщика.

Председатель направился к кафедре и начал вступительное слово. Перешептывания пробегали по зале, так как людям, естественно, хотелось знать, кто такой этот старик. Крепко посадив очки на нос и положив руки на колени, он покосился на портрет, потом отвернулся и оглядел первый ряд. Ответные взоры невольно переходили с блестящего купола его головы на курчавую голову портрета, потому что покуда председатель произносил длинную речь, подробности вторжения старца распространились, и воображение иных из присутствующих уже лелеяло мысль, что поэт, принадлежавший к чуть ли не легендарной эпохе, прочно отнесенный к ней учебниками, существо анахроничное, живое ископаемое в сетях невежественного рыболова, какой-то Рип ван Винкель, — в самом деле на старости лет явился в этом своем сером воплощении в собрание, посвященное славе его юных дней.

—...так пусть же имя Перова, — говорил председатель, заканчивая речь, — никогда не забудется мыслящей Россией. Тютчев сказал, что "сердце России не забудет" Пушкина "как первую любовь". О Перове можно сказать, что он был первым российским опытом свободы. Поверхностному наблюдателю может показаться, что свобода эта сводится к феноменальному

изобилию поэтических образов Перова, которое оценит скорее художник, чем гражданин. Но мы, представители более трезвого поколения, мы склонны усматривать более глубокий, более насыщенный, более человечный и более общественно-значительный смысл в таких его строках, как

Когда в тени последний снег тает,
В апреле, под кладбищенской стеной,
И отливает синим и лоснится
На быстром солнце круп кобылы вороной
Соседа моего, и столько луж, похожих
На чаши с небом, в чернокожих
Руках земли, — тогда, в худой шинели,
Моя душа проходит по панели
Чтоб навестить слепых, и нищих, и глупцов,
И тех, кто спину гнет для крупных животов,
Чье зренье похоть ли, забота ль притупила
Ни дыр в снегу, ни кубовой кобылы,
Ни чудных луж не видно им...

Раздался гром аплодисментов, как вдруг хлопанье оборвалось, а затем слышались разрозненные раскаты смеха; ибо когда председатель, еще вибрируя от только что произнесенных им слов, вернулся к столу, бородатый незнакомец поднялся и, в ответ на аплодисменты, несколько раз угловато покивал и неловко помахал рукой, выражая вместе формальную признательность и некоторое нетерпение. Славский и двое распорядителей сделали отчаянную попытку стащить его со сцены, но из глубины залы стали кричать "Стыдно, стыдно" и "Оставьте старика!"

В одном из отчетов я нахожу предположение, что среди публики у него были сообщники, но я думаю, что массовое сочувствие, возникающее столь же неожиданно как и массовое озлобление, вполне удовлетворительно объясняет оборот, который начало принимать дело. Несмотря на то, что старику приходилось отбиваться от трех человек, он ухитрился сохранять достоинство, и когда его не слишком решительные противники ретировались и он снова завладел рояльным табу-

ретом, опрокинутым во время схватки, по зале прошел гул одобрения. Однако, как это ни прискорбно, настроение собрания было безнадежно подорвано. Тем из присутствующих, кто был помоложе и побуйней, ситуация начала нравиться чрезвычайно. Председатель, раздувая ноздри, налил себе стакан воды. Из двух углов залы осторожно переглядывались два агента сысской полиции.

3.

За речью председателя последовал отчет казначея о суммах, полученных от различных учреждений и частных лиц на сооружение памятника Перову в одном из парков на краю города. Старик неторопливо достал клочок бумаги и огрызок карандаша и, приладив бумагу на колене, начал отмечать цифры по мере того как они произносились. Затем на сцене на минуту появилась внучка сестры Перова. Этот номер программы доставил организаторам много хлопот, так как эта толстая, лупоглазая, восковой бледности молодая женщина лечилась от меланхолии в заведении для душевнобольных. Вся в жалко-розовом, с трагически перекошенным ртом, она была наскоро показана публике и потом передана обратно в крепкие руки дородной женщины, которую заведение к ней приставило.

Когда Ермаков, в те годы любимец театральной публики и, так сказать, драматическая разновидность того, что называют beau tepog, начал читать сливочно-шоколадным голосом монолог Князя из "Грузинских ночей", стало ясно, что даже его преданнейших поклонников больше занимала реакция старика, чем красота исполнения. Когда дошло до строчек

Коль правда, что металл не знает тленья,
То, значит, где-нибудь должна лежать
Та пуговица, что мне в день рожденья,
В семь лет случилось в парке потерять.
Същите мне ее — тогда она
Залогом будет, что вот так любая
Душа отыщется, не погибая,
Сохранна, сочтена, и спасена —

его самообладание впервые дало трещину, и он медленно развернул большой платок и со смаком высморкался, так что густо подведенный, алмазно-яркий глаз Ермакова закосил как у пугливого коня.

Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя сидевшим в первом ряду стало видно, что из-под очков у него текут слезы. Он не пытался отереть их, хотя раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималась-было к очкам, но опускалась обратно, точно он боялся таким жестом (это-то и было жемчужиной всего изощренного спектакля) привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за декламацию поэмы. Затем, едва аплодисменты утихли, он встал и подошел к краю сцены.

Члены комиссии не пытались остановить его, и тому имелись две причины. Во-первых, председатель, доведенный до крайней степени раздражения вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы распорядиться кое о чем. Во-вторых, странные сомнения начали беспокоить и некоторых организаторов; так что когда старец облокотился на пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина.

— И это слава, — сказал он таким хриплым голосом, что из задних рядов раздались крики: "Громче, громче!"

— Я говорю, и это-то слава, — повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. — Десятка два ветреных стишков, жонглирование трескучими словами, и твое имя поминают, точно ты принес какую-то пользу человечеству! Нет, господа, не нужно себя обманывать. Наша Империя и трон нашего батюшки Царя стоят как стояли, аки гром оцепенелый, в своей неколебимой мощи, и сбившийся с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад пол-века, теперь законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, добавлю, который нуждается в вашем вспомоществовании. Я жертва стихий: земля, которую я вспахал в поте лица своего, агнцы, коих я своими руками вскормил, пшеница, махавшая мне золотыми дланями...

И только теперь двое дюжих полицейских быстро и без-

болезненно выдворили старика. В публике успели заметить, как его быстро выводили — манишка торчала в одну сторону, борода в другую, одна манжета болталась на запястье, но в глазах его сохранялась та же степенность и то же достоинство.

В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о "достойном сожаления происшествии", омрачившем его. Но бульварные *Петербургские Новости* — лубочный, черносотенный листок, издававшийся братьями Херстовыми для мещанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведении прослойки рабочего люда, разразился вереницей статей, утверждавших, что "достойное сожаления происшествие" было ничто иное как возвращение из небытия настоящего Перова.

4.

Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудака, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и "погромистиков". *Новости* напечатали несколько интервью с самозванцем. В них он говорил чудовищные вещи о "лакеях революционной партии", обманом лишивших его собственного имени и присвоивших его деньги. Он намеревался взыскать эти деньги законным порядком с издателя полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на (к сожалению довольно разительное) сходство между наружностью старика и портретом.

Появилась обстоятельная, но чрезвычайно малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им будто бы для того, чтобы жить по-христиански на лоне Святой Руси. Кем он только ни был — разносчиком, птицеловом, паромщиком на Волге, пока, наконец, не обзавелся клочком земли в одной отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид книжонки, *Смерть и Воскресение Константина Перова*, которой торговали на улице дрожащие от холода нищие, вместе с *Похождениями Маркиза де Сада* и *Мемуарами Амазонки*. Однако лучшее из того, что я нашел, роясь в старых

бумагах, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову, в парке, посреди опавших листьев. Он стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто; у его ног сгрудилась стайка сторонников, и их маленькие белые лица смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает у толпы погромщиков на старых фотографиях.

В этой атмосфере цветущего хулиганства и черносотенной пошлости (столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, как прозывается самодержец — Александром, Николаем, или Иосифом) интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно-настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размазанной свинарне. Трагично было то, что в то время как ни Громов, ни братья Херстовы сами вовсе не верили, что человек, служивший им источником забавы, и в самом деле был Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли, что они отвергли Истину и Справедливость.

Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, "дрожь берет при мысли, что безпримерный в истории дар судьбы — воскрешение большого поэта прошлого, как некоего Лазаря — может быть неблагодарно отринут — мало того, воспринят как злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключается в том, что он полстолетия молчал, а потом несколько минут нес околесицу". Слог витиеват, но смысл ясен: российская интеллигенция меньше боялась оказаться жертвой обмана, чем совершить ужасную ошибку. Но было тут и другое, чего она боялась еще больше, именно разрушения идеала, ибо радикал готов разрушить все на свете, только не тот банальный пустяк (каким бы сомнительным и пыльным он ни был), который радикализм почему-нибудь боготворил.

Передавали, что на тайном заседании Общества Ревнителей Русской Словесности многочисленные бранные письма, безпрерывно посылавшиеся стариком, тщательно сличались экс-

пертами с очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в каком-то частном архиве, считалось единственным образцом почерка Перова, и никто кроме ученых, исследовавших его выплывшие чернила, не знал о его существовании — как, впрочем, и мы не знаем теперь, к какому они пришли заключению.

Передавали тоже, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных сторонников. По-видимому ему предложили выплачивать солидную ежемесячную пенсию, с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, предложение это было принято, так как исчез он столь же внезапно, как и появился, а Громов между тем примирился с потерей домашнего шута, поселив у себя подозрительного гипнотизера французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при дворе.

Памятник был должным порядком открыт и приобрел большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умственно-одаренный житель уезда, где Перов родился, рассказал одной журналистке, что припоминает, как отец говорил ему, что нашел скелет в камышевых зарослях местной речки.

5.

На этом можно было бы и кончить, если бы не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесыми корешками разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно-деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения (например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собст-

венные книги) кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитание устроив Перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению.

А что же экспонаты? Какие угодно, за вычетом одного (письма). Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны драгоценного Шереметевского портрета (с трещиной в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливания); потрепанный томик "Грузинских ночей", будто бы принадлежавший Некрасову; неважная фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад, принадлежавшие отцу поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перова, разложенных так, чтобы занять собою как можно больше места.

И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов той эпохи, как, например, халат, который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете, и кандалы, которые он же носил в своей деревянной сибирской тюрьме. И опять же, так как ни эти бедные вещи, ни портреты разных литераторов того времени были не достаточно объемисты, то посреди этой унылой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда, пущенного в России (в сороковых годах, между Петербургом и Царским Селом).

Старик, которому было уже далеко за девяносто, но который не лишился еще дара речи и держался более или менее прямо, водил вас по музею, словно он был там гостеприимный хозяин, а не сторож. Было странное ощущение, что вот сейчас он пригласит вас в другую (несуществующую) комнату, где будет подан ужин. В действительности же ему принадлежали только печка за ширмою да лавка, на которой он спал; но если вы покупали одну из книг, выставленных на продажу у входа, то он вам ее надписывал с видом самым естественным.

И однажды утром, женщина, приносившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. В музее некоторое время жило три сварливых семейства, и вскоре от его коллекции ничего не осталось. И как будто чья-то огромная рука вырвала с громким

треском кипу страниц из множества книг, или будто какой-то легкомысленный сочинитель засунул в сосуд истины эльфа фантазии, или будто...

Впрочем, это несущественно. Так или иначе, в течение последующих двадцати с чем-то лет Россия утратила всякую связь с поэзией Перова. Молодые советские граждане столь же мало знают о его произведениях, как и о моих. Без сомнения, придет время, когда его снова откроют и будут опять им зачитываться; а все же нельзя отделаться от чувства, что покамест люди много теряют. Хотелось бы тоже знать, к какому выводу придут будущие историки насчет старика и его необычайной претензии. Но это, разумеется, вопрос второстепенной важности.

Бостон, 1944-й год

БЫЛЬ И УБЫЛЬ *

1.

В первые цветоносные дни выздоровления после тяжелой болезни (с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, девяностолетнему организму уже не справиться), мои добрые друзья Норман и Нура Стон уговаривали меня еще повременить с возвращением к моей научной работе и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде звездословиц или со-литэра.

Буквальный перевод названия (Time and Ebb), "Время и отлив", не передал бы подразумеваемой игры, заключающейся в ожидании привычного "Tide and Ebb", "прилив и отлив" — как если бы кто по-русски сказал "день и ночь". В рукописи, хранящейся в архиве Эдмунда Вильсона, рассказ называется "Time in Ebb".

Первое совершенно исключено, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чащобе перетасованных слогов на последней странице вечернего тома новостей (занятие, которому моя младшая правнучка предается с рвением необычайным) по мне гораздо утомительнее манипуляций с животными тканями. О солитэре же можно подумать, особенно если расположен к его духовной разновидности; разве раскладывание собственных воспоминаний не того же разряда игра, где в праздной ретроспективе раздаешь сам себе события и переживания?

Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых не довольно воображения, чтобы сочинять романы, и не хватает памяти, чтобы писать правду. Мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Подобно другим старикам до меня, я обнаружил, что все по времени близкое неприятно разплывчато, между тем как в конце туннеля видишь и свет, и цвет. Я могу разглядеть подробности каждого месяца в 1944-м и 1945-м году, но когда выбираю наугад 1997-й или 2012-й, времена года безнадежно перемешиваются. Никак не могу вспомнить имени почтенного ученого, разбранившего мою недавнюю статью, — впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году Эмбриологическая секция Рейкьявикского Общества Любителей Природы выбрала меня своим почетным членом или когда именно Американская Академия Наук присудила мне самую свою знаменитую премию. (Помню, однако, какое острое удовольствие мне доставили оба эти отличия.) Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перистых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит (как дважды случилось наблюдать моему коллеге, ныне увы покойному профессору Александру Иванченке) роение гесперозои в сыроватой долине Венеры.

Конечно, "безчисленные смутные картинки", завешанные нам тусклыми, плоскими, до странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит; и однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся

нынешнему поколению более отдаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они все еще по пояс увязали в напускной стыдливости и предрассудках. Они цеплялись за традиции как лоза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов, причем каждый заключал в себе измельчавшие и бесполезные останки какой-нибудь устаревшей моды (во время утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось всунуть едва ли не три десятка пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязать три узла и проверить содержимое пятнадцати карманов).

Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулой, смысл которой — в ту силу, в какую слова вообще имеют смысл — может быть передан как "милосердный господин", и предвляли теоретически бессмертную подпись невянтищей, выражавшей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пишущего решительно безразлично. Они обладали атавистической склонностью оделять общество качествами и правами, в которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти той же страстью, с какой их деды увлекались богословиями. Они были поверхностны, беспечны, и близоруки. Чаше других поколений они не замечали выдающихся людей, оставив нам честь открытия их классиков (тот же Ричард Синатра был при жизни безыменным "лесничим", предававшимся раздумьям под Теллуридской сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого Синатру, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения).

Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо и невежественно пожимать своими широкими плечами. Наши обозначения времени показались бы им "телефонными" номерами. Они то так, то сак играли электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое — и не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось

чудовищной неожиданностью (я в то время был взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал навзрыд на дворе университета, окруженный ошеломленной толпой).

Но несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший напасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы раздавить варварскую пошлость Гитлера или Аламитло. И если бы я дал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много яркого, и доброго, и романтического, и прекрасного — и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава. Но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к личным воспоминаниям, не то мне могут сказать, как говорит г-ну Саскачеванову обаятельнейшая героиня современного романа (что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего), "всяк сверчок знай свой шесток" — и не вторгайся в законные владения разных там "слепней и стрекузничиков".

2.

Я родился в Париже. Мать моя умерла, когда я был еще младенцем, поэтому она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримозного тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учитель музыки и сам сочинял (до сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта); он дал мне университетское образование и умер от какого-то неведомого заболевания крови во время Южно-Американской войны.

Мне шел седьмой год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрее которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ обрекал неописуемым гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. Две пушечки на корме парохода были направлены на зловеще распаханный кильватер. С важным видом кувыркалась

ватага дельфинов. Бабушка читала мне рассказ о русалке, которая обрела ноги. Любознательный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот собственно и все, что я запомнил из этого плаванья.

По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные "небоскребы", как удивили бы они странствующих во времени; название неточное, потому что их отношения с небом, особенно на неземном склоне оранжевого дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящными и безмятежными: моим детским глазам, глядевшим на широкий простор парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни мешались с красками заката и с какою-то мечтательной прямою обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса.

Негритята тихо сидели на искусственных валунах. На стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шоферы приземистых, пестрых, жукообразных таксомоторов (они таксономически соединяются у меня в памяти с теми, тоже пестрыми, автоматами, на музыкальный запор которых вставленная монетка действовала как чудесное слабительное) прикрепляли к спине свои засаленные фотографические портреты; ведь мы жили в эпоху Опознавания и Классификации, понимали личность человека или вещи только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего-бы то ни было безымянного.

В недавней и все еще ходкой пьеске о причудливой Америке Стремительных Сороковых годов, особнным ореолом окружена роль Продавца Сельтерской, но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси (через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на

сцене) с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала: обильную пену, образывавшуюся над затонувшим комом мороженных синтетических сливок, и коричневую слякоть "молочно-шоколадного" сиропа, которым поливали его макушку. Латунь и стекло поверхностей, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и поблескивание пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии "Мировая Война", на котором изображался Дядюшка Сэм¹ со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире, с гипертрофированной нижней губой (эта выпуклость губ, этот надутый ротик-капкан, были преходящей модой женского обаяния между 1939-м и 1950-м годом), и незабываемая тональность разнородных автомобильных звуков, доносящихся с улицы — эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие "молочный бар" с миром, где люди терзали металл, а тот мстил им за это.

Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали беспрерывно — и одни дома были невзрачнее других; но каким бы маленьким ни был город, я знал наверное, что найду в нем место, где латали велосипедные шины, место, где продавалось мороженое, и место, где показывали кинематографические фильмы.

Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнинам; затем его подвергали обработке особенным составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на лунноматовом экране в бархатно-темной зале с движениями губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног, и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немыслимо гладкокожая девушка

¹"Дядюшка Сэм" — плакатный пожилой господин в цилиндре, имя которого составлено из первых букв названия страны: U.[n]c[e] S. Am. (= United States of America; это как бы антропоморфный образ Америки).

поднимает в нитку выщипанную бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.

3.

Я так стар, что еще помню пассажирские поезда; в младенчестве я боготворил их, в отрочестве же я обратился к улучшенным изданиям скорости. Они и теперь еще, бывает, тяжело проходят через мои сны, со своими утомленными окнами и приглашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого разстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда б его сливовый отлив не поддался действию угольной пыли и не сделался под-стать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу с тою же неизбежностью, с какой грамматическое правило и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо-вяло принимали в себя (передавая пальцам насквозь просвечивающий хлад) тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад.

Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из еще более древних сказок, то и дело нараспев выкликали свои "следущестанции" и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся, до смерти уставших солдат, и кто-нибудь из них, живой и пьяный, без умолку и витиевато болтал и только бледностью выдавал свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был, уродец, глиняный молодец, в разгар периода, бойко именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории — в честь посредственного ученого, в угоду тупицам придумавшего этот период.

Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог привыкнуть к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться надолго на одном каком-нибудь месте. Я мысленно вижу их все, но один универ-

ситетский городок представляется мне особенно живо: нет нужды называть его, довольно сказать лишь, что через три палисадника от нас, в густо-зеленом переулке, стоял дом, сделавшийся теперь национальной Меккой. Помню затопленные солнцем садовые кресла под яблоней, и ярко-медного сеттера, и толстого веснушчатого мальчика с книгой на коленях, и очень кстати подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня.

Сомневаюсь, чтобы туристы, посещающие теперь место рождения этого величайшего человека своего времени и gazeющие на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого безсмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осознание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо что бы ни случилось и сколько бы библиографических карточек ни заполнили названиями моих печатных трудов библиотекари, я буду известен потомству как человек однажды запустивший яблоком в Баррета.

Тем, кто родился после потрясающих открытий семидесятых годов и, значит, не видал ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров (все еще, кажется, разрешенных в некоторых штатах, несмотря на последние статьи д-ра де Саттона на эту тему), нелегко представить себе аэропланы, особенно оттого, что старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить — но как это ни странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не впрыснул в них своего гения, чтобы этим уберечь их облик от распада.

Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, которые выходят за пределы занимающей меня отрасли науки, и возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровое сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то

же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого от симфонической совокупности прошлого в моем ощущении.

В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в шестидесяти часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера, и мог различать их разновидности не только по оконечности крыла или по выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами после-Линнеевской эры, этими сумасшедшими сыщиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обладал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нараставшее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не пресным, как будто дух вещи отлетал как только она обретала законченную форму.

Постижение и наука, сбережение и искусство — пары эти держатся врозь, но уж если они встречаются, ничего нет важнее на свете. И поэтому я удаляюсь на цыпочках, покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе: привлеченный низким гуденьем, дрожащим и набирающим силу над головой, стою как вкопанный, позабыв о присмирившем велосипеде между ногами (одна на педали, другая носком касается покрытой асфальтом земли), глазами, подбородком и ребрами стремясь ввысь, к голому небу, где военный аэроплан идет с неземною скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания, между тем как фронтальный вид сменяется тыльным и крылья и рокот растворяются в дали. Восхитительные чудища, огромные летательные машины, они прошли, исчезли как стая лебедей, с мощным многокрылым свистом пронесшаяся как-то весенней ночью над Рыцарским Озером в Мэйне, из неведомого в неведомое: лебеди неизвестного вида, никогда не виданные ни прежде, ни после — и потом на небе не осталось ничего кроме одинокой звезды, подобно астериску отсылавшей к примечанию, которого найти нельзя.

Бостон, 1945-й год.

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

1.

В четвертый раз за столько же лет перед ними стоял вопрос, что можно подарить на рождение юноше с неизлечимо поврежденным рассудком. У него не было желаний. Человеческими руками сделанные предметы казались ему или гудящими ульями одному ему понятного зла, или принадлежали к тем грубым удобствам жизни, для которых не было места в его абстрактном мире. Отбросив ряд вещей, которые могли бы его обидеть или испугать (всякие хитроумные приспособления, например, совершенно исключались), его родители остановились на изящном, безобидном пустячке: корзинке с десятью разными сортами варенья в десяти баночках.

Ко времени его рождения они уже были давно женаты; прошло два десятка лет, и они совсем состарились. Ее тусклые седые волосы были причесаны кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (например, г-жи Соль, их соседки по квартире, лицо которой было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охапку полевых цветов), она подставляла голую белизну кожи придиричивому весеннему свету. Муж ее, в предыдущей стране бывший довольно зажиточным коммерсантом, теперь полностью зависел от брата Исаака, настоящего американца с сорокалетним стажем. Они его видели редко и между собой называли его "Принцем".

В ту пятницу все шло не так. Поезд метро потерял жизненный ток между двумя станциями, и в продолжение четверти часа слышен был только добросовестный стук собственного сердца да шелест перелистываемых газет. Автобус, на который им нужно было потом пересестъ, заставил их ждать целую вечность; а когда он наконец пришел, то оказался набитым галдящими школьниками. Шел сильный дождь, пока они поднимались по коричневой дорожке к санатории. Там они опять

ждали; и вместо их сына, который обыкновенно входил, шаркая, в комнату (его бедное прыщавое лицо, плохо выбритое, угрюмое и смущенное), появилась сестра, которую они знали и недолгоблюдавали, и бодро объяснила, что он опять пытался покончить с собой. Теперь, по ее словам, все было хорошо, но их посещение могло его разстроить. В заведении так явно не хватало служащих, и вещи так легко пропадали или попадали не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять подарка в конторе, а привезти его в свой следующий приезд.

Она подождала пока муж откроет зонтик и потом взяла его под руку. Он все прочищал горло особенно гулким способом, как и всегда, когда бывал огорчен. Они добрались до будки на автобусной остановке на другой стороне улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под качающимся, роняющим капли деревом, беспомощно подергивался в луже крохотный полумертвый птенец.

В продолжение долгого пути к станции метро они не обменялись ни словом; и всякий раз, что она взглядывала на его старческие руки (набухшие вены, кожа в коричневых крапинках), сложенные и подрагивавшие на ручке зонтика, она чувствовала нарастающий прилив слез. Когда она огляделась, пытаясь зацепиться за что-нибудь сознанием, она испытала как-бы легкое потрясение, смесь сострадания и изумления, заметив, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с грязными карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече пожилой женщины. На кого эта женщина была похожа? Она была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла замуж за одного из Соловейчиков — в Минске, давным-давно.

Когда он последний раз пытался это сделать, его метод, по словам доктора, был чудом изобретательности; он бы и достиг своего, когда бы завистливый сосед не подумал, что он учится летать, и не помешал ему. На самом же деле, он хотел проделать дыру в своем мире и бежать.

Основа его маний послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем давно сами ее определили. *Mania Referentia*, "соотносительная мания", как назвал ее Герман

Бринк. В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, что все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. Живых людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя гораздо выше прочих в умственном отношении. Явления же природы следуют за ним куда бы он ни шел. Облака на небе не спускают с него глаз, и при помощи медленных сигналов передают друг другу невероятно подробные сведения о нем. Его сокровеннейшие мысли обсуждаются по вечерам, посредством ручной азбуки, загадочно жестикулирующими деревьями. Камушки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, и тема этого шифра — он сам. Иные из его соглядатаев — равнодушные наблюдатели, как например стеклянные поверхности и пруды стоячей воды; другие, например, пальто в витринах лавок, предубежденные свидетели, в душе сторонники немедленной расправы; третьи же (проточная вода, гроза), истеричные до потери разсудка, имеют о нем превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое значение. Он постоянно должен быть начеку и посвящать всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флуктуаций предметов. Самый воздух, который он вдыхает, заносится в реестр и подшивается к его делу. Если бы только интерес, вызываемый им, ограничивался его ближайшим окружением — но, увы, это было не так. При удалении поток диких наговоров становился громче и многословнее. Силуэты его кровавых шариков, в миллионы раз увеличенные, мелькают над просторными равнинами; а еще дальше — огромные горы невыносимой плотности и высоты подводят на языке гранита и стонущих елей итог основного смысла его бытия.

2.

Когда они выбрались из грома и спёртого воздуха метро, последний осадок дня смешивался с уличными огнями. Она

хотела купить рыбы к ужину и поэтому передала ему корзинку с баночками желе и сказала идти домой. Он поднялся до площадки третьего этажа и тут вспомнил, что днем отдал ей свои ключи.

Он молча сел на ступени и молча поднялся, когда минут через десять она пришла, тяжело топая по лестнице, болезненно улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. Они вошли в свою двухкомнатную квартиру, и он тотчас же направился к зеркалу. Растянув углы рта большими пальцами, с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою новую, безнадежно неудобную челюсть, разделив длинные бивни слюны, соединявшие его с ней. Пока она накрывала на стол, он читал свою русскую газету. Продолжая читать, он съел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она понимала его настроение и тоже молчала.

Когда он ушел спать, она осталась в гостиной с колодой засаленных карт и своими старыми альбомами. Насупротив, через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по помятым мусорным бидонам, окна были невозмутимо освещены и в одном из них видно было мужчину в черных штанах, с закинутыми голыми локтями, лежавшего навзничь на развороченной постели. Она опустила жалюзи и стала разсматривать фотографии. В младенчестве у него было выражение более удивленное, чем бывает у большинства младенцев. Из альбома выпала немецкая горничная, которая была у них в Лейпциге, и ее толстолицый жених. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг, косой фасад дома, очень неясно вышедший. В четыре года, в парке: пасмурный, застенчивый, с насупленным лбом, отворачивающийся от назойливой белки, как отворачивался от всего незнакомого. Тетя Роза, суетливая, худая, с безумным выражением глаз пожилая дама, жившая в трепетном мире дурных вестей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей — куда немцы не убили ее вместе со всеми теми, о ком она тревожилась. Шесть лет — это когда он рисовал удивительных птиц с человеческими руками и ногами и повзрослому страдал бессонницей. Его двоюродный брат, теперь

известный шахматист. Опять он, лет восьми, его уже трудно было понимать, он уже боялся обоев в коридоре, боялся картинки в книге, на которой был всего лишь изображен идиллический пейзаж с большими камнями на склоне холма и со старым тележным колесом, висевшим на суке безлистого дерева. Десять: в тот год они уехали из Европы. Стыд, жалость, унижительные трудности, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той особой школе. А потом наступило в его жизни время, совпавшее с выздоровлением после воспаления легких, когда его мелкие страхи, которые его родители упорно считали причудами необычайно даровитого ребенка, как бы сбились в плотный, перепутанный клубок логически взаимодействующих иллюзий, сделав его совершенно неприемлемым для нормального ума.

С этим, как и со многим другим, она мирилась — потому, что ведь, в конце концов, вся жизнь состоит сплошь из примирения с потерей одной радости за другой, в ее же случае, не просто радости, но даже возможности какого-нибудь просвета. Она думала о бесконечных волнах боли, которые она и ее муж почему-то должны были терпеть; о незримых гигантах, которые как-то невообразимо мучат ее мальчика; о неизмеримом количестве нежности, которая существует в мире; об участии этой нежности, которую давят, зря расточают, или превращают в безумие; о заброшенных детях, что-то шепчущих себе под нос в неметенных углах; о прекрасных сорных травах, которым некуда спрятаться от косца, вынужденных беспомощно следить как его по-обезьянни сутулая тень оставляет позади себя искромсанные цветы, меж тем как надвигается чудовищная тьма.

3.

Было уже полночь, когда из гостиной она услышала мужнин стон; и затем он прошаркал в комнату, в накинутах поверх пижамы старом пальто с каракулевым воротником, которое он предпочитал своему хорошему синему халату.

— Я не могу заснуть, крикнул он.

— Но почему, спросила она, почему ты не можешь заснуть? Ты ведь был такой усталый.

— Я не могу спать, потому что я умираю, сказал он и лег на диван.

— Что это, желудок? Хочешь я позвоню доктору Солову?

— Не нужно докторов, не нужно, простонал он. К черту докторов. Мы должны поскорее забрать его оттуда. Иначе вина ляжет на нас. На нас! повторил он и тотчас рывком сел, поставив ноги на пол и колотя по голове стиснутым кулаком.

— Хорошо, сказала она спокойно, мы завтра утром перевезем его домой.

— Мне бы чаю, сказал муж и ушел в уборную.

С трудом нагнувшись, она подняла несколько карт и одну или две фотографии, соскользнувшие с дивана на пол; червонный валет, пиковая девятка, туз пик, Эльза и ее брутальный кавалер.

Он вернулся в лучшем настроении и громко сказал:

— Я все продумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый из нас будет проводить часть ночи возле него, а потом спать на диване. По очереди. Доктор будет навещать его по крайней мере два раза в неделю. Не важно, что скажет Принц. Ему и нечего будет сказать, потому что так выйдет дешевле.

Позвонил телефон. Обыкновенно в такой час их телефон не звонил. Его левая туфля соскочила с ноги, и он нашаривал ее пяткой и носком, стоя посреди комнаты, по-детски, беззубо, с разинутым ртом глядя на жену. Она обычно подходила к телефону, так как лучше его знала по-английски.

— Можно Чарли? сказал девичий глуховатый голосок.

— Вам какой номер нужен? Нет. Это не тот номер.

Она мягко положила трубку. Ее рука потянулась к старому уставшему сердцу.

— Я испугалась, сказала она.

Он быстро улыбнулся и тотчас продолжал свой взволнованный монолог. Завтра чем свет они поедут за ним. Ножи придется запирать в ящик. Даже в самые худшие свои дни он не представлял опасности для других.

Телефон позвонил в другой раз. Тот же встревоженный, лишенный выражения, молодой голос попросил Чарли.

— Это не тот номер. Я вам объясню, что вы делаете: вы вертите букву О вместо ноля.

Они сели за свой неожиданно праздничный полуночный чай. Подарок к рождению стоял на столе. Он шумно отхлебывал; лицо его покраснелось; он то и дело поднимал стакан и качал его кругообразным движением, чтобы сахар скорее растворился. На его лысой голове, сбоку, где было большое родимое пятно, заметно выделялась жила, и хотя он побрился утром, серебристая щетина пробивалась у него на подбородке. Пока она наливала ему другой стакан, он надел очки и с удовольствием принялся заново пересматривать лучезарные желтые, зеленые, красные баночки. Его неловкие мокрые губы с трудом читали звучные ярлыки: абрикос, виноград, слива морская, айва. Он дошел до райского яблочка, когда телефон зазвонил опять.

1948 г.

СЁСТРЫ ВЕЙН

1.

Я бы мог так никогда и не узнать о смерти Цинтии, если бы в тот вечер не столкнулся с Д., которого я вот уже года четыре как потерял из виду; и я мог бы никогда не встретиться с Д., если бы моим вниманием не завладела вереница пустяшных наблюдений.

Мело всю неделю, но в воскресенье погода усовестилась, и день переливался самоцветами пополам со слякотью. Во время моей обычной вечерней прогулки по холмистому городку при женском институте, где я преподавал французскую словесность, я заметил семейку сверкающих сосуллек, кап-кап-лющих с

карниза дощатого дома, и остановился. Их заостренные тени до того отчетливо вырисовывались на белых досках позади, что я не сомневался, что можно будет подглядеть даже и тени падающих капель. Но этого-то никак не удавалось. То ли крыша выступала чересчур далеко, то ли угол зрения был неверен, а может быть я просто смотрел не на ту сосульку в момент падения нужной капли. Был тут какой-то ритм, какое-то чередование капли, которое подстегивало мое любопытство вроде известного фокуса с монетой. Тогда мне пришлось в голову исследовать углы еще нескольких зданий в округе, что привело меня на улицу Келли, прямо к тому дому, в котором когда-то жил Д. в бытность свою преподавателем в институте. И когда я взглянул наверх, на карниз смежного с домом гаража, где висел полный ассортимент прозрачных сталактитов с голубыми силуэтами позади, я остановил свой выбор на одном из них и был, наконец, вознагражден, увидев как-бы точку восклицательного знака, покинувшую свое обыкновенное место и очень быстро скользящую вниз — на краткий миг раньше самой капли, с которой она состязалась наперегонки. Чуден был этот двойной искрящийся перемиг, но мне чего-то не доставало; вернее, он только раздражил мой аппетит, так что захотелось еще других изысканных прелестей света и тени, и я пошел дальше в состоянии обнаженной восприимчивости, которая, казалось, обратила всего меня в одно большое, вращающееся в глазнице мира око.

Сквозь павлинью радугу сощуренных ресниц смотрел я на алмазную игру света на покатой спине запаркованного автомобиля, на которой отражалось низкое солнце. Губка оттепели возвратила множеству вещей красочный наглядный смысл. Вода стекала наплывавшими друг на друга фестонами вниз по крутой улице и плавно сворачивала в другую. Узкие проемы между домами с едва уловимым оттенком показной привлекательности обнаруживали кирпичные фиолетовые сокровища. Это был первый раз что я обратил внимание на неприятную гофрировку, украшавшую мусорный бидон (последний отзвук каннелюрной отделки колонн) и увидел зыбь на его крышке — круги, расходившиеся из немыслимо древнего центра. Стоячие, темноглавые фигуры из мертвого снега (остав-

ленные в пятницу плугом бульдозера) выстроились в ряд вдоль панели как рудиментарные пингвины над дрожащим блеском оживших проточных ручьев.

Я шел вперед, и возвращался назад, и забрёл прямо в нежно умиравшее небо, и наконец цепочка наблюдаемых и наблюдающих предметов привела меня, в обычный мой обеденный час, на улицу весьма удаленную от той, где я обыкновенно обедаю, так что я решил зайти в ресторанчик, стоявший на краю города. Когда я вышел оттуда, ночь уже пала без дальних слов и церемоний. Тощий призрак — продолговатая тень, отбрасываемая счетчиком автомобильной стоянки на мокрый снег — была странного рдяного оттенка; я установил, что причиной тому был желтовато-красный фонарь ресторанной вывески над троттуаром; и вот тут-то — покамест я там топтался, устало соображая, удастся ли мне, когда буду плестись восвояси, набрести на сходное явление, но только в неоновом синем колере — возле меня с визгом остановился автомобиль и из него с наигранно-радостным восклицанием вылез Д.

Он проезжал через город, где когда-то жил, по пути в Бостон из Альбани, и не в первый уже раз я почувствовал вчуже укол вины, сменившийся чувством неприязни по отношению к вояжерам, которые как-будто не испытывают решительно никаких эмоций, оказываясь в местах, где на каждом шагу их должны подстергать стенающие и корчащиеся воспоминания. Он завел меня обратно в кабачок, из которого я только что вышел, и после обыкновенного обмена бодренькими банальностями образовался неизбежный вакуум, который он заполнил первыми подвернувшимися словами: "А знаешь, вот ведь никогда я не думал, что у Цинтии Вейн болезненное сердце. Мне мой адвокат сказал, что она умерла на прошлой неделе."

2.

Он был по-прежнему молод, по-прежнему хамоват и скользковат, по-прежнему женат на мягкосердечной, изысканно-красивой женщине, которая не подозревала и так никогда и не узнала о его несчастном романе с истерической

младшей сестрой Цинтии, а та в свою очередь не имела понятия о разговоре, который произошел у меня с Цинтией, когда она неожиданно вызвала меня в Бостон и заставила поклясться, что я поговорю с Д. и добьюсь того, что его "вышвырнут" из института, если он немедленно не прекратит связи с Сивиллой — или не разойдется с женой (которую она, между прочим, представляла себе, через призму бредовых рассказов Сивиллы, как мегеру и уродину). Я тотчас приступил к нему. Он сказал, что беспокоиться не об чем — все равно он решил бросить преподавание и переехать с женой в Альбани, где он будет служить в фирме отца; и вся эта история, угрожавшая превратиться в одно из тех безнадежно-запутанных положений, которые тянутся годами, обрастая побочными группами друзей-доброхотов, без конца обсуждающих перипетии дела в круговой поруке тайны — и даже заводящих, на почве чужой беды, свои собственные романы, — пришла к внезапному концу.

Помню, что на другой день я сидел за столом на возвышении, в большой классной зале, где накануне самоубийства Сивиллы проводился полугодовой экзамен по французской литературе. Она пришла в туфлях на высоких каблучках, с саквояжем, который шваркнула в угол, куда были свалены прочие сумки, одним движением скинула шубку с худых плеч и сложила ее пополам на своем бауле, и с двумя-тремя другими девушками задержалась перед моим столом, чтобы узнать, как скоро я пошлю им почтовые извещения о выставленных баллах. Чтобы прочитать все сочинения, сказал я, мне понадобится неделя, считая с завтрашнего дня. Помню еще, что подумал, сообщил ли ей Д. уже о своем решении, — и мне делалось ужасно жалко мою добросовестную студенточку всякий раз, что в продолжение ста пятидесяти минут мой взгляд останавливался на ней, такой по-детски шуплой в своем тесном сером платье, и я разглядывал ее старательно уложенные темные волосы, шляпку с миниатюрными цветами и гиалиновой вуалькой, какие носили в тот сезон, а за нею маленькое лицо, покрытое шрамами от кожной болезни и вследствие этого напоминающее кубистическую картину, несмотря на жалкую попытку скрыть это загаром от искусственной солнечной лам-

пы, отчего черты лица поглубели, причем прелесть его еще больше пострадала оттого, что она накрасила все что только можно было нарисовать, так что бледные десны зубов между потрескавшимися вишнево-красными губами, да еще разбавленные синие чернила глаз под тушью подведенными веками были единственными доступами, через которые ее краса открывалась взгляду.

Назавтра, разложив неказистые тетради в азбучном порядке, я погрузился в хаос почерков и преждевременно наткнулся на сочинения Валевской и Вейн, чьи тетрадки я почему-то положил сверху. Первая по случаю экзамена разстаралась, и ее руку еще можно было с грехом пополам разобрать, но работа Сивиллы являла собой всегдашнюю смесь нескольких демонических почерков. Она начала писать очень бледным и очень твердым карандашом, который вытеснял глубокие рубцы на обороте листа, но на лицевой стороне не оставлял скольконибудь существенных следов. К счастью, грифель скоро обломился, и Сивилла продолжала писать другим, более темным карандашом, и постепенно дошла до такой толщины размытых линий, что казалось она пишет почти что углем, к которому примешивались следы губной помады из-за того, что она слюнула тупой кончик грифеля. Ее сочинение, хотя оно было и хуже, чем я предполагал, хранило все признаки отчаянного старания, с подчеркиваниями, перестановками частей текста, необязательными сносками — как будто она положила себе покончить со всеми делами самым достойным образом. Потом она заняла у Мэри Валевской автоматическое перо и дописала: "Cette examain est finie ainsi que ma vie. Adieu, jeunes filles! Пожалуйста, Monsieur le Professeur, скажите ma soeur, что Смерть не лучше, чем D с минусом, но все-таки лучше, чем Жизнь минус D."

Я безотлагательно телефонировал Цинтии, и она сказала мне, что все кончено, — все уже было кончено в восемь часов утра — и попросила принести записку, а когда я принес ее, улыбнулась сквозь слезы, с гордостью восхищаясь тем, как своеобразно Сивилла воспользовалась ("Как это на нее похоже!") экзаменом по французской литературе. Она тут же "сварганила" два стакана виски с сельтерской водой, все не

разставаясь с тетрадкой Сивиллы (забрызганной теперь сельтерской и слезами), и углубилась опять в изучение предсмертного послания, после чего мне пришлось указать ей на грамматические ошибки в нем и объяснить, как в американских колледжах переводят слово "девочка" из опасения, что студенты будут щеголять французским эквивалентом "девки" или чего похуже. Эти несколько безвкусные пустяки страшно понравились Цинтии, которая уже выплыла, жадно хватая воздух, на поверхность своего горя. Потом, держа эту раскисшую тетрадь как паспорт в некий будничный Элизий (где карандашные грифели не обламываются и где мечтательная юная красавица с безукоризненным лицом наматывает локон на свой мечтательный палец, задумавшись над каким-то небесным экзаменом), Цинтия повела меня во второй этаж, в холодную спальню, — затем лишь, чтобы показать мне — точно я был пристав или соболезнающий ирландец-сосед — два пустых пузырька из-под пилюль и разворошенную постель, из которой уже было удалено нежное, несущественное тело, должно быть знакомое Д. до последней бархатистой подробности.

3.

Я стал видаться с Цинтией довольно часто месяца через четыре или пять по смерти ее сестры. Я тогда приехал в Нью-Йорк, чтобы заниматься по своей специальности в Публичной библиотеке, а она тоже туда перебралась и по непонятной причине (имевшей, надо полагать, какое-то смутное отношение к ее художественным занятиям) поселилась на квартире того разряда, который люди, не знающие что такое мурашки по коже, зовут "квартирой с холодной водой", в нижних кварталах поперечных улиц города. Меня не привлекали ни ее манеры, казавшиеся мне отталкивающе экспансивными, ни ее внешность, которую другие мужчины находили яркой. У нее были широко поставленные, очень напоминавшие сестрины, глаза открытой, испуганной синевы с черными, лучеобразно расходившимися точечками. Переносье между густыми черными бровями всегда у ней блестело, как, впрочем, и мясистые крылья

ноздрей. Шероховатая поверхность ее эпидермы больше походила на мужскую, и в резком свете лампы в мастерской на ее тридцатидвухлетнем лице видны были поры, чуть ли неглазевшие на вас как бы из аквариума. Она пользовалась гримом столь же безудержно, что и ее младшая сестра, но еще и неаккуратно, отчего на ее крупных резцах оставались следы губного карандашика. У нее были красивые темные волосы, она носила не вовсе безвкусную смесь довольно элегантных, разнородных вещей и имела что называется хорошую фигуру, но вообще она была на редкость неряшлива, и неряшливость эта у меня как-то связывалась с левизной в политике и с "передовыми" пошlostями в искусстве, хотя на самом деле ей было чуждо и то, и другое. Ее кольчатая прическа на пробор, с высоким пучком назад, казалась бы диковатой и вычурной, кабы ее не одомашнивал нежный беспорядок на беззащитном затылке. Ногти она красила в крикливые цвета, но они были сильно обкусаны и нечисты. В любовниках у нее были: неразговорчивый молодой фотограф, вдруг принимавшийся хохотать, и двое пожилых мужчин, братьев, владевших маленьким типографским заведением через дорогу. Я дивился невзыскательности их вкуса всякий раз, что мне случалось с тайным содраганием увидеть туда-сюда бегущие полоски черных волосков, проступавших сквозь нейлоновый чулок по всей длине ее бледной голени с научной отчетливостью сплющенного под стеклом препарата; или когда при каждом ее движении до меня доносился глуховатый, затхловатый, не особенно явный, но вездесущий и нудный запах, который источала ее нечасто мытая плоть из-под слоя износившихся духов и кремов.

Отец ее проиграл большую часть солидного состояния, а первый муж ее матери был славянского происхождения, но в остальном Цинтия Вейн происходила из хорошей, добропорядочной семьи. Вполне возможно, что ее род восходит к князьям и кудесникам туманных островов на краю света. Переселившись в свет поновей, в живописную местность среди обреченных, прекрасных лиственных деревьев, ее предки на одной из начальных ступеней являли собою фермеров-прихожан белой церквушки на фоне черной тучи, а позже — внушительный ряд мещан, занимавшихся торговым делом, равно как

и несколько людей ученых, как, например, д-р Джонатан Вейн, сухопарый педант (1780-1839), погибший при пожаре на пирскафе "Лексингтон" и потом сделавшийся неперменным гостем за вертящимся столом Цинтии. Мне всегда хотелось поставить генеалогию на голову, и в данном случае я как раз могу это сделать, ибо только последний отпрыск династии Вейнов, Цинтия, останется единственным его достойным внимания представителем. Я, конечно, имею в виду художественное дарование, ее чудесную, радостную, но не очень ходкую живопись, которую изредка покупали друзья ее друзей, — и мне очень и очень хочется знать, куда девались после ее смерти эти честные, поэтические картины, украшавшие ее гостиную: изображения металлических предметов с изумительно выписанными подробностями, и мой любимый "Вид сквозь ветровое стекло" — стекло с одной стороны схвачено инеем, а по его прозрачной стороне сбегает переливчатая струйка (с воображаемой крыши автомобиля), и за всем этим виднеется сапфирное пламя неба и бело-зеленая елка.

4.

У Цинтии было ощущение, что покойная сестра не совсем ею довольна, так как ей теперь открылось, что мы с Цинтией сговорились тогда положить конец ее роману; и вот, чтобы ублажить ее тень, Цинтия прибегла к несколько примитивному жертвоприношению (тем не менее, было в этом что-то от Сивилиного юмора) и начала посылать по адресу конторы Д. через умышленно нерегулярные интервалы разный вздор, как-то: фотографические снимки могилы сестры при слабом освещении; обрезки собственных ее волос, неотличимых от Сивилиных; подробную карту Новой Англии, на которой крестиком было помечено место между двумя непорочными городишками, где двадцать третьего октября, средь бела дня, Д. и Сивилла остановились в придорожной гостинице нестрогих правил, в розово-коричневом лесу; и чучело скунса (дважды).

Будучи собеседницей скорее многоречивой, чем доходчи-

вой, она никогда не могла вполне объяснить изобретенную ею теорию о вмешательстве потусторонних веяний, или "аур", в нашу жизнь. Собственно, в ее частном догмате не было ничего особенно нового, ибо он предполагал существование весьма заурядного загробного мира — безмолвного солярия для безсмертных душ (срашенных со своими смертными предшественницами), главное развлечение коих состоит в периодическом витании вокруг милых им людей. Интересно же тут было то, что Цинтия вносила в свою непритязательную метафизику любопытный практический элемент. Она была уверена, что ее жизнь подвержена влиянию самых разных умерших друзей, каждый из которых по очереди направлял ее судьбу, как если бы она была потерявшимся котенком, которого мимоидущая школьница подхватывает на руки, и прижимает к щеке, и осторожно опускает на землю, около какой-нибудь живой изгороди за городской заставой, а через минуту его уже гладит рука другого прохожего — или какая-нибудь гостеприимная дама уносит его в мир дверей.

В продолжение нескольких часов, а то и дней подряд, иногда возобновляясь через неправильные промежутки времени по целым месяцам или годам, все, что бы ни происходило с Цинтией по смерти какого-нибудь человека, происходило, по ее словам, в соответствии с обычаем и настроением этого человека. Событие могло быть чрезвычайным, меняющим ход всей жизни, — или чередой мелких происшествий, заметных ровно постольку, поскольку они выделяются на будничном фоне, после чего они растворяются в еще более туманных частностях по мере того, как "аура" сходит на нет. Это веянье может быть хорошим или дурным, но важно то, что можно установить его источник. Как будто проходяшь сквозь душу человека, сказала она. Я пытался возразить, что она не может всегда знать наверное этот источник, потому что не у каждого имеется распознаваемая душа; что неподписанные письма или подарки к Рождеству может послать кто угодно; более того, то, что Цинтия называет "будничным фоном", может само по себе быть слабым раствором перемешанных "веяний" или просто

очередным дежурством обыкновенного ангела-хранителя. Да и как быть с Богом? Разве люди, для которых невыносима мысль о всемогущем земном диктаторе, не мечтают о небесном? А войны? Что за гнусная идея: мертвые солдаты дерутся с живыми, или полчища призраков пытаются одолеть друг друга, распоряжаясь жизнью старых калек.

Но Цинтия была выше обобщений, равно как и вне пределов логики. "Ах, это Поль," бывало, говорила она, когда суп, злобно кипя, убежал, или: "Милая Бетти наверное умерла," когда она выиграла в благотворительную лотерею превосходный и очень нужный пылесос. И с Джемсовскими околичностями, так раздражавшими мой французский ум, она вспоминала ту пору, когда Бетти и Поль еще были в живых, и рассказывала о дарах, которыми ее осыпали из лучших побуждений, но которые оказывались до того странными, что их невозможно было принять — начиная со старенького портмоне с чеком на три доллара, который она нашла на улице и, разумеется, возвратила (вышеназванной Бетти Браун — вот где она впервые выходит на сцену — дряхлая, едва передвигающаяся негритянка), и кончая оскорбительным предложением одного ее прежнего кавалера (вот где выплывает Поль) изобразить "без выкрутасов" его дом и семью за умеренное вознаграждение — и все это случилось после кончины какой-то г-жи Пейдж, добродушной, но придиричливой старушонки, которая надоедала Цинтии житейскими советами с самого детства.

У личности Сивиллы, говорила она, был радужный край, словно бы она была немного не в фокусе. Она сказала, что если б я знал Сивиллу покороче, я сразу бы увидел, до чего в ее духе была "аура" мелких происшествий, которая время от времени обволакивала ее, т. е. Цинтии, жизнь после самоубийства Сивиллы. Еще с тех пор, как они лишились матери, они хотели оставить свой бостонский дом и переехать в Нью-Йорк, где, как им казалось, живопись Цинтии скорее получит должное признание; но старый дом вцепился в них всеми своими плюшевыми щупальцами. Однако после своей смерти Сивилла принялась отделять дом от окружающего ландшафта,

что убийственно сказывается на ощущении своего дома. Прямо насупротив, на другой стороне узкой улочки, затеялось шумное, безобразное, огородившееся лесами строительство. Тою же весной умерла чета давно знакомых тополей, превратившихся в белесые скелеты. Пришли рабочие и взломали красивую, теплого цвета, старую панель троттуара, что отливала особой лиловизной в мокрые апрельские дни и так незабываемо отзывалась на утренние шаги идущего в музей г-на Ливера, который, удалившись от дел в шестьдесят лет, посвятил целую четверть века исключительно изучению улиток.

Говоря о стариках, следует прибавить, что порою этот посмертный надзор и вмешательство в дела живых принимали вид пародии. Цинтия когда-то была в приятельских отношениях с чудаковатым библиотекарем по имени Порлок, который в последние годы своей покрытой пылью жизни просматривал старинные книги на предмет отыскания в них таких магических опечаток, как "l" вместо второго "h" в слове "hither". В противоположность Цинтии он был чужд восторгам замысловатых предсказаний; его занимала сама аномалия, нечаянность имитирующая неслучайность, изъян кажущийся зияньем; и Цинтия, гораздо более извращенная любительница изувеченных или незаконно соединенных слов, каламбуров, логгрифов и так далее, помогала бедному сумасброду в розысках, которые, судя по приведенному ею примеру, представлялись мне с вероятностной точки зрения безумием. Как бы то ни было, по ее словам, на третий день после его смерти она читала какой-то журнал, и когда ей попалась на глаза цитата из одной бессмертной поэмы (которую она, вместе с другими наивными читателями, считала и в самом деле сочиненной во сне), ее осенило, что слово "Alph" содержало пророческое сочетание начальных букв Анны Ливии Плурабель (название другой священной реки, протекающей через еще один мнимый сон — или вернее, огибающей его), с добавочной "h", которая подобно путеводному знаку, понятному только посвященным, скромно указывала на столь поразившее г-на Порлока слово. Наконец, жалею, что не могу вспомнить того романа или рассказа

(какого-то современного писателя, если не ошибаюсь), в последнем абзаце которого первые буквы слов неведомо для автора складывались, по истолкованию Цинтии, в послание от его покойной матери.

5.

Как это ни грустно, Цинтия не довольствовалась этими хитроумными фантазиями и имела нелепую слабость к спиритизму. Я отказывался сопровождать ее на сеансы, в которых участвовали платные медиумы: слишком хорошо я был осведомлен о подобного рода вещах по другим источникам. Я, однако, согласился присутствовать на маленьких фарсах, устраивавшихся Цинтией и двумя ее каменнолицыми друзьями из типографии. Эти учтивые, пожилые господа с толстенькими брюшками производили жутковатое впечатление, но я был доволен уже тем, что они были достаточно остроумны и воспитаны. Мы сели за легкий столик, и не успели коснуться его кончиками пальцев как началось потрескивание и подрагивание. Меня потчевали большим разнообразием духов, которые очень охотно отбарабанивали свои отчеты, хотя и отказывались объясниться, если я чего-нибудь недопонимал. Явился Оскар Вайльд и французской скороговоркой, изобиловавшей ошибками и обычными англицизмами, невнятно обвинил покойных родителей Цинтии в чем-то, что в моих записях фигурирует как "плагиатизм". Один назойливый дух поведал непрошенные сведения о том, что он, Джон Мур, и его брат Виль были углекопами в Колорадо и погибли при обвале шахты "Хохлатая Красавица" в январе 1883-го года. Фредерик Майерс, набивший руку в этой игре, оттараторил стихотворение (до странного напоминающее собственные Цинтии стишки на случай), которое я отчасти записал:

Что это такое? Ловкий трюк,
Или блик — с изъясном, но действительный?
Разорвет ли он порочный круг
И разгонит ли кошмар томительный?

Наконец, с ужасным грохотом, со всяческими судорогами и корчами стола, нашу небольшую компанию посетил Лев Толстой, и когда его попросили подтвердить, что это он самый и есть, посредством какой-нибудь отличительной особенности земного обихода, он пустился в сложные описания каких-то видов русской деревянной архитектуры, что ли ("фигуры на досках: человек, конь, петух, человек, конь, петух"), что было не просто записывать, трудно понять, и невозможно удостоверить.

Я присутствовал еще на двух-трех сеансах, которые были еще того глупее, но, признаюсь, я предпочитал доставляемое ими детское развлечение и подаваемый во время одного сидр (Толстобрюшкин и Толстопузин были трезвенники) несносным домашним вечеринкам Цинтии.

Она устраивала их в уютной соседней квартире Вилеров — что отвечало ее центробежной натуре; но и то сказать, собственная ее гостиная всегда выглядела как старая неотмытая палитра. Следуя варварскому, нечистоплотному и развратному обычаю, спокойный, плешивый Боб Вилер относил пальто гостей, еще теплые внутри, в святилище опрятной спальни и сваливал их в кучу на супружеской постели. Сверх того, он разливал напитки, которые разносил молодой фотограф, а Цинтия с г-жой Вилер между тем занимались приготовлением бутербродов.

Взору опоздавшего являлась громогласная толпа людей, зачем-то сгрудившихся в синем от дыма пространстве меж двух зеркал, до краев наполненных отражениями. Вероятно вследствие того, что Цинтии хотелось быть моложе всех в комнате, она всегда приглашала женщин, все равно замужних или нет, которым в лучшем случае было очень далеко за сорок; иные из них приносили с собою из дому, в темных таксомоторах, нетронутые следы красивой наружности, которые они, однако, в течение вечера растеривали. Никогда не устану поражаться способности общительных завсегдатаев субботних пирушек чисто эмпирически, но очень точно и очень быстро, находить общий знаменатель опьянения, которого они строго держатся до

тех пор, пока сообща не опустятся на следующий уровень. В щедрой ласковости дам слышались озорные нотки, а приятно подвыпившие мужчины занимались пупоглядением, что походило на кощунственную пародию беременности. Хотя некоторые из гостей были так или иначе связаны с миром искусства, не было ни вдохновенных речей, ни подпертых рукою голов в венках, не говоря уже о флейтистках. Из какой-нибудь стратегической точки, где Цинтия сидела на бледном ковре в обществе одного-двух мужчин помоложе, в позе выброшенной на сушу наяды, с лицом как лаком покрытым пленкой блестящего пота, она приподнималась на колени, держа блюдо с орешками в протянутой руке, и звучно хлопала другой по атлетической ноге не то Кокрана, не то Коркорана — торговца картинами, удобно устроившегося на перлово-сером диване между двумя возбужденными, радостно расползающимися на составные части дамами.

На следующей стадии начинались всплески веселья более буйного. Коркоран или Коранский хватал Цинтию или другую проходящую женщину за плечо и уводил ее в угол, где донимал ее ухмыляющейся мешаниной одному ему понятных острот и сплетен, после чего она, со смехом потрянув головой, вырывалась. Еще позже возникали спорадические проявления фамильярности между полами, шутовские примирения, чья-нибудь мясистая, голая рука обвивалась вокруг талии чужого мужа (стоящего очень прямо посреди заходившей под ногами комнаты), и кто-то внезапно раздражался кокетливым гневом, кто-то кого-то неуклюже преследовал — между тем как Боб Вилер со спокойной полу-улыбкой подбирал бокалы, росшие как грибы в тени стульев.

После очередной такой вечеринки я написал Цинтии совершенно безобидное и в сущности доброжелательное письмо, в котором слегка подтрунивал в романском духе над некоторыми из ее гостей. Кроме того, я просил прощения за то, что не прикоснулся к ее виски, сказав что, будучи французом, предпочитаю лозу злакам. Через несколько дней я увидел ее на ступеньках Публичной библиотеки, под солнцем,

брызнувшим в просвет тучи; шел слабый ливень, и она пыталась раскрыть янтарный зонтик и в то же время не выронить зажатые под-мышкой книги (от которых я ее на время избавил) — "Шаги на краю мира иного" Роберта Дейля Овена и нечто о "Спиритизме и Христианстве" — как вдруг, безо всякого повода с моей стороны, она разразилась обвинительной тирадой, грубой, горячей, язвительной, говоря — сквозь грушевидные капли редкого дождя — что я сухарь и лицемер; что я вижу только жесты и личины людей; что Коркоран спас двух утопающих в двух разных океанах — по совпадению обоих звали Коркоранами, но это не важно; что у егозы и трешетки Джоаны Винтер маленькая дочь обречена на полную слепоту в течение нескольких месяцев; и что женщина в зеленом платье с веснушчатой грудью, с которой я каким-то образом высокомерно обошелся, написала лучший американский роман за 1932-й год. Что за странная эта Цинтия! Мне рассказывали, что она может быть чудовищно груба с теми, к кому расположена и испытывает уважение; однако, нужно было где-то провести границу, и так как к тому времени я уже достаточно изучил ее курьезные ауры и прочие шуры-муры, то я решил больше с нею не встречаться.

6.

В тот вечер, что Д. сообщил мне о смерти Цинтии, я вернулся к себе в двухэтажный дом, который я делил, в горизонтальном сечении, с вдовой отставного профессора. Подойдя к крыльцу, я с присущей одиночеству настороженностью взгляделся в неодинаковую темноту в двух рядах окон: темноту отсутствия и темноту сна.

В отношении первой я еще мог кое-что предпринять, но воспроизвести вторую мне не удавалось. Я не чувствовал себя в безопасности в постели: мои нервы только подскакивали на ее пружинах. Я погрузился в сонеты Шекспира и поймал себя на том, что как последний болван проверяю, не образуют ли первые буквы строчек какого-нибудь слова с тайным значе-

нием. Я нашел FATE (рок, в LXX-м), АТОМ (в CXX-м), и дважды TAFT (27-й американский президент, в LXXXVIII-м и CXXXI-м). То и дело я оглядывал комнату, следя за поведением вещей в ней. Странно было сознавать, что если начнут падать бомбы, то я почувствую не более чем возбуждение азартного игрока (и огромное земное облегчение), но что мое сердце разорвется, если какая-нибудь склянка вон на той полке, имеющая такой подозрительно-напряженный вид, сдвинется с места хоть на четверть вершка. Тоже и тишина была подозрительно уплотнившейся, как будто нарочно готовился черный задник для вспышки нервов, которую мог вызвать любой незначительный звук неизвестного происхождения. Уличное движение замерло совершенно. Тщетно я молил, чтобы по Перкинсовой со стоном протащился грузовик. Соседка, жившая надо мной, бывало, доводила меня до изступления гулким топотом, производимым, казалось, чудовишными каменными пятнами (хотя при свете дня она была маленьким, пухленьким, унылого вида существом похожим на мумифицированную морскую свинку), но теперь я благословил бы ее, если б она проплелась в свою уборную. Я потушил свет и несколько раз прочистил горло, чтобы быть причиной хоть какого-нибудь звука. Мысленно я остановил жестом очень отдаленный автомобиль и поехал в нем, но он высадил меня прежде, чем мне удалось задремать. Вдруг какой-то шорох (вызванный, как хотелось мне думать, тем, что выброшенный и скомканный лист бумаги раскрылся, как зловредный, упрямый ночной цветок) донесся из корзины для мусора и затих, и мой ночной столик откликнулся легким шелчком. Было бы очень похоже на Цинтию, если бы она именно теперь начала разыгрывать дешевую мистерию с призраками.

Я решил дать отпор Цинтии. Я сделал мысленный смотр сверхъестественным явлениям и привидениям новейшего времени, начиная с постукиваний 1848-го года в нью-йоркском селъце Гайдсвилль и кончая фарсовыми чудесами в Кэмбридже Массачусеттском. Перед моим умственным взором проходили кости лодыжки и прочие анатомические кастаньеты сестер

Фокс (по описанию мудрецов Университета Буффало); необъяснимо-распространенный тип болезненного юноши из хмурого Эпворта, не то Тедворта, вызывающего те же атмосферические волнения, что и в старом Перу; торжественно-мрачные Викторианские оргии, где розы падают, плывут аккордеоны под звуки музыки священной; профессиональные самозванцы, отрывигающие мокрую марлю; г. Дункан, полный важного достоинства супруг женщины-медиума, который отклонил просьбу подвергнуть себя обыску, сославшись на несвежесть белья; престарелый Альфред Рассель Воллес, простодушный натуралист, отказавшийся поверить, что белая фигура с босыми ногами и непроколотыми мочками ушей, представшая перед ним на одном приватном шабаше в Бостоне, была чопорной мисс Кук, которую он только что видел спящей в углу за занавеской, в черном платье, в доверху зашнурованных ботинках и в серых; двое других естествоиспытателей, малорослых, тщедушных, но более или менее разумных и предприимчивых, руками и ногами облепивших Евпазию, крупную, дородную пожилую бабу, от которой разлило чесноком и которая все-таки умудрилась их обжечь; и посрамленный скептик-фокусник, которому "дух-руководитель", говоривший через прелестную юную Марджери, велел перестать шарить в подкладке халата, а следовать вверх вдоль левого чулка, покуда не достигнет голой ляжки, — на теплой коже которой он ощутил "телепластическую" массу, наощупь необычайно напоминавшую холодную сырую печенку.

7.

Я взывал к плоти, к развращенной плоти, чтобы отринуть и опровергнуть возможность бесплотного существования. Увы, все эти заклинания только усилили мой страх перед призраком Цинтии. Атавистический покой пришел только на разсвете, и когда я забылся, солнце сквозь рыжие гардины проникло в мой сон, который весь как-то был полон Цинтией.

Я был разочарован. Находясь теперь в безопасной крепости бела дня, я сказал себе, что ожидал большего. Она, мастер ясных как стекло подробностей — и вдруг такая расплывчатость! Я лежал в постели, ревизуя свой сон и прислушиваясь к воробьям на дворе: почем знать, если записать гомон этих птиц и потом пустить запись наоборот, не получится ли человеческая речь, не раздадутся ли внятные слова, точно так же как эти слова превратятся в щебет, если их проиграть вспять? Я принялся перечитывать свой сон сзади наперед, по диагонали, снизу вверх и сверху вниз, пытаюсь во что бы то ни стало уловить в нем что-нибудь цинтиеобразное, необычное, какой-нибудь намек, который должен ведь там быть.

Сознание отказывалось соединить ускользающие линии какого-то изжелта-облачного, томительного цвета, иллюзорные, неосязаемые. Тривиальные иносказания, идиотские акростиhi, столоверчение — что, если теопатическая чушь и колдовство обладают таинственной многозначительностью, едва намеченной? Я сосредоточился, и видение истаяло, ложно-лучезарное, аморфное.

Итака, 1951

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА К "СЁСТРАМ ВЕЙН"

Вейн (Vane) по-английски значит "флюгер".

стр. 63: "почтовые извещения" — Студенты разъезжаются на Рождественские каникулы по домам (на месяц), и американские профессора иногда извещают их о выставленных за экзамен или за весь курс баллах по почте. Сивилла сразу после экзамена уезжает в Бостон (оттого шляпка и чемодан).

стр. 64: "преждевременно" — тетради Валевской и Вейн должны были бы лежать в конце столки, так как буква "В" двадцать вторая в английской азбуке.

стр. 64: "D с минусом" — чтобы понять этот каламбур, надо знать, что в Америке применяется литерная пятибальная система, при которой первые четыре

балла, А, В, С, и D обозначают убывающую степень удовлетворительности, а "F" означает провал (по первой букве слова *failure*). "D с минусом", таким образом, соответствует скорее тройке с минусом, то есть самому низкому *зачетному* баллу.

стр. 69: "Джемсовские околичности" — должно быть, Вильям Джемс (William James, 1842-1910), знаменитый американский психолог (которого, между прочим, Набоков любил с детства и с сыном которого был дружен в Америке).

стр. 70: "Hither" значит "сюда" по-английски.

стр. 70: "изъян — зияние" — в оригинале "flaw" — "flower"; ср. вторую строку четверостишия из пятой главы.

стр. 70: "бессмертная поэма... мнимый сон" — в первом случае имеется в виду поэма Кольриджа "Кубла-Хан" (см. особенно предисловие); во втором, *Finnegans Wake* Джойса. Одно время Набоков хотел назвать свой второй английский роман *Bend Sinister* (Под знаком незаконнорожденных, 1947) — *Человек из Порлока*.

стр. 71: "плагиатизм" (plagiatisme, по-французски) — дело в том, что в книге Оскара Вайльда *Портрет Дориана Грея* имеется Сивилла Вейн.

стр. 71: Фредерик Майерс (Myers) — английский философский писатель (1843-1901), окончивший, между прочим, тот же колледж Кембриджского университета (Троицын), что и Набоков. Он был одним из основателей — и непременно членом до самой своей смерти — Общества для изучения психических явлений, интересовался погусторонним, и написал несколько книг по этому предмету: *Фантазмы бытия* (*Phantasms of Living*), *Наука и загробная жизнь* (*Science and a Future Life*), и *Личность человека и её жизнь после физической смерти* (*Human Personality and Its Survival of Bodily Death*). Кроме того, Майерс дважды издал сборник своих стихотворений.

стр. 77: Вот дословный перевод последнего пассажа:

Сознание не многое могло различить. Всё казалось размытым, изжелта-мутным, не было ничего осязаемого. Ее безтолковые акростики, жеманная уклончивость, ее теопатии — каждое воспоминание образовывало зыбь таинственного смысла. Всё казалось желтовато-размытым, обманчивым, потерянным.

ПОСЛЕСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

Английские подлинники первых четырех рассказов были напечатаны между 1943-м и 48-м годом в *Нью-Йоркере* и в Бостонском *Атлантике*, а потом они вошли в *Набокову дюжину* (1958). Что до "Сестёр Вейн" (1951), то *Нью-Йоркер* их печатать отказался вследствие чувства странного и скорее неприятного недоумения, которое этот рассказ вызвал у редакторов. К одному из них, Катарине Вайт, с которой Набоков был в дружеских отношениях, он написал по этому поводу длинное и поразительно откровенное письмо, где указывает тайные тропы рассказа, его скрытую этику и мистику, которые, по его словам, свойственны всем его новым произведениям, в частности предыдущим "Условным знакам". С *Нью-Йоркером*, тем не менее, ничего не вышло, и "Сёстры Вейн" появились в печати только в 1959-м году, а спустя много лет были включены в сборник *Истребление тиранов* (1975).

Такова краткая библиографическая история этих рассказов. По-английски Набоков написал ещё четыре: *Ассистент режиссера* (1943), *Жанровая сцена, год 1945-й* (*Conversation Piece, 1945*), *Ланс* (1952), и *Сцены из жизни Сиамских уродцев* (1950, начало брошенного романа).

Все девять рассказов я перевел на русский язык в продолжение второй половины восьмидесятых годов, и по заведенному ещё во времена работы над *Плиным* обычаю, Вера Набокова, вдова писателя, читала и поправляла эти переводы. Её русский язык, слух, и вкус были безупречны, и я очень дорожил ее мнением и советами, избавившими мою работу от множества несуразиц и прямых ошибок. Но ей было далеко за восемьдесят, её одолевала физическая немощь, наши сидения вместе раз от разу сокращались, темпы работы всё замедлялись, и к весне 1991-го года, когда она скончалась, мы успели приготовить к печати, да и то несколько наспех, только три рассказа: "Алеппо", "Забытого поэта", и "Условные знаки", и они были отданы мной, по её предложению и по стечению обстоятельств, в межконтинентальный журнал *Стрелец*.

Со смертью г-жи Набоковой, по разным причинам частного и технического свойства пришлось отложить мысль издать по-русски все рассказы отдельную книгой, хотя и сын Набокова, и я несколько раз

возвращались к этой мысли. Важная причина, по которой мне хотелось осуществить эту затею была та, что за последние пять лет количество дурных самодельных переложений Набокова, в том числе его рассказов, появившихся на территории бывшей России, выросло неизмеримо. Здесь не место распространяться об этом проливном дожде кустарной контрабанды, тем более что в начале, когда ещё только накрапывало, мне уже случалось писать об этом бедствии в американских журналах.

Предлагаемые здесь читателю переводы, как, впрочем, и изданный мною в 1983-м году русский *Пнин*, далеко не свободны от разнообразных недостатков языка и слога, и может быть даже ошибок в толковании оригинала; надеюсь, впрочем, что последних очень немного. Всё это замечаешь, когда случается в очередной раз, по прошествии времени, пересматривать свою работу. Вот и теперь я обнаружил множество мест, требовавших переделки, и эта неустойчивость, и, так сказать, скорая порча текста, внушают мне тревогу частного характера. Но у переводов этих есть два взаимозависимых преимущества перед другими: они были пересмотрены и большей частью отредактированы людьми, не только прекрасно владевшими обоими языками, но и особенно хорошо знавшими язык Набокова. И затем этот перевод максимально *дословный*, и, стало быть, сознательно избегающий вольностей, а в тех редких случаях, когда вольность, или вернее замена, неизбежна и оттого даже желательна, пользующийся привилегией специально полученного в каждом таком случае *imprimatur'a*.

"Алеппо", "Забытый поэт", и "Условные знаки" были тщательно пересмотрены для настоящей публикации. Название первого рассказа взято Набоковым из финала *Отелло*. По любопытному, хотя и весьма спорному предположению профессора Долинина, ревнивый и безымянный повествователь убил свою бледно-расплывчатую, пышноволосяную жену и стоит (это-то бесспорно) на пороге самоубийства. Стихотворения "забытого поэта" в "подлиннике" не имеют ни размера, ни рифмы, потому что предполагается, что они суть английские "переводы" русских стихотворений Перова! Им нужно было придать форму, естественную для стихов русского поэта половины девятнадцатого века. Английское название "Условных знаков", *Signs and Symbols*, имеет помимо отдельного значения обоих слов и устойчивое

совместное — так называется перечень обозначений в углу географической карты. Приблизительно то же можно сказать о названии "Быль и убыль" (см. примечание к нему). Этот рассказ, как и "Сёстры Вейн", появляется по-русски впервые, и хотя Дмитрий Набоков разрешил печатать эти переводы, я один отвечаю за их художественную честность и пороки.

Необходимо наконец сказать несколько слов о "Сёстрах Вейн", самом трудном из всех рассказов Набокова, оттого что последний абзац его представляет собою *акростих* — ключ к совершенно иному плану рассказа. Такую штуку, писал Набоков в предуведомлении к одному из изданий, можно позволить себе раз в тысячу лет. Но перевести "такую штуку" конечно ещё много трудней чем сочинить, потому что абсолютно невозможно передать дословно как бы двухмерный текст, где кроме протяженности есть глубина, где кода есть одновременно и код, где на воротах висит наборный замок, причем единственная комбинация отпирающих его цифр должна ещё и образовывать гармонически-возрастающий ряд. Однако можно воспроизвести и функцию, и до некоторой степени механизм заключительного акростиха, прибегнув к разным ухищрениям и вспомогательным построениям. Так на театре теней силуэт двуглавого орла, образованный проекцией его чучела на натянутой холстине, может быть несовершенно, но узнаваемо воспроизведен посредством особенным образом переплетенных пальцев обеих рук.

Я бился над финалом "Сестёр Вейн" в продолжение довольно долгого времени и, собственно, взялся за перевод самого рассказа только после того, как один из вариантов (позднее отвергнутых) показался мне удовлетворительным соглашением между тремя враждующими сторонами: шифрованным посланием, требованием известной близости к подлиннику по содержанию и *тону*, и необходимым здесь условием непринужденного слога (тут нужна апатия Атланта). Что до первого, то мой акростих представляет собою буквальный перевод английского шифра. В лексическом отношении мой вариант текста заключительного пассажа совпадает с подлинником более чем на треть, что при описанных стеснениях может показаться даже удачей. О прочем не мне судить.

В самом первом номере *Нового Журнала*, затеянного Михаилом Цетлиным и Марком Алдановым, другом Набокова, он поместил

"Ultima Thule", первую главу самого последнего своего русского романа, так и не дописанного. Много позже, в 1957-и году, он напечатал здесь же "Заметки переводчика" — о своей работе над *Онегиным*, которая тогда была в разгаре. То обстоятельство, что в том же журнале, двести ли полтора ста номеров спустя, появляются теперь русские переводы его рассказов, многие из которых были написаны около времени той первой публикации, сообщает этой цепочке фактов довольно стройную тематическую замкнутость того именно композиционного рода, которому следуют едва ли не все сочинения Набокова.

*Геннадий Барабтарло,
20-го мая 1996-го года
Колумбия (Миссури)*

Василий Яновский

ЕРЕСЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Часть вторая

Я вижу некий свет...

А. Пушкин

Двуколка, влекомая старым, но с признаками хорошей породы мерином, шагом передвигалась по сухой, часто осыпающейся почве; все пространство кругом, однообразно поднимаясь и опускаясь, без признаков дороги, было покрыто серо-голубоватою пылью и усеяно глубокими трещинами. В повозке сидел молодой человек, весь серый, точно покрытый пеплом; он, вероятно, уже несколько дней не брился и на худых щеках его пробивалась редкая монашеская растительность, что очень шло к его мужественной внешности. Рядом с ним, поминутно ерзая и поворачиваясь из стороны в сторону, примостилась стройная, худощавая девушка. Несмотря на тусклый бурнус и облака пыли, она казалась чрезвычайно светлой, даже сияющей.

Возница, несмотря на зной, в овчинном жилете поверх рубахи, укутанный в башлык, с невозмутимым и сосредоточенным мужицким лицом, брел рядом с потной лошадью, изредка поправляя сбрую или беря ее под уздцы; арба медленно переваливалась по неровной, засохшей, волнообразно разбе-

гающей, голой земле. Дорогу часто преграждали извилистые трещины. Узкую щель колеса довольно легко пересекали, причем мерин очень ловко перебирал тонкими ногами, стараясь не попасть в коварный провал. Но иногда скважина достигала таких размеров, что полагалось сворачивать и пробираться в обход. Рвы эти, извилистые и повторяющиеся, делили бугры и косогоры на почти равные квадраты, так что повсюду, куда только хватал глаз, словно простиралась одна бесконечная, усыпанная пеплом шахматная доска.

В особо опасных местах возница почти обнимал мерина за длинную шею, и они оба дружно плелись, не разговаривая только роняя какие-то гортанные звуки; лошадка, по-видимому, понимала кучера с полуслова; вдобавок она часто поворачивала назад свою умную старческую голову, точно ободряя ездовых. Впрочем, иногда конь замирал на манер изваяния: только уши его нервно и многозначительно прыдали. И действительно, можно было отчаяться: вся неровная плоскость земли впереди казалась испещренной косо наложенными друг на друга системами желобов... (Словно две или три прозрачные шахматные доски были кем-то неряшливо сбиты вместе.)

Борозды эти, туземцам знакомые и понятные, не имели, однако, бесспорного академического объяснения; во всяком случае жители селения (в долине), больше всего страдавшие от неслыханных скважин, не догадывались о причине этого явления природы. Утверждали, что почва (при жаре) неравномерно отдает влагу и сразу затем начинает оползать или ломаться. Как бы там ни было, у нового препятствия возница брал мерина под уздцы и, не вдаваясь в научные споры, вел его в обход опасного провала. При таком способе путешествия нечего удивляться, что дорога, которую обычно можно было проделать в 10 часов, здесь требовала нескольких дней. (Ибо в темноте плутать по таким местам отнюдь не рекомендовалось.)

На одном из спусков, где сухой, изуродованный кустарник отбрасывал бледную тень, лошадка вдруг остановилась, и возница начал распрягать. Там, между жесткими лозами, журчал источник: струя воды, тоненькая, прозрачная и холодная, очевидно, вырывалась наружу из больших глубин.

Бородатый мужик споро, не торопясь, достал торбу с овсом и подвесил ее лошади; затем так же медлительно и ловко развел огонек из сухих лоз и корней: вместе с дымом почти сразу запахло ароматным восточным кофе. На бесцветном толстом полотенце вдруг появились лепешки, яйца, ветчина и плетеная бутылка внушительных размеров.

А пейзаж вокруг несколько походил на лунный. Сухой кустарник звенел точно каменный: только тени прутьев двигались еще как живые. Повсюду голубоватая и тончайшая пыль: сквозь нее солнце мерцало — не совсем круглой формы и неожиданной (коричневый с лиловым) раскраски. Ни птиц, ни насекомых, ни трав: только твердая, мертвая земля вся в шрамах. А там дальше, далеко, серые базальтовые горы и еще над ними, выше, хмурые, пузатые облака.

— Забавно, — сказал молодой человек. — Забавно, а как тут зимою пробираются?

Девушка развела руками и засмеялась.

— Филолай, — обратилась она к вознице, — вот профессор интересуется, как здесь зимой проезжают?

Но Филолай шептался с костром и только неодобрительно покачал бородой.

— Мне, пожалуйста, кофе, — продолжала девушка. — Я есть не буду! — она не засмеялась на этот раз, но впечатление осталось той же радости, лившейся через край.

Стройная, высокая и в то же время хрупкая. В ее нежном, светлом лице не было, пожалуй, ничего особенного, примечательного, кроме этого сияния счастья, бывшего изнутри, сквозь сияющую кожу и смеющиеся глаза (заражая чувством беспричинной радости даже посторонних). И Филолай протянул ей чашку кофе с ароматным облаком, пробуя тоже улыбнуться.

— Спасибо. И сливовицы глоток, — все, что она говорила, как будто служило только поводом для нового потока неожиданного, богоданного ликования. — А вы, Мастер, хотите есть?

— Как звать-то жениха? — опять неумело осклабившись, осведомился Филолай, точно это было непременно условием совместной трапезы.

Девушка в ответ поглядела своими песочно-золотистыми (цвета африканских львов), смеющимися глазами: они чуть-чуть косили, отчего создавалось впечатление несколько болезненное, нечеловеческое (точно взгляд лани, ангела или, еще лучше, жителя древней Атлантиды).

— Мастер Касьян, мы вас ждем с завтраком, — возвестила она.

— Мастер Касьян, — торжественно повторил возница и с достоинством кивнул головою. — Это нам понятно.

Гость принял еду и стакан. Его тяжелая голова с заметным (крупным) носом клонилась несколько вперед, отчего казалось, что он глядит исподлобья. Отпив, Мастер Касьян сказал:

— Вообще, надо полагать, народ только благодаря водке и наливке собственного производства смог преодолеть все ледниковые периоды и тридцатилетние войны.

Филолай поощрительно крикнул и отпил из стакана.

— А как зимой здесь, в смысле транспорта? — спросил горожанин и после паузы уточнил: — Легче или труднее?

Девушка опять развела руками, улыбаясь; Филолай неторопливо проглотил кусок козьего сыра и объяснил, что по снегу иной раз совсем не пройти... Мороз, ветер, гололедица да те же скважины. Лошадь не протащит ни телеги, ни саней, один только ослик пробирается. Бывает, что почтальона откопают только весной, а ослик один с вьюками бредет дальше.

— Наша метель особенная, — темное лицо Филолая на минутку прояснилось. — Тут на Рождество услышишь раскаты грома и град падает. Молнии сверкают, а иной раз и радуга полнеба обхватит. Снег и радуга, а на снегу, поодаль, как бы вторая радуга, побледнее, — он снисходительно кивнул серой головой и потянулся к еде, считая разговор законченным.

Но Мастер опять полюбопытствовал:

— А весной и осенью?

— А весной и осенью, — обиженно возразил возница, держа в руке ветчину с лепешкою, — весной и осенью тут дороги нет. Жирное месиво по брюхо скотине. Никто не пройдет, — он свысока поглядел на горожанина. — Да что рассуждать: вот Зора знает, она здешняя.

— Да и профессор не чужой, — поспешно ввернула девушка. — Его мать здесь жила.

— У Епископа? — осторожно заметил Филолай. — У него многие гостили: придут, посидят и уйдут... Хороший человек, — добавил он равнодушно, — остроумный. Всегда на два года вперед видит.

— Еще кофе можно? — перебила девушка. Но Мастер Касьян продолжал расспросы:

— Как у вас тут насчет вурдалаков или упырей? Появляются?

— Это ежели кто оборачивается в волка, — пояснила Зора, с одинаковой радостью оглядывая беседующих и небо с янтарным ядром солнца, и пепельную землю, и даже малютку ящерицу, высунувшуюся из-под мягкого камня.

— Это у нас бывает, — нехотя подтвердил Филолай, считая тему разговора малоинтересной; ему не терпелось заняться вплотную ветчиной и сливовицею. Да и коня пора было поить.

Девушка опять, словно сообщая радостную новость, сказала:

— Как странно, здесь превращаются в волков, а есть области, где оборотни только кошки. Своего рода закономерность?

— Опять причины и следствия, — наставительно заметил Касьян; Зора, казалось, залилась смехом: без звука и без улыбки, только своим сияющим, желто-песчаным взглядом.

— Верно, — спохватилась она. — Ужасно трудно преодолеть древние навыки. Надо составить учебник для начинающих.

Филолай спросил снисходительно:

— Кофе прикажете?

— Да, да, Мастер, попробуйте нашего кофе, — подхватила девушка. — Такого нигде не сыщете, — она говорила тихо и быстро, но впечатление создалось, будто радостно захлопала в ладоши.

Филолай налил горожанину и себе по первой чашке, а Зоре вторую: над пыльным кустом запахло благоуханным востоком, оазисом, кейфом.

Гость, смакуя, отхлебнул, перевел дух (дьявольски горячо) и сказал:

— Вообще запах кофе приятнее, чем вкус его. Это, может быть, относится и к другим земным плодам.

— Слышишь, Филолай, — объяснила девушка, — кофе надо нюхать, а не пить.

Возница укоризненно покачал бородою: по местному обычаю он собирался опростать чашек 15-20 (из маленькой кастрюли), но подозревал, что ему помешают... Действительно, Зора вскользь осведомилась:

— Что, отдохнула лошадка?

Филолай откликнулся длинной фразою, ссылаясь на мифического цыгана, который не в меру спешил, и на вспылчивого генерала, попавшего в трясину; но все же он понемногу начал собираться, гремя ведром, посудой и запрягая.

Неожиданное обстоятельство, однако, осложнило дальнейшее продвижение путников. Умный, доброжелательный мерин, напившись воды и вежливо махнув хвостом, налег было на хомут, но вдруг, точно у него оборвалась внутри струна, замер на месте, мелко дрожа мускулами под атласной стянутой кожей. Только что живой и одушевленный, конь теперь, хотя еще держался на ногах, сразу похолодел, увял, пожалуй, уже не дышал. Глаза его, запавшие глубоко под лобную кость, подернулись тусклой пленкою.

— Ты что, ты что, дружок? — грубовато-нежно приговаривал Филолай, растерянно хлопоча: он ослабил подпругу, разнуздал лошадь. Взяв в горсть немного овса, сунул мерину в мягкие губы. Но конь виновато стоял, поникая все ниже и ниже мордою... наконец упал на бок и застыл.

В газетах иногда сообщают о выдающихся общественных деятелях, о звездах экрана, скончавшихся внезапно — садясь в такси на Монмартре или покидая Колизей в Риме. Физиологически именно нечто подобное приключилось теперь с почтенным меринком, хотя в утренней прессе об этом вряд ли упомянут.

Конь лежал, отвернувшись от людей и тележки, всем видом показывая свою полную отрешенность. А бока его между тем начинали явственно пухнуть, безобразно раздуваясь. Филолай еще попробовал капнуть ему в зев сливовицу из плетеной бутылки, потом вылил полведра воды в прозрачное ухо

(пожертвовал самым ценным и дорогим). Но мерин уже не шелохнулся.

— Мертв, — промолвила Зора, машинально определяя это дикое состояние общепринятым и ничего не разъясняющим словом.

Мастеру Касьяну послышались в ее голосе знакомые уже грозные нотки: он быстро обернулся. Девушка сидела на земле: ее высокие согнутые колени почти достигали уровня лица. Припадок, очевидно, был из слабых: ее не трясло, только руки, в кистях, свело судорогою. Лицо, на минуту как бы покрытое пеплом, начало опять светлеть и сиять. Вот она уже превозмогла недуг и, смеясь глазами, поднялась на ноги (Мастер в который раз задал себе вопрос: откуда эта вечная радость, бесперебойно излучаемая ею)...

— Как странно, — подумал он вслух. — Обычно такие припадки начинаются аурой, мгновенным, ярким ощущением невыразимого космического счастья и кончаются упадком сил, меланхолией... А у Зоры наоборот.

— Да? — спросила девушка, сияя.

— Да. Обратимый процесс, — нежно объяснил он. — Точно ваше время вывернуто наизнанку.

Между тем Филолай снял с лошади упряжь, накрыл холстом арбу и перетянул накрест веревкою. Он раздал путникам кое-что из кладки: Зоре котомку с лепешками, Касьяну легкий чемодан... А сам, нагруженный почтой, сливовицей и водою, мерно, цепко зашагал вперед.

Опять потянулись сухие бугры, опоясанные трещинами, точно кольцами гигантского боа-констриктора. Так же беспотически жжет косое солнце (целительное только в малых дозах).

Вдруг несколько безобразных и хищной внешности птиц с огромными, горбатыми, красными клювами низко поплыли в небе. А вскоре, опасливо озираясь, бесшумно пробежала стая собак во главе с наглым короткошерстым кобелем. В это же время на горизонте подготавливались какие-то зловещие перемены... Далеко впереди пепельно-голубая полоса голой земли словно дрогнула и дернулась, поворачивая на ночь: вот она уже почти коснулась буро-оранжевого, катастрофически раздутого шара солнца.

Сразу загудели насекомые и дохнуло прохладой; стоя на задних лапках, засвистал суслик; Филолай равномерно и осторожно ступал, неторопливо обходя препятствия; у особенно опасных щелей он дожидался спутников и помогал девушке перебраться на другую сторону.

Вскоре, однако, стала заметна перемена в повадках Филолая: он зашагал увереннее и быстрее, что-то даже насвистывая. Умело лавируя между оврагами, он вступил в тесное и душное ущелье, похожее на туннель, пробитый в скале. Зора тоже вдруг заспешила, обгоняя проводника.

Они сперва окунулись в голубые сумерки, потом в синий вечер и, наконец, спереди опять забрезжила заря. И сразу пахло деревней, рекой, огородом (дымом и луком). Путники втянулись в подобие широкой, огороженной плетнями улицы и через несколько минут очутились на гигантской, вымощенной красными плитами площади с древним фонтаном в центре. Кругом возвышались чистые, строгие дома, белые с плоскими крышами, вроде балконов: на узких высоких окнах вместо ставней красовались каменные узорчатые решетки. Церковь с восточным куполом; Ратуша — трехэтажный, явно казенного вида дом с часами на башне и с широким, отлогим крыльцом. Несколько магазинов и мастерских; а дальше нарядные сады, уходящая вниз долина, разрезанная на две неравные доли извивающейся в ущелье пенистой рекой.

У лавок еще были выставлены товары: серпы, горшки, ковры, сласти, обувь; из мастерских долетал бойкий грохот молота, кичливый визг пилы, глухой шип паяльных ламп. У длинного двухэтажного (но без окон снизу) постоянного двора собирались туземцы, видимо, озадаченные возвращением Филолая без экипажа. Со стороны казенного здания, стуча сапогами, шествовал стражник в синем мундире со множеством ремней; сняв тяжелую синюю фуражку, он вытирал красный, потный лоб крестьянской ладонью.

Из внутреннего крытого двора и со стороны передней террасы (где трактир) высыпали завсегдатаи, одетые в такие же овечьи жилетки, как Филолай, и внешнею весьма похожие на него: все бородатые, все тяжелые и степенные. Они окружили возницу, расспрашивая про мерина, сочувственно

вздыхая и обмениваясь глубокомысленными техническими соображениями, что, впрочем, не мешало им внимательно разглядывать Зору и, главное, гостя из чуждых стран.

Мужики держали в руках маленькие чашки с кофе, стаканы с прозрачною сливовицей или кружки с местной брагой. За ними, на приличном расстоянии, в дверях и у окон отдельными группами застыли бабы в цветных платках, с младенцами. Детвора постарше с визгом носилась по площади... А там дальше, по радиусу от постоянного двора, осторожно выглядывали из плетней и решеток обособленные стаи собак: казалось, они тоже с любопытством наблюдают за новоприбывшими.

Зора обменивалась радостными приветствиями с бабами; Мастер Касьян прошелся раза два взад и вперед вдоль подъезда, с удовольствием ставя ноги на мягкую, живую почву. Аборигены глазели на него так, точно старались разгадать тайный смысл этих его движений. Вскоре к крыльцу подкатил свежеекрашенный старый американский джип и оттуда (словно из игрушечной коляски) выступил красавец, гигант, седой цыган, парадно и пестро одетый, с набором серебряных и золотых монет, поблескивающих, позвякивающих при каждом шаге. Он сверкнул зубами и серьгой, кланяясь Зоре; та протянула ему маленькую руку, и все кругом одинаково и одобрительно заулыбались.

— Это Маркали, мой дядька и друг, — представила его Зора. — Что дома?

— Слава Богу, — ответил Маркали, посмеиваясь, точно участвуя в театральном представлении. Он легко подхватил чемодан гостя и сумку девушки и прошел к машине, где застыл, впрочем, не снимая шляпы с павлиньим пером.

— Я прогуляюсь пешком, — решил Мастер. — Ведь близко?

— Два километра, — конфиденциально поведал цыган, сверкнув и звякнув медалями. — Вон через мост, за парком.

— Мне лучше поспешить, — сказала Зора, все так же улыбаясь глазами. — Не запаздывайте, профессор, — она усе-лась рядом с монументальным Маркали.

Мужики кругом дружно загоготали; за ними начали

визгливо смеяться бабы, запищали дети и далеко, из потемневших оврагов у реки откликнулись разрозненные собачьи хоры.

II

Чужеземец тихо брел по розовой площади; лавки уже были закрыты. В окнах (наверху) теплились огоньки свеч и керосиновых ламп: мелькали косые, неуклюжие тени (горожанин смотрел туда и думал: там счастье... А из домов за ним подглядывали тоже с завистью).

На церковной паперти застыла, сутулясь на манер серпа, очень высокая черная фигура в рясе и крошечной скуфейке: серебряная, длинная, узкая борода завивалась полулуньем. Из распахнутой еще двери мастерской напротив вылетали искры и слышались энергичные голоса людей, работающих с огнем: там, по-видимому, лудили, паяли разную утварь.

Косяк детишек, то опережая гостя, то (вернувшись огородами) оказываясь опять позади, провожал его до самого моста. Река протекала внизу: судя по плеску и гулу, стремительно (в полумраке она определенно нагоняла страх).

Перейдя пустой длинный и узкий мост, поднявшись вверх по крутой каменистой тропе, Мастер Касьян сразу очутился в деревенских полях, где царила едва вытянувшаяся, сплошная кукуруза. С юга (куда вводила главная дорога) несло запахом тучной земли, ранних цветов, вишен или черешен; к северу, казалось близко, маячили обожженные макушки гор, а дальше, на восток, надо полагать, находилась усадьба Зоры... Там тянулась кедровая роща, незаметно переходившая в старинный парк с запущенными липовыми, каштановыми, дубовыми и сосновыми аллеями. Эти неуклюжие столетние великаны, покрытые толстой корою, напоминали мамонтов, слонов, носорогов и розово-фиолетовых бегемотов.

Свернув на желтеющую тропинку меж дремлющим стадом корявых и остро пахнущих мастодонтов, гость вскоре вышел на большую поляну, откуда уже виден был жилой внушительный освещенный дом... Этот замок оказался белым каменным четырехэтажным растянутым прямоугольником,

строением со множеством маленьких (притаившихся) окон; по бокам раскинулось несколько флигелей и множество темных коренастых построек. За лужайкой с гигантскими клумбами виднелись фруктовые деревья в цвету, затем огороды и опять, должно быть, лес.

Больше всего поражало электрическое освещение: оно производило впечатление сонаты или фуги среди лирических тонов пастушечьей свирели. Белая каменная стена отделяла парк от лужайки; передний (чистый) двор тоже был защищен воротами на запоре. Но массивная дубовая калитка осталась распахнутой. Кругом ни души: гладко, тихо (только цикады трещат). Но Мастеру давно уже чудилось (как в деревне), что за ним следят. Он, не таясь, направился к подъезду с белыми колоннами. Тени, должно быть, собак мелькнули и тотчас же пропали. Движения гостя потеряли свою естественность; напряженно, словно проглотив аршин, он продолжал шагать к крыльцу. Только тут, увидев знакомый свежепокрашенный джип, по величине равный только двум каменным ступеням, Мастер Касьян сообразил, что замок значительно больших размеров, чем это представляешь себе с первого взгляда.

— Сюда, пожалуйста, — услышал он голос, и седой синий цыган-гигант, улыбаясь ангельски (и хищно), выступил навстречу.

На крыльце толпились уже бабы, прысая в кулак и кланяясь. Из нижних окон, дверей и даже скважин высунулись головы, торсы многочисленной челяди: и все почти исключительно девки в красных или зеленых платках. По двору кубарем прокатилась орава детишек и собаки побежали вдоль мясистых клумб. Даже бородатый козел мелькнул у ворот заднего черного хода, на почтительном расстоянии жадно изучая новое лицо.

Гость прошел в голый двухярусный вестибюль, затем в залу, убранную старинными портретами и рыцарскими доспехами. Мраморные изваяния держали по углам массивные канделябры; в исполинском камине полыхал огонь. Но несмотря на все источники света, в гостиной было холодно, сумрачно и сыро.

Горожанина встретил величественный старец, бритый,

гладко причесанный на прямой пробор — с тяжелым, сильным, властным носом. Желтоватый, в профиль он походил на римскую медаль.

— Я, так называемый Епископ, дедушка Зоры, — проговорил он, с улыбкою опытного шармера.

— Ах, Епископ! — Мастер пожал протянутую руку: сухую, горячую, холеную.

— Да, так меня продолжают величать, хотя я давно не епископ, — хозяин опять улыбнулся, уверенный, что гость сочтет это забавным. Но Мастер почтительно слушал и молчал. — Зора с отцом объясняются в чувствах, они сейчас сойдут. А вы, пожалуй, хотели бы умыться с дороги? Вот туда, наверх, еще успеете до обеда.

Молодая баба (поскольку можно было судить), закутанная в белый платок, повела гостя по широкой каменной отлогой лестнице; на площадках дремало множество мраморных гайдуков с чудовищными (незажженными) факелами в атлетических дланях. Редкие электрические лампочки скупно бросали кирпично-желтый свет. С гиканием и свистом им навстречу скатилась стайка детишек во главе с девочкой — смуглой, синеголовой, похожей на змейку. Шалуны преследовали грязно-белого лебедя с подрезанными крыльями, который, обиженно вздыхая, деловито спешил вниз, время от времени оборачиваясь, и грозно-беспомощно шипел. Вся эта процессия мгновенно провалилась куда-то, испугавшись чужого человека.

А Мастер с укутанной, кажется, смеющейся бабою продолжал свое альпийское восхождение по лестнице с просторными овальными площадками, потеряв уже счет мону-ментальным этажам.

— Что у вас здесь, бабье царство? — без особого любопытства осведомился гость, переводя дух на одной из последних площадок (запущенной и уже без ковра).

Девка в ответ только приложила ладонь ко рту в знак того, что ее ужасно рассмешили... Несмотря на все ужимки и приемы старинного этикета, она не производила впечатления дурочки.

В комнате, отведенной гостю, стояла только самая

необходимая мебель, да и то весьма ветхая. Девка показала ему, где расположены удобства: нечто вроде уборной — через залу, в конце коридора. Она тщательно осмотрела постель; заметила отсутствие полотенца, принесла кувшин с водою и кусок восточного мыла. Затем сразу исчезла, тоже словно провалилась сквозь каменные плиты.

Чемодан стоял на табурете; освежившись, Мастер надел светлую рубаху с галстуком, куртку, легкие туфли. Это у него заняло две минуты. Чрез глубокие, маленькие оконца видно было, как внизу (далеко) на заднем дворе передвигались огоньки: то, надо полагать, слуги сновали в амбары, кладовые и погреба по хозяйственным надобностям.

Неожиданно раздался звук гонга: лихой и веселый. Гостю почудилось, что это цыган сзывает народ к обеду. "Почему именно цыган? — возмущенно спросил недовольный собою Мастер. — Опять обычные выводы и ассоциации, причины и следствия".

— Надо порвать с этой рабской привычкой, — внятно шептал гость. — Нет, это не Маркали бьет в железо. Тут в доме еще много людей. Бывает, что самое скромное существо, пугливое и раздавленное, хоть раз в жизни потянет к мажору. И пропустить такое исключительное явление — смертный грех...

Он постоял так несколько мгновений, прислушиваясь к своим мыслям, проверяя их. Потом двинулся на зов, смутно придерживаясь направления, которое ему почему-то казалось правильным. И разумеется, заблудился, плутая по коридорам и не находя большой лестницы вниз.

По всем признакам остов замка существовал уже в таком виде много столетий. Мох покрывал толстые стены (и не только снаружи), узкие амбразуры носили следы средневековых ран, впрочем, кое-где были заметны язвы позднейших времен, вроде кратеров шрапнели и пулеметных очередей.

По кривой деревянной (пристроенной) лесенке Мастер Касьян спустился в двухярусную залу со множеством темно-раскрашенных витражей. Там, перед сурового письма иконою (освещенной лампадою), на изразцовом цветном полу лежала в земном поклоне крупная, укутанная в бурю шаль женщина.

Она порывисто поднялась на ноги, сразу почувствовав присутствие постороннего; сдержанно-страстно вскинув руками, она издала несколько свирепых, невразумительных звуков. Бурый платок сбился с головы, и теперь было видно, что она совершенно седа, а глаза все еще сверкают молодым (или ненормальным), по-звериному непокорным блеском. В одном нельзя было усомниться: ее возмущало вторжение чужого человека, и она не скрывала этого.

Гость поспешно отступил назад, стараясь только как можно скорее и подальше убежать от птичьих возгласов разъяренной мегеры.

Когда он искал дорогу назад и выбирал, он только терял ее и отклонялся, но вот он бросился вперед, не разбирая пути, и знакомая площадка с каменным гигантом сразу мелькнула впереди... Величественная лестница, точно река, стремящаяся через пороги, быстро понесла его вниз: на последних, длиннейших этажах лежала бесконечная азиатская дорожка, впрочем, истрепанная по краям. Навстречу попадались уже бабы и кошки. Но Мастер, не спрашивая ни о чем, уверенно бежал, прыгая через две ступени зараз: больше двух — не удавалось! Он без труда пробрался в гостиную, а оттуда в соседнюю столовую.

Длиннейший и оттого чрезвычайно узкий голый дубовый стол был богато сервирован фарфором, хрусталем и серебром; он весь тускловато поблескивал, искрился при желтоватом блеске двух люстр. Электричество и свечи горели в центре над столом; остальные части залы тонули в сумраке, оттуда то и дело поспешно выскакивали бабы и девки с мисками или бутылками, затем снова проваливались в туман, в небытие.

Зора его уже дожидалась; она взяла Мастера за руку и подвела к отцу, который, однако, не проявил по этому поводу особой радости. Только взглянул исподлобья и оскалил зубы, отчего стал похож на матерого, не совсем сытого волка.

— Вот это Мастер Касьян, профессор и мой друг, пожалуйста, полюби его, Феликс! — сказала девушка, называя отца Феликсом.

— Весьма, — отозвался тот. — Рад университетской молодежи.

— Мастер Каз Ян? — вежливо переспросил Епископ. — Я знал Каз Янов в Константинополе.

— Нет, не Каз Ян, а Касьян, — объяснил Мастер. — Мать назвала меня по имени местного святого.

— Ах так, — не без сожаления заметил Епископ. — Что ж, Касьян — это великий подвижник...

Он собирался еще продолжать, но вмешался Феликс:

— Говорят, вы основали новую церковь?

— Нет, — осторожно ответил гость, — Зора преувеличивает. Речь идет только о мирозерцании... Современные вопросы требуют нового подхода.

Взгляды обоих мужчин скрестились; гость как бы добавил: "Вы можете меня не любить, но вести себя вы должны прилично". Феликс в такт откликался: "Вы, вероятно, очень умный человек, но мне на это наплевать". Как ни странно, оба они (разного возраста) в эту минуту напоминали одной породы хищников.

Через распахнутые гигантские двери в комнату вихрем ворвалась женщина, в которой Мастер узнал монументальную ведьму, только что прогнавшую его из домашней церкви. С гривой седых волос, судорожно-страстная, волоокая, чернобровая, она все еще производила впечатление красавицы; только постепенно, при слабом освещении, гостю открылась грустная правда, что это — глухонемая, быть может, даже сумасшедшая старуха.

— Суп, суп, — возвестила Зора, повторяя выразительные жесты этой властной бабы (по-видимому, ключницы).

Но в столовую вошло еще одно лицо, так что все опять отвернулись от стола, где уже необычайно аппетитно и как-то могуче валил пар из лохани.

— А я совсем забыл про Чако, — заметил Феликс, впрочем, приветливо. — Знакомьтесь.

Неестественно стройный (как бы в корсете) юноша, одетый в штатское, но явно требующий (всеми замашками) гвардейского мундира, лицо страстно-бледное, с тоненькими усиками, мрачное, напоминало автопортрет Лермонтова.

— Чако, вы знаете, мой кузен, — радостно сообщила Зора.

Наконец все уселись, даже глухонемая экономка — с края

стола, однако. Она почти не притрагивалась к пище, дирижируя прислугой, как оркестром. Некоторые ее жесты были понятны непосвященному, другие же отгадывались только домашними, особенно бабами, девками. Одетые одинаково, в платках или шالях, с глазами соблазненных монахинь, они метались беспорядочно между кухней, буфетной, винным погребом и столовой. При таком обилии челяди можно было ожидать некоторого разделения труда, но здесь до этого еще не додумались. Одна подавала бутылку вина, другая тащила бутыл с вином, третья раскупоривала бутылку токайского или сливовицы; первая несла жареную птицу, вторая шагала с жареной птицей, третья бежала с печеной птицей... Внося в это занятие какое-то наивно-стихийное начало.

Феликс (как все звали отца Зоры) неотчетливо по-латыни благословил еду, и обедающие принялись за жирный суп с грибами. Отхлебнув с ложки, гость сразу выпучил глаза и опорожнил стакан вина, не дожидаясь приглашения. Расплавленную наваристую массу похлебки можно было глотать только с большими предосторожностями. Все кругом это знали и, не торопясь, пережевывая хлеб, беседовали.

— Вы профессор? — спросил Феликс.

Мастер Касьян поморщился; Зора, сидевшая напротив, взмолилась:

— Дай поесть, отец.

Феликс нехотя отвернулся к Чако и небрежно предложил:

— Выпьем, гусар, настоящей!

— Мы тоже отведаем, — поддержал Епископ.

Бабы, улыбаясь, как идола, из-за спины принялись разливать в рюмки прозрачную жидкость.

— Это наша кормилица, — объяснил Епископ. — Бывало, ее выписывали отсюда к императорскому столу в Вену.

— И в Константинополь, — восхищенно добавила Зора.

— Да, и в Константинополь, — подтвердил Епископ. — От патриарха сливовица попадала даже к султану.

— Нужна привычка, чтобы оценить напиток по достоинству, — несколько напыщенно отозвался гость. — Как Толстой сказал об одной замечательной сонате: "это мне ничего не напоминает"... и забраковал ее.

— Нет, надо просто выпить целую бутылку: на следующее утро любому птенцу станет ясно, чем хороша эта сливовица, — резко вмешался Феликс.

Чакó вдруг засмеялся; на него посмотрели с удивлением, но он ничего не сказал. Глухонемая подняла рюмку и с выразительным жестом вылила себе содержимое в рот: впечатление создалось — прямо в желудок.

— Странно, — сказал Мастер, — когда у нас подавали сливовицу, мать именно так ее пила: сразу, вверх дном!

Его не слушали; все поспешно принялись за суп, как того требовала знатная сливовица. Только глухая кастелянша, старая, с молодой высокой грудью и страстными (жгучими) глазами смотрела на гостя, напряженно улыбаясь.

Ели жители замка раскаленную массу, называемую супом, быстро и с удовольствием, что напоминало фокус. Даже Зора ухитрилась глотать эту лаву (правда, крошечными порциями). Гость дул, отпивал из стакана, снова дул, но мог с относительной безопасностью только облизывать ложку.

— Сразу видно, что вы чужой, — опять сказал Феликс.

— Ею мать жила здесь, — радостно возразила Зора.

— Вот как, — недовольно осведомился Феликс, — из чьих же она?

Епископ тоже настороженно повернул свою большую хищную голову.

— Не знаю, — тихо объяснил Касьян. — Она бежала от русского царя и перебивалась здесь вплоть до революции...

Бабы, всей гурьбой, уносили суповую миску и меняли тарелки (очевидно, по знаку глухонемой). Гостя это даже обрадовало, хотя он не успел разделаться со своей долей похлебки. На столе уже возвышалось мясное блюдо: нечто вроде пилава с обильным соусом... (запахло бараниной). Подали особую бутылку вина: Епископ ее повертел в руках и утвердительно кивнул головой.

— Это вино еще австро-венгерского разлива, — сказал он, обращаясь к Мастеру и вежливо, даже изысканно чокаясь. — Интересно, — продолжал он тем же тоном, — как нынче университетская молодежь относится к религии?

Теперь он производил впечатление доброго старого вель-

можи, празднующего возвращение любимой внучки в родной дом.

— Это и очень сложно, и очень просто, — со вздохом разъяснил Касьян. — Боюсь, что Зора представила вам все это чересчур увлекательно.

— А как же иначе? — строго (и в то же время восторженно) откликнулась девушка.

— Да, пожалуй, — согласился гость. — Но мы не занимаемся специально церковью или религией...

— А чем вы занимаетесь? — резко, как всегда, вмешался в разговор Феликс.

Мастер не торопясь продолжал:

— Мы занимаемся реальностью. Реальность мира видимого и невидимого, макро- и микроскопического. Изучая эту реальность, мы заметили, что новые данные так называемых точных наук часто совпадают с канонами древней теологии и даже с откровением св. Иоанна.

— Совершенно ясно, — подхватила Зора. — А между тем обыватели продолжают поклоняться идолам восемнадцатого и девятнадцатого веков! — она, казалось, ликовала именно по этому поводу.

Чако, матово-бледный и грустный, с удивлением (и почти с ужасом) смотрел на нее, не мигая. У него были темные, блестящие глаза с длинными бархатными ресницами.

— С этим пора покончить, — решил гость.

— Вот об этом я и спрашиваю, — простодушно объяснил Епископ, обсасывая алыми губами баранью кость. — Интересно было бы узнать, как современная физика относится к Символу Веры?.. Это едят с паприкой, — прервал он речь, пододвигая гостю пышное блюдо.

— Спасибо, я заметил на столе хрен.

— Хрен у нас исключительный, — одобрил Епископ. — Однако, позвольте продолжать... В свое время я отказался от сана, соблазненный достижениями научной мысли. А теперь оказывается, что это все можно очень легко примирить. Получается, что я в некотором роде жертва недоразумения?

— Да, не вы один, — без особой поспешности поддакнул Мастер. — Впрочем, надеюсь, что вы отказались от сана еще по другим причинам и не очень жалеете об этом.

Впервые за весь обед Епископ поглядел на гостя без условной светской улыбки и серьезно промолвил:

— Я, в общем, доволен своей жизнью. По крайней мере, был доволен до приезда внучки. — Он опять начал играть острыми морщинами лица. — Однако, расскажите, в чем заключается связь между электричеством и откровением святого Иоанна, кроме того, разумеется, что обе эти области вызывают у нас в детстве страх.

В полумраке девки и бабы убирали грязную посуду и приносили дымящиеся овощи, подчиняясь вдохновенным взмахам руки глухонемой.

— Реальность в современном мире открывается нам в сложном виде, — неохотно объяснял Касьян. — Реальность реальна и нереальна и еще что-то третье. Такое сознание, несмотря на всю сумбурность, все-таки приближает нас к действительности. Материя — и частица и волна, и не частица и не волна, и еще нечто третье. Это установленный факт, который, однако, еще не усвоен нами до конца! — он отведал душистое янтарное вино; оно показалось ему особенно сухим и ценным, потому что Зора в это время тоже пригубила свой бокал. Девушка сидела с противоположной стороны, молча сияя тонким (отнюдь не примечательным), нежным лицом. Но в мире не было прекраснее и значительнее существа, по крайней мере, для него. Эта победоносная радость, излучаемая ею (кожей, кровью, душою и мыслью), была несомненной реальностью, свидетельствовавшей о внутреннем и последнем благополучии вселенной (но об этом нельзя было теперь говорить).

— И волна и частица, и не волна и не частица, и еще нечто третье, — задумчиво повторил Епископ. — Это напоминает Святую Троицу: нераздельную и неслиянную.

— Главное, — возвестила Зора, — здесь опять восстанавливается свобода выбора. На субатомном уровне причинно-следственная связь порвана или вывернута самым капризным образом...

— Постой, — грубо прервал ее отец и, повернувшись к гостю, спросил, — вы профессор физики?

— Нет, я преподаю социологию на высших курсах.

— Социологию? — преувеличенно удивившись, повторил Феликс. — Как же это, позвольте. Чако! — рассчитывая на полное сочувствие того. — Чако, разве социология точная наука? Сколько вам лет? — продолжал он.

— Мне почти тридцать лет. Я, как и вы, родился в ноябре: мы оба Скорпионы.

— Вот видите, — упрямо тянул Феликс, — без роду, без племени, почти тридцать лет и все еще нищий. Одно утешение, что Скорпион.

Зора встала и молча зашагала по бесчисленным цветным плитам рыцарской залы. Ступив в мрак, она, казалось, провалилась сквозь землю: даже шагов ее больше не было слышно. Глухонемая и несколько баб взмыли, словно тяжелые птицы, вслед за нею.

Епископ поднялся со своего парадного стула и, опираясь одной рукою о палку с массивным блестящим набалдашником, не спеша закурил от свечи длинную сигару. Чако провалился на минуту в темную прорву и вскоре появился в центре залы с турецкой трубкой во рту. Только Феликс остался сидеть за столом, играя двумя вилками и ложкою: он силился построить из них треугольную подставку.

Мастер Касьян подошел к глубокому квадратному оконцу, темневшему по-ночному; через двор то и дело пробирался зигзагом огонек фонаря. Кривой серп анемичного новорожденного месяца цеплялся острием за распахнутый веер тополей; еще дальше желтовато мерцала подстриженная лужайка с клумбами и кустами, должно быть, рододендрона. Тут в старину, надо полагать, давали пышные балы; гирлянды цветных фонарей и всплески китайского фейерверка пугали серн в туманных горах. Пили шампанское и соблазняли аристократических дам; за этим концертным роялем в дальнем углу сидел, наверно, Лист (а то и Моцарт).

Вкрадчивый голос Епископа произнес:

— Если я правильно понял, вы из наших мест?

— Собственно, нет. Я родился далеко. Но мать здесь жила одно время, — внятно сообщил Мастер.

— Как ее звали?

— Анна, Аня.

— Анн тут много. А фамилия?

— Она бежала от царской полиции и, должно быть, скрывалась. Я не знаю, под какой фамилией она здесь проживала.

— А отец ваш?

— Он умер. До моего рождения. Анюта вскоре вышла замуж за чиновника в Кольмаре, это был неудачный брак. Потом у меня был еще один отец: русский офицер, белый эмигрант. Собственно, он больше всего для меня сделал, отослал в Париж и помог стать на ноги. Получается, — серьезно закончил гость, — что у меня не было отца и в то же время их было по меньшей мере три...

— У кого мать здесь жила?

— Она служила в богатой усадьбе, может быть, даже у вас в замке, — резкий грохот покрыл голос Мастера: то глухонемая смахнула на пол со стола груды тарелок и стаканов.

— Не знаю, что сегодня происходит с этой бабой, — пожаловался Епископ, — на стенку лезет...

— Я только скажу, — заикаясь, медленно произносил Чако, кусая зубами чубук, — у нас в корпусе вполне одобряли дуэли.

— В сущности, — добродушно улыбаясь, заявил Епископ, молодому человеку после такого путешествия пора отдохнуть.

На шум разбитой посуды в залу посыпались отовсюду бабы и девки: кто собирал осколки, кто считал серебро, кто подтирал пол или расставлял чинно тяжелые стулья.

Одна из служанок, постарше, в красной косынке и со свечью в руке, играя глазами, пригласила Касьяна следовать за нею. Они поднялись по отлогой бесконечной лестнице.

Баба, веселая, жгучая цыганка, оказалась женою удалого геркулеса Маркали: ее и девочку, дочь, звали Катеринами.

Она ловко взбила постель, принесла свежей воды, достала еще полотенце, не переставая болтать и посмеиваться.

— Анютой звали вашу маменьку, — сообщила цыганка. — Глухонемая вас сразу отметила, вы уж берегитесь ее.

— Вот как? Что она, вурдалак? — спросил Мастер: у него была особенная манера разговаривать с простыми людьми. Баба так и прыснула, потом, сверкнув горячими глазами, добавила:

— Она все может, сука.

Потоптавшись еще без цели по комнате, Катерина вдруг, лукаво косясь, осведомилась:

— Мне, что ли, остаться или другую, помоложе, прислать? У нас на этот счет просто.

— Нет, — выдавил из себя чужеземец. — Ничего больше мне сегодня не понадобится.

Баба, точно дожидаясь именно этого ответа, сразу взмыла и пропала в тусклом пустом коридоре, где шагов не слышно было (и крик замирал). Толстые стены не пропускали ни звука, ни света, ни запаха. Глубокие маленькие окна походили на амбразуры. Тюрьма или крепость (и еще нечто третье).

Однако дверь в комнату гостя не запиралась и даже неплотно затворялась, так что Мастер подпер ее дубовым стулом.

III

Солнце играло в углу, проникая через крайнюю бойницу. Но земля вращалась, и минуту спустя в комнате стало темно: окно передвинулось... Вот опять начало проясняться: теперь солнце заглядывало вовнутрь сквозь соседнюю амбразуру.

— Такое устройство заменяет часы и даже календарь, — решил Мастер.

Не торопясь, привел себя в порядок, поскребся перед навеки запыленным ртутным зеркалом (холодная вода калечила бритву). Надев свитер-безрукавку поверх рубашки, он осторожно пробрался в главный коридор. Без труда нашел большую лестницу и титанов на площадках... И вот уже знакомая прихожая, терраса, наконец, крыльцо с мраморными колоннами.

Пройдя никем не замеченный по чистому мощеному (но заросшему сорной травой) двору, где жеманно гулял аист, гость через боковую калитку проник в парк. Днем деревья выглядели проще, понятнее, они старчески поскрипывали и вздыхали. В сторону от аллеи росли цепкие кусты и карликовые березы с уродливыми горбами; попадалось много багульника и особого вида коренастого, похожего на кружево

папоротника. Луг, ведущий к реке, порос ивою и камышом; посвистывала иволга, а в небе захлебывался влюбленный жаворонок.

Поднявшись в гору по крутой каменистой тропе, Касьян вышел на мост: по ту сторону, на розовой площади, раскинулась живописная деревня с лавками и глухими белыми стенами домов. Солнце сверкало на ярких камнях, на стеклах и на металле. А вверх и вниз по долине реки, куда хватало только глаз, покоились миниатюрные, геометрические фигурки полей, нив, огородов, садов... Все это богатство, стиснутое слева и справа фиолетовыми горами и холмами, переливалось на солнце и как бы плыло в сплошном световом потоке.

Эта долина свидетельствовала о постоянном чуде бытия. Из гор, прямо под каменистым кряжем, неожиданно вырывалась довольно объемистая река и, разливаясь, удобряла тысячелетиями несколько сот квадратных километров живой земли. Там расцвел древний поселок с античной площадью (и десяток хуторов — по берегам). Зернистую жирную почву, блестящую словно икра или мак, крестьяне смешивали с илом и разносили подальше на террасы скал, где они возвращали свои дыни и тыквы. Осенью дожди и ручьи все это смывали, и после весеннего паводка мужики опять начинали таскать на кручи (через овраги и пропасти) экзистенциальную грязь. В результате такого упрямого переливания из пустого в порожнее в конце лета, однако, собирали благодатный урожай одуряюще пахнувших овощей, ягод, фруктов, сладкой кукурузы, гречихи, ячменя и тонны особо кислых слив; также сена, овса, проса и другого полезного корма для скота и птиц.

А в сторону от реки сразу (как у Нила) начиналась пустыня с трещинами на манер притаившихся удавов... Дальше голые горы, то твердой, кремнистой породы, то мягкой, базальтовой. На юге река снова всасывалась в темное и узкое ущелье, проваливаясь наконец целиком под скалы: так до самого моря, по-пустому тратя свой животворящий дар.

На площади, у фонтана, дремал ослик и хозяйственно прогуливались грязные голуби, подбирая помет. Церковь с одним (магометанским) куполом сверкала тоненьким золотым крестом. У заезжего двора, несмотря на ранний час, уже на-

блюдалось оживление; из трактира неслись звуки механического фортепьяно. Вокруг двуколки хлопотали аборигены: в своих овчинных жилетках поверх грязных холщовых рубах они грузили ящики и кадки — все миниатюрных размеров. Лошади и ослики выглядывали из заднего двора, должно быть, интересуясь характером клади и кому сегодня везти...

У крыльца Ратуши важно шагал в синем мундире местный стражник; из-под его тяжелой фуражки уже катил обильный пот, и, вытирая рукой красный лоб, он еще издалека крикнул мужикам:

— Почту-то, почту не забудьте, бараны.

У него было вполне безобидное лицо, жесткие усы придавали ему сходство с огромным и милым тараканом.

Мужики отозвались целым потоком мудреных пословиц и неприличных поговорок; где-то за плетнем (или под землею) откликнулись бабы разноголосым и невеселым смехом.

Вывели белую кобылку, тоже с арабскими, случайно разбросанными статями; она недовольно и резко отмахивалась длинным шелковистым хвостом от воображаемых слепней.

Увидев гостя, все оставили скучные занятия: даже кобылка перестала покайнно сечь себя.

— Нельзя ли кофейку? — спросил горожанин, поздоровавшись и ни к кому в частности не обращаясь; ответа не последовало. Тогда он уперся взглядом в гладкого, крупного мужика с выпуклыми глазами и сказал: — Я заплачу.

Представительный туземец с осанистой бородой так и не собрался ответить: он изумленно смотрел чужаку в рот, будто оттуда вылетали не слова, а допотопные птицы. Откликнулся купец, одетый в пиджак, хозяин лавки колониальных товаров и местный староста по прозвищу Сова:

— Это можно. Кофе у нас всегда найдется. А хорошему человеку и платить не надо, — у него были густые пышные брови полукругом, действительно напоминающие совиные.

Мужики сразу присоединились к старосте, повторяя на все лады:

— Это можно. Кофе, то есть. Этого добра у нас хватает. Кофе для милого гостя всегда найдется. Эй, бабы, не слышали, что ли? Профессор кофе просит. Шевели ляжками, баба, —

неслось со всех сторон, и, побросав работу, они дружно уселись на скамьи у крыльца, точно давно дожидаясь именно такого развлечения. Только одна белая кобылка продолжала стоять, тоже, впрочем, гостеприимно кивая вытянутой нежной головою.

Бабы, девки, крупные, но стройные, укутанные в свои разноцветные платки, уже грузно передвигались, неся каждая по чашечке кофе. Сразу запахло востоком, теплыми морями, пальмами, досугом.

— Черное, горячее и ароматное, — крикнув, заявил человек с твердым, большим красным носом, которого (весьма кстати) звали Пеликан-Эфенди.

Благоуханное, жгуче-черное (как зрачок глаза) кофе извергало заманчивое облачко, но притронуться к нему губами не было возможности — так ухитрились его вскипятить. Гость попросил сахару (молоко, он знал, подадут козье).

— Что ж сахару! Сахару вполне можно, — соглашались бородатые туземцы, — от сахару кофе не портится, только вкус плошает, — уверяли они, подставляя чашки для новой порции. Глотки, пищеводы и желудки у этих людей, по-видимому, были луженые и ухитрились поглощать расплавленный чугун.

— Что, нравится кофе? Бывает лучше? — осведомлялись они самонадеянно. — Кофе и сливовица у нас первый сорт: не хуже, чем в замке.

— У Епископа только бабы лучше, — заявил Филолай, пренебрежительно сплевывая: он был в чистой рубахе, курил трубку и, по всем признакам, сегодня отдыхал.

Мужики походили друг на друга, и не столько внешностью или одеждою, как общей манерой, интонацией, усмешкою и, главное, непоколебимой медлительностью.

Только местные аристократы носили пиджаки: купцы и фабриканты (или ремесленники). Кроме Кантемира, владельца трактира (брата Филолая) и старосты Совы, за столом уже сидели почти все местные кулаки: Пеликан-Эфенди, хозяин каменоломни, поставлявший за границу особого рода цветной мрамор (он же земский контролер) и жестянщик, или лудильщик, Иован, изготавливавший те самые кастрюли и чайники, в которых можно плавить даже металлы. Все курили,

отпивали из рюмок сливовицу и поддерживали светский разговор. Сливовица появилась как-то невзначай, и стражник, сняв ремень с палашом, уселся за стол у крыльца, надо полагать, надолго, потому что приказал мальчугану запереть дверь канцелярии и принести ключ (стайки собак то и дело выползали из оврагов и чинно пересекали яркую площадь).

Лаконичные (но повторяющиеся) речи аборигенов изобиловали пословицами и простонародными оборотами; они становились вполне понятными только в целом, в конце, на подобие музыкальных вариаций.

Путаницу вносили еще имена беседовавших. Обнаружилось, что большинство мужиков здесь зовут Иоакимами. Только люди поважнее (побогаче) удостоивались собственного имени. Народ же попроще почти поголовно откликался на Иоакима. Впрочем, мужики постарше, посерьезнее, имели еще кличку, вроде: Серый, Турок, Табак или Дранный. Это даже облегчало жизнь на первых порах: можно было окликнуть чужого человека, назвав его Иоакимом, и в трех случаях из четырех отгадать верно.

Молодежи в селе не было видно. Женщины — в платках и в бурых, плотных платьях — держались на задворках отдельными косяками или хорами; а юноши, все без исключения, отправлялись далеко в города или за море — пытаться судьбу! Как общее правило, раз вырвавшись отсюда, они уже не возвращались назад и писем не строчили и подарков не слали. Редко, кружным путем доходила весть, что сын Иоакима (Табак) разбогател на чужбине. Но верно ли это, никто подлинно не знал и не старался разведать, по обоюдному молчаливому согласию.

Детишки бегали озорными шайками, уступая дорогу только стаям полудиких собак: не всегда можно было сообразить, какого пола ребенок и чей он. Но бабы легко распознавали этих загорелых дикарей и по вечерам разбирали их по принадлежности. Женщин здесь звали преимущественно Аннами, и одна из них тут же перемахнула через плетень, поймала своего отпрыска и наградила увесистой оплеухой. Впрочем, отцы и деды, казалось, не замечали разницы между детишками и относились ко всем с одинаковым равнодушием.

Мужики, пожалуй, в десятый раз уже наполняли свои чашки, обмениваясь мудрыми соображениями.

— Цикады рано начали заливаться в этом году, — заметил один.

— Слива будет важная, — решал другой.

— Что и говорить.

— К урожаю.

— Епископ он тебе задаст урожай, — опять говорил первый, и все соглашались:

— Он покажет.

— Епископ, то есть.

— Как там в городе насчет свободы? — любопытствовал Иоаким Турок.

Охотно оставив чашку с расплавленным чугуном, Мастер начал объяснять им о новых возможностях свободы человека, упомянув даже про обратимость всех процессов и несостоятельность 2-го закона термодинамики. Но крестьян не это занимало. Свободу они мыслили как исключительное право распоряжаться своим трудом и доходом... Замок здесь и чиновники в городе одинаково мешали их благополучию. Теории никого не увлекали, хотя мужики слушали гостя вежливо и не слишком подчеркивали свое интеллектуальное превосходство.

— Насчет вашей свободы нынче придумали конкретный план, — сообщил наконец Касьян, отчаявшись их заинтересовать другим способом.

И объяснил невозмутимо на него глядящим крестьянам, что отныне никто уже не будет нищим, слабосильным или второсортным гражданином.

Эта часть речи по-настоящему задела Иоакимов:

— Ты повтори... Это как же получается... Говори, говори... — и тому подобные восклицания посыпались на гостя.

Только богачи благосклонно скалили зубы, уверенные, что никогда равенству не бывать. И с нуждою не разделяешься! А страж закона без фуражки, весьма похожий на доброго таракана, усердно отдувался и удивленно озирался: от выпитой сливовицы у него двоилось в глазах и в мыслях.

Мастер знал, что откровенные беседы с простым народом

следует вести только после предварительного знакомства, когда уже установилось взаимное доверие; но опыт также убедил его, что такого рода встречи почти невозможно подготовить и, в конце концов, речь его будет здесь всегда звучать как чужая и подозрительная выдумка (кто-то другой придет затем и повторит: ему будет уже легче).

Между тем Иоакимы требовали дальнейших объяснений, скрывая до поры до времени свои сомнения:

— Ты скажи опять! Как это, на всех хватит? И кто даст вперед?

Даже бабы с угрюмо-озабоченными, широкими, плоскими (выносливыми) лицами придвинулись ближе к столу, напряженно взирая.

— А это вполне просто, — гость начал подражать их речи, короткой, с повторениями, бьющей нарочно не в цель, а чуть в сторону (из осторожности). — Это совсем даже просто. Ведь, скажем, живет человек, работает 50 лет? Ежели он здоровый мужик, а?

— Так. Это так. Это что и говорить. Пятьдесят лет всякий проработает. Это очень даже просто, — соглашались Иоакимы.

— Ну вот. А за пятьдесят лет сколько заработаешь, ежели по тысяче в год?

— В самый раз. Тысячу в год правильно. Иной раз и больше набежит, — вдохновенно повторяли туземцы. Кобылка соскучилась и теперь стояла, повернувшись спиной к беседующим, мечтательно созерцая залитую солнцем желто-фиолетовую родную долину.

— А ежели тысячу в год, значит пятьдесят тысяч за всю жизнь. Так, что ли? — настаивал профессор. Но этот вывод им казался неоправданным и поспешным:

— Оно, конечно, да не совсем. Тысяча в год это верно. А пятьдесят тысяч уже большие деньги. Это понимать надо.

Впрочем, Филолай положил конец их колебаниям:

— Раз тысяча в год, значит пятьдесят тысяч за все. Дай профессору рассуждать.

Народ сдержанно согласился:

— Что ж, это правильно. Так оно, надо полагать, выходит.

— Ну вот. Стало быть, каждый младенец, который рождается здесь, обязательно заработает пятьдесят тысяч за целую жизнь. А что если ему сразу, в колыбель, положить хоть половину этой суммы наличными? — и после коварной паузы Мастер Касьян сам ответил. — Тогда ему будет легче расти, учиться, выбирать ремесло. Потом, ясное дело, он вернет задаток с процентами.

Народ заволновался, увлекаясь радужными мечтами и в то же время чего-то пугаясь...

— Это ежели 25 тысяч на каждого сосунка, — восхищенно повторял Филолай, — тут и вскормить, и научить, и дело поднять можно.

— А ежели девка? Неужели и девке полагается?

— Но кто дает вперед эти деньги? — интересовались скептики, местные богачи. — Откуда возьмутся такие суммы?

— Да, откуда? — слово "суммы" показалось Иоакимам убедительным, и они склоняли его на все лады.

— Вы даете, мы даем, государство, общество дает, — настаивал гость. — Вы знаете друг друга, вы и даете под расписку товары каждому новорожденному... И суммы даете, до 25-ти тысяч включительно. Вырастет: заработает и отдаст назад.

— А ежели убежит. Поди догоняй сукиного сына. Вот у Турка сын...

— Ну куда ему бежать, — убеждал Мастер. — Не все же убегут. Казна его найдет. И к тому еще, можно снять процент на вора, застраховать значит.

— Стало быть, процент на урон. Только, ой, ой, ой, как следить надо!

Мужики заметно повеселели и даже подобрали, хотя все еще продолжали задавать каверзные вопросы, стараясь разгадать не только слова горожанина, но и его тайные мысли.

— Не выйдет это у вас, братцы, — взмолился вдруг стражник, похожий на оглушенного таракана. — Ведь это суммы и суммы... Народ попреет как комар. Всякая девка сразу начнет рожать.

— Не выйдет, — поддержал и хозяин колониального магазина, староста Сова.

— Не получится, потому что неоткуда получить, — ото-

звался солидный поставщик цветного мрамора, Пеликан-Эфенди.

Касьян больше не спорил; чтобы переменить разговор, спросил:

— Это церковь ваша?

Иоакимы охотно закивали бородами, обрадовавшись передышке:

— Наша. Хорошая церковь. И в городах таких больше нет. Древняя, в самый раз.

— На мечеть похожа.

— Была и мечетью. Под турками. Потом австрияк забрал. А теперь опять наша, отвоевали.

— Ничего, обротаем, — ввернул Филолай, очевидно, придавая особое значение этому выражению.

— Да, обротаетшь. Кур им, чертям, дари и яйца, козу весною тащи да полотно.

Иоакимы кивали могучими бородами, как хвойными ветвями.

— Ничего, обротаем, — флегматично повторил Филолай.

— Что и говорить, — согласился вдруг Иоаким (Табак). — Нам что турок, что немец, что русский. Все равно один конец ему. Тут еще итальянцы совались. Ей Богу, на слонах пригнали, думали запугать, — все засмеялись, удивляясь глупости итальянцев.

— Ну вот еще, на слонах, — возразил другой Иоаким, Серый, чья очередь была ехать с почтою. — И совсем не итальянец, а мадьяр: на двух лошадях скакал... На одной сам сидит, а другую ночью лопают.

Вмешательство Иоакима (Серого) прозвучало в некотором роде укором. Купцы и стражник поднялись, оправляя одежду, застегиваясь, давая этим понять, что пора приняться за дело; лошадка самостоятельно побрела к фонтану, и Иоакимы, грозно тесня баб, принялись опять распределять наилучшим способом груз на арбе, подкладывая где надо солому, перевязывая все самодельными веревками (воистину льняного цвета).

Долина раскинулась на солнце, благоухающая и пышная; река пенилась, бурлила, то и дело вспыхивая, точно осве-

шаемая изнутри. Серые дюны у воды, пепельные глыбы гор по краям, а вдоль стержня — розовая, синяя, лиловая зелень нив, огородов, садов. Тополи и кедры приветливо расступались перед белыми (каменными) избами с плоскими изразцовыми крышами. А широкая площадь, небрежно вымощенная розовым мрамором, — с фонтаном и средневековыми голубями — представляла из себя музейную ценность.

По мосту, перекинутому словно над бездною, отдельными группами проходили, проезжали угрюмые фермеры; стаи собак озорно пробегали, стуча по доскам особым (тихим и внятным), процеженным образом. Ослик, нагруженный двумя корзинами, серьезно брел навстречу солнцу. А на башне казенного здания молча висел круглый циферблат часов со стрелками, упорно показывавшими три четверти двенадцатого. Когда Мастер Касьян пришел сюда утром и заговорил с Иоакимами, час этот казался несуразным; но теперь, уже после третьей чашки раскаленного кофе, полдень действительно был уже не за горами.

— Часы? — не то спросил, не то подтвердил гость, обращаясь к сидевшим еще Иоакимам.

— Да. Часы, — убежденно ответили ему.

— Не идут часы, стали, — продолжал, однако, Мастер.

— И очень просто, — успокоили его мужики, улыбаясь бородами.

— А почему не идут?

— Часы?

— Да, почему стоят?

— А зачем им ходить? — удивились Иоакимы. Немного погодя Филолай, чувствуя особую симпатию к чужеземцу, объяснил:

— Врут все часы.

Мужики дружно подтвердили это авторитетное заявление.

— У нас, по крайности, не врут часы, — повторяли они. — Не могут врать.

За стеною и за плетнем бабы тоже подали голос, хихикая:

— Профессор, а не догадывается...

И уже не стесняясь, точно убедившись в простоте горожанина, Иоакимы засыпали его вопросами личного порядка, не скрывая детского любопытства:

— Ты профессор? Что делает профессор? Все они одинаковы или есть профессор для профессоров? И женишься на Зоре?

— Хорошая девка Зора, — равнодушно уверяли они. — И мать ее ангел была. Только Феликс, конечно, сердитый. Одним словом, сатана.

— Ты вот что, — советовали они Мастеру, — не давайся сатане. А то съест с потрохами. Феликс, он такой, — бабы хихикали, но молчали, хлопоча по соседству.

— Вот полотенца выдумал еще, — жаловались Иоакимы. — Вместо баб неси ему.

— И кур.

— И ягнят, — перечисляли они возмущенно.

— Ты, друг любезный, берегись Феликса, — убеждал Кантемир. — Он тебя съест, чужака.

— Мать моя здесь жила, — осторожно заметил Касьян. — Анна или Анюта, может, слышали?

— Где тут помнить? — уверяли мужики. — Иной раз собственную жену забудешь.

Опять бабы (где-то за стеною или в подземелье) зажужжали, точно развороченное осиное гнездо.

— Она русская была, беженка, — настаивал гость.

— Епископ, как война или другая заваруха, так сразу целую орду, бывало, набирает, — объяснили Иоакимы. — Тут и бабы, и девки, а то просто дети.

Опять женщины (где-то в погребе или в сарае) смеялись, роняя ядовитые замечания.

— Ты дружи с Епископом, — решил Филолай. — Он все тебе скажет.

— Да вместо баб тебе полотенца отбирает, — снова жаловались Иоакимы. Беседа возвращалась по кругу.

— Ничего, обротаем, — закрепил Филолай. — Ты в церковь ходишь? Вот хорошо. Священник у нас пока свой, собственный.

— Больно хил, — со вздохом заметил Иоаким Табак.

— Тебе новых подавай, — набросились на него. — Власть тебе пропишет попа, завоешь.

— Я ничего. Нам новой метлы не надо.

Все шевелили глубокомысленно бородами; бабы опять, как античный хор, что-то невнятно присовокупили.

Мастер слышал еще в городе, что местная церковь является странной разновидностью древнейшего толка: по существу католическая, она долго пребывала под турецким игом. В семидесятых годах, когда папа провозгласил свою непогрешимость, она не признала этого новшества и оторвалась от Рима. Установив молитвенное общение с приходами Ближнего Востока, эта церковь продолжала свою обособленную жизнь. А туземцы считали себя подлинными православными, что, до известной степени, соответствовало истине.

— Мы нашим попом вполне довольны, — повторяли мужики. — Нам других веников не надо.

— Да больно стар-то, — опять заметил Иоаким Табак. — Вот помрет, что будет?

Ответа не последовало... Все устали в сторону реки. Оттуда, уже пересекая розовую, сверкающую и лоснящуюся площадь, шла Зора, стройная, высокая, но производившая впечатление хрупкости (нежности). На минутку она остановилась у легкого каменного фонтана, разглядывая его с каким-то болезненным вниманием.

В знойном воздухе полдня все выглядело застывшим (как часы на башне) и только желто-фиолетовые тени платанов у реки вздрагивали и передвигались (быть может, в такт с вращающейся землей).

IV

Девушка приблизилась; одни Иоакимы встали, другие продолжали сидеть, вежливо кивая бородами. Здесь, в центре родного селения, на розовой площади с голубями, эта молодая женщина, бесперебойно излучающая строгую и чистую радость, казалась совершенно уместной.

— Кофе пили, Мастер? — спросила, восхищенно смеясь розово-желтыми глазами.

Мужики степенно улыбались, бабы со всех сторон окружили девушку.

— Вот умница, вот красавица, — искренне и фальшиво повторяли они, глядя, ощупывая Зору. — Гарнир какой модный и пострижена в лад. Выросла невеста, жениха привезла, самого профессора. Вот умница...

— А вы как? — неуверенно начала Зора, но узнав одну молодку, обратилась именно к ней уже с обычным, подлинным воодушевлением. — Анна, вот радость, и дитя твое? — она обняла раскрасневшуюся бабу в подоткнутой юбке и поцеловала в обе щеки.

Женщины тихо и одобрительно стрекотали, Иоакимы только шевелили могучими бородами.

— Мы с ней молочные сестры, — объяснила девушка гостю. — Она уже замужем. И детей, верно, куча.

Кругом захихикали, ребятишки снова пустились с гиканьем скакать по площади. Из магазинов и мастерских выходили степенные хutorяне и кратчайшим путем направлялись к трактиру (отпраздновать сделку). В ресторане и у стойки уже собирался народ. Крестьяне то и дело показывались на крыльце со стаканом сливовицы и приветствовали Иоакима Старого или Драного (после чего уже все вместе скрывались в трактире). Стражник никак не мог решить, где ему полагается нести службу, и он бегал то туда, то назад, вытирая мокрый красный лоб: все выпитое им немедленно превращалось в пот.

— Как муж, любит? — допытывалась Зора.

— Муж, объелся груш, — цинично отмахнулась Анна. — Ты лучше про себя расскажи. Что Чако? Убивается, бедный?

— Нет, Чако пустяки, — вмешался Иоаким Турок: хмурый скептик, тот самый, что беспокоился по поводу возраста священника. — Чако — душа парень. Вот Феликса надо остерегаться, Феликса.

— А глухая? — допытывалась Анна.

— Шкуру с волчицы снять, кол в могилу вогнать, — слышались кругом угрожающие возгласы: если мужики недолюбливали Феликса, то бабы, по-видимому, не ладили с глухонемой ключницей. У всех этих женщин были бойкие, сварливые (хриплые) голоса... Тяжелые, красивые, но рано постаревшие лица. Огонек веселой горечи еще хранился в глазах (точно искры под пеплом потухшего костра, способного

еще, быть может, вспыхнуть и ожечь). Мастеру Касьяну с ними было неловко, а Зора по-прежнему вдохновенно продолжала бесконечный разговор.

Между тем Иоаким Серый опять напоил и запряг кобылу; двуколка, осторожно переваливаясь, тронулась наконец в путь. Возница надел меховую шапку, поправил башлык на шее, застегнулся на все пуговицы, точно отправляясь на северный полюс.

— Почту, дьявол, не забудь, — успел еще раз крикнуть стражник, выбежав на крыльцо.

Экипаж чрезвычайно быстро исчез за естественной скалистой заставой, отделяющей долину от пустых, потрескавшихся курганов, через которые путнику надлежало продвигаться несколько дней.

Касьян и Зора, жмурясь от солнца, побрели по сияющей площади, заглядывая в темные подворотни домов и мастерских. Девушка со всеми здоровалась, обменивалась замечанием или шуткою, но не задерживалась надолго.

— Да, вы правы, — сказал Мастер, продолжая разговор. — Это чудо, сплошное. Палеонтология.

— Не правда ли? — она, как дитя, забежала вперед, заглядывая ему в лицо: серьезная и вся морщась от счастья (и света). — Я, бывало, думала, что здесь надо все перевернуть вверх ногами. Дороги, электричество, телефоны, больницу, школу, чтобы не ходили женщины зимою к проруби полоскать белье. Но, знаете, я теперь не уверена...

Перед церковной папертью, на травке, стоял, сутулясь, очень высокий, сухой, старый священник в маленькой черной скуфейке и с узкой, змеевидной, серебристой бородою до пояса; казалось, что под черной, глухой рясой у него от слабости подгибаются ноги. Опираясь о длинный посох, он поднял вверх свое белое, древнее лицо, то ли сосредоточенно дыша, то ли жадно любуясь красотой летнего дня.

Молодые люди поздоровались; по реплике пастыря нельзя было сообразить, узнал ли он Зору. На Мастера он покосился как на давно надоевшего ему грешника.

— Это мой жених, о. Нектарий, — объяснила девушка.

О. Нектарий пробормотал скороговоркою:

Глухи духи, глухи духи, — потом отдышался и сердито (более внятно) осведомился. — В церковь ходишь, в таинствах участвуешь?

— Он, батюшка, во все церкви ходит, — как радостную весть сообщила Зора.

— То есть как? — спросил иерей. — И папские, и лютеранские? Обманом?

— Нет, не обманом, — твердо возразил гость. — Правда, иной прогонит, даже ругается. Всякие бывают священники нынче.

— Много вас таких, еретиков? — заинтересовался старец.

— Все больше и больше, — возвестила Зора.

— Что ж, — вздохнув, сказал о. Нектарий. — Ежели по вере, то Бог простит, — он поспешно перекрестил их бледной рукою и отвернулся, старательно дыша (или жадно запечатлевая образ славы Господней в небесах). — Глухи духи, глухи духи, — опять послышался невнятный шепот.

Со стороны реки доносился безмятежный визг детворы, нудно крикали селезни и время от времени зловеще завывали собаки. Все эти звуки, которые оставались здесь неизменными, вероятно, более пяти тысяч лет, порождали в душе горожанина чувство сиротливой печали.

Касьян и Зора шли по мосту, и шаги их, процеженные, разносились в воздухе, точно вырвавшись из другого мира. Вот каменистая тропа над ущельем: слева пенится запертая река, справа роща и могучие аллеи лип, кленов, елей, уводящие непреклонно к замку. Жужжание оводов и пчел на поляне, блеск солнца, холодные взлизы воздуха с гор, запах тысячелетних огородов, все это опьяняло горожан.

— Скажите что-нибудь веское, профессор, — попросила Зора, улыбаясь без улыбки и сияя кожей (жаворонок по-прежнему захлебывался от счастья в зеленом небе). Мастер боялся смотреть на вдохновенное, обещающее совершенство (или бессмертие) лицо девушки.

— Я вас по-прежнему люблю, — сказал он.

— Откуда вы это знаете?

— Не могу объяснить, но знаю. Моя любовь не имеет причины и не ведет к следствиям. Она самопроизвольна и чудесна, как сама жизнь.

Девушка выслушала эту ценную новость, склонив набок светлую голову и смеясь песчаными глазами.

— Мое сердце поет, переполненное до отказа, — острожно, словно ощупывая опасную тропу, продолжал он. — Я вдруг понял, что мир хорош и я прекрасен. Нет больше границы моим душевным возможностям. И я жалею глупцов, которые не испытывают подобного же чувства. Как им объяснить реальность и близость счастья! Одна ли любовь у всех, повсюду? Или она расколота и каждый имеет свою особую, отдельную любовь?.. Я теперь могу только об этом серьезно рассуждать. И мнится мне, что всякий меня понимает и видит насквозь: Епископ, глухонемая, Феликс, Чако. Они просто завидуют нам. Вчера ночью Катерина, цыганка, спросила, нужно ли ей остаться со мною... И это было, как голубое письмо от вас. Я никогда не мог постигнуть, что такое атеизм и существует ли он, действительно, в мире, но я знаю, что влюбленный начинает верить в Бога: мой взор от вас, почти завершенной и прекрасной, невольно обращается к большему, Кто стоит за вами. Любящий верит, хотя не всегда об этом помнит.

Мастер смолк, переводя дух: тропинка вилась в гору. Огромная, уродливая птица парила в небе, высматривая нечто съедобное в гневных недрах реки; вдоль берега (все расширяясь) жесткая осока нежно кланялась: издалека видно было, как шелковистый ветер гладил ее по шерсти.

— Еще, профессор, пожалуйста, еще, — взмолилась девушка (казалось, похудев во время прогулки).

— Мне страшно или стыдно произносить имя Зоры. Я стараюсь думать о вас в третьем лице, как о другой, далекой женщине. Иначе я подойду слишком близко, схвачу вашу руку... А мне ничего больше не нужно: только рассказывать прохожим о своей любви, о преображающей силе любви.

— Пожалуйста...

— Старые, больные, калеки напоминают детям о смерти. Я давно пережил собственную смерть и побывал даже на ваших похоронах. И смерти больше нет... Будущего и прошлого тоже нет: на той глубине, где любовь и волновая механика, все это обывательские понятия.

— И тут физика?

— Увы. Я не могу познавать вашу сущность, не сказав ее тем самым. Это формула Хейзенберга. Чем ближе к вам, тем больше вас теряешь! — он вдруг неумело всхлипнул.

— Говорите, — тихо повторила девушка. — Говорите.

— Страшно смотреть на ваше восхищенное лицо. В вашем присутствии я теряюсь. Отныне я только в состоянии повсеместно твердить о любви. Как хорошо, что ночью мы отделены каменными стенами, засовами и решетками.

— Через эти стены и решетки легко перепрыгнуть, — прошептала Зора. — Мне скучно здесь, профессор, одной.

— Я хотел бы постичь, наконец, тайну, — продолжал гость. — Вы это только вы или все "вы" сливаются в целое? Моя любовь действительно "моя" или она любовь всех, всегдашняя, одна?.. Эта любовь меня парализует и в то же время она благо, предел совершенства. Меня нет больше: вы во мне, повсеместно! Пожалейте меня, ибо сердце не выдерживает такого блаженства.

— Что же делать? — с радостным ужасом вскричала девушка (вполне уверенная, что все кончится хорошо: в конце концов, в веках). Она взяла его за руку и повела неровной тропинкою в сторону бесшумно раскланивающейся (на холме) роши.

— Общество Зоры для меня мука и я ищу ее повсюду! Представление о вашей святой чистоте уничтожает во мне всякое зло. Я теперь меньше вешу: закон тяготения как бы теряет свою силу отныне.

— Как это все случилось? — спросила она, страдающая и счастливая.

— Любовь переродила меня и искалечила. Локомотив наскочил на почтовый поезд и столкнул его с рельс.

— Да?

— Славить вас денно и ночью. Славить ангелов и духов, представленных к вам. Вы были до начала жизни и оправдываете ее конец.

— Ради Христа, не говорите этого у нас дома, — смеясь попросила девушка.

— Когда умирала Аня, я понял, что и вы и я когда-ни-

будь превратимся в материю без апелляции. Эту неопровержимую видимость надо было победить. Вся моя теория обратимости родилась из любви к вам. Любовь научила меня бессмертию и раскрыла совершенство если не природы, то предтечи природы. Не мы обречены, а 2-ой закон Термодинамики умер и ждет погребения.

— Еще, о нас, — прервала девушка.

— Какая несправедливость! Есть существа, которые пройдут по жизни, ничего не узнав и не услышав о Зоре. Так изнуренные туристы покидают древний град, не догадавшись заглянуть в маленький храм на окраине, где хранится забытое, еще не описанное в Бедекере чудо искусства.

— Дорогой Мастер, мы теперь возвращаемся в замок. Не говорите там об этом. Просто требуйте моей руки, как принято в обществе. Потом мы останемся одни или с близкими нам людьми. Тогда можно будет продолжать нашу необычайную беседу.

Гость тяжело переводил дыхание, рассеянн озираясь, через минуту спросил:

— Кстати, глухонемая... расскажите о ней, если можно?

— Это старое увлечение Епископа. Все, что вы говорили про любовь, она поймет.

— Вы уверены, что она глухая?

— Странно, — подхватила Зора, — вы не первый об этом осведомляетесь. Молодая, она будто бы купалась в реке, когда случился обвал: у нас такого рода катастрофы не редкость! От страха она нырнула под воду: гулом или вибрацией ей порвало ушные перепонки... Такова официальная версия ее недуга.

— Сколько жен было у Епископа?

— Много, — созналась девушка. Ее голос, звонкий и ровный, слышен был повсюду, воспринимаемый не только ушами, но, вероятно, порами тела или всей душой. То же самое, казалось, характерным для ее глаз, песчаных, смеющихся: они утверждали себя не только зрительно. Так что чисто оптические или акустические впечатления, производимые ею, не исчерпывали всего образа Зоры.

На поляне, купаясь в солнечном ливне, лихой, седеющий синий гигант, Маркали, сидя на корточках, что-то строгал то-

пором (держа его не за топорище, а прямо за обух). Рядом вздыбилась яркая, сверкающая сельскохозяйственная машина и лежали разбросанные в траве новенькие запасные части.

— Вот верный друг. Он все починит, выкрасит, построят, пошьет, перелицует и даже вылечит, — радостно объявила Зора.

Маркали, выпрямившись, ласково скалил белые зубы, дожидаясь приближения молодой пары. У него было синеватое, чуть опухшее, огромное лицо, и Мастеру на мгновение стало не по себе, точно он увидел утопленника или висельника.

Влажные горячие глаза цыгана, сильные, крепкие зубы, улыбка и блестящая серьга в одном ухе — все это производило впечатление страсти, свободы, безрассудной храбрости. И в то же время Мастер пожалел этого человека, словно почувствовав его уязвимость, обреченность.

Маркали поклонился прогуливающимся влюбленным, видимо, вполне одобряя их занятие, и снова принялся за работу, чем удивил гостя, успевшего уже заметить, как лениво и пренебрежительно туземцы здесь относятся к труду.

— Вы запомнили Катерину, его жену? — спросила девушка. — Красавица. А девочка у них тоже Катерина: ангел, бес или и то и другое и еще что-то третье. В общем, на змейку похожа, — она смеялась воском и медом своих глаз.

— Здесь много очаровательных змеек, — согласился Касьян, любуясь спорными движениями больших (живых) рук цыгана.

— Нет, Катерина-маленькая совсем особенная, — повторила Зора. — Особенная.

— Как он строгаёт, — тихо сказал (и вздохнул) гость. — Завидно. Так великие люди рубятся с вековыми врагами, открывают новые сочетания молекул или красок.

— Маркали всегда занят, — подтвердила Зора. — Я еще в детстве это сообразила. И звери его слушаются: лошади, птицы, козы. Его ни разу собака не укусила, а здесь это редкость. Пустите его в чужое жилье и он немедленно найдет все инструменты или сочинит их и перекроет крышу, исправит дымоход. Он цыган, — воодушевленно объясняла девушка, не

стесняясь прислушивающегося Маркали. — Это в долине козел отпущения. Если пропадет хомут или на св. Кассиана хлынет дождь, все говорят: цыган виноват, вешать их надо. Сколько раз его избивали. А это — добрейшее, честнейшее, полезнейшее создание, в трезвом виде то есть. Он лечит зверей, беседует с птицами, нарекает кошек, жеребят и щенков собственными именами. Пресный, Сиплый, Туковый, Белый и Ласковый... Те понимают и бегут, даже летят на зов. И дочь его такая же для нас загадка: непонятно, откуда она взялась! — серьезно и вдохновенно рассказывала девушка; Маркали спокойно продолжал махать топором. — Самое простое объяснение: фея принесла маленькую Катерину из других эпох и сфер, — Зора смолкла, доверчиво смеясь глазами.

Они шли парком; высокие кедровые деревья испускали сухой запах уксуса или скипидара; две юные серны, подражая друг другу, одинаково перебирая тонкими ногами, скоком перемахнули через дорожку и скрылись в чаще. Навстречу по аллее с гигантскими липами показался Епископ, одетый в зеленую куртку и с павлиньим пером в голубой шляпе: изысканный, старомодный, но отнюдь не смешной.

— Завтракали? — издали обратился он к молодежи. — Одному скучно.

— С удовольствием, — весело откликнулся гость. — Мы, кажется, еще не завтракали.

— Идите, я приду позже, — крикнула девушка и убежала.

V

Они одолели посыпанную желтым песком аллею (цвета глаз Зоры), пересекли мощеный яркими плитами двор и наконец поднялись на огромное крыльцо.

На террасе, выложенной крупными изразцами (где бесценно плыли голубовато-синие каравеллы), они уселись за пустой мраморный стол. Бабы начали быстро и бестолково собирать приборы.

— Тут можно помыть руки? — кратко осведомился гость.

— Нет, — отвечал хозяин, приятно улыбаясь. — Не ска-

кать же вам на третий этаж. Впрочем, — добавил он конфиденциально, так что Мастер потянулся в его сторону, прислушиваясь, — только грязные субъекты постоянно моются. Поверьте...

Касьян не стал спорить и, не разбирая, положил на тарелку массивное крыло холодной жареной птицы (странным, аппетит здесь совершенно пропадал). А Епископ уже уписывал разных сортов колбасу и ветчину. Кофе грозно дымилось: над кастрюлей плыло ароматное облако.

— Кстати, который час? — подчеркнуто трезво спросил гость (в средней Европе люди при виде сосисок и свинины сразу точно хмелеют и заливаются жирным хохотом).

— Не знаю, право, — хозяин отвечал, не переставая энергично жевать. — Здесь мы живем по солнцу и по церковным праздникам. И это мудрее всего, — чашка Епископа благоухала (а к своей Мастер не решался притронуться). — Собственно, каких часов прикажете нам придерживаться? — продолжал Епископ, смакуя слова, мысль и закуску. — Летнее время? Зимнее? Западно-европейское? Русское, американское, китайское? В городах повсюду часы и они редко совпадают... Может быть, придерживаться индивидуального, личного времени? Или математического, абсолютного? Такие понятия существуют, но какая польза нам от них в долине.

— Да, я заметил, что часы на Ратуше стоят и народ этим гордится даже.

— Вот, вот, наши часы исключительные, — подхватил Епископ оживленно. — Уверяю вас, единственные часы, о которых можно сказать, что они дважды в сутки показывают верное время. Мы не знаем точно, когда именно, но верим, что дважды в день это обязательно так.

— Что ж, современное сознание за вас, — подумав, согласился Мастер. — Таким образом, хотя бы восемь процентов реальности открывается нам. Незыблемой реальности.

— Почему восемь процентов? — старый шармер был озадачен, но не переставал, однако, жевать, глотать, отпивать, отчего рот его неприятно растягивался, как у большой бескровной жабы (или ящерицы, с тяжелыми складками вокруг губ).

— Дважды в двадцать четыре часа, — объяснял Касьян, стараясь не замечать кругообразных движений челюстей Епископа, — дважды на каждые двадцать пять означало бы восемь на сто. А в данном случае получается восемь и одна треть процента. Точно ведь?

— Да-а, — протянул хозяин. — Но что это, собственно, доказывает? Если вы серьезно? — поспешно добавил он, любезно позволяя собеседнику превратить все в милую шутку.

— Вполне серьезно. Это значит, что любой абсурд в нашем мире, любая бессмысленная теория, любое спасительное средство, социальное, медицинское, религиозное, любые сочетания звуков, красок, идей в 8 случаях из ста куда-то ведут и оказываются частично верными, красивыми, целебными, истинными. Так что преступники и кретины, открывающие очередную чушь, всегда хотя бы на 8⅓% правы.

— Забавно, — одобрил Епископ. — Это и есть образец новейшего субатомного мышления?

— Да, и это.

— Часы на башне решили не исправлять по моему совету, — объяснил хозяин, с улыбкой принимаясь за фаршированные томаты. — Мне казалось, что легче обходиться совсем без информации, чем располагать заведомо ложными сведениями. Как я рад, что мы одни и можем беседовать келейно, — продолжал он, не меняя тона. — В сущности, вы отличный жених. А Зора богата, хорошего рода, хотя теперь это все, конечно, упряднено, — он рассеянно усмехнулся своим большим, желтоватым, как лимон, лицом: с таких писал портреты Эль Греко.

Гость молчал, не помогая ему, но Епископ продолжал с уверенностью светского человека, знающего, как себя вести при любых обстоятельствах (или привыкшего устанавливать эти правила).

— Лично я ничего не имею против вашего брака. Вы мне нравитесь, да, да. Деньги — дело условное, а знатность? Кто скажет, может, вы старинного рода... Зора — отчаянная девка, похожа на мать: не переубедишь! Так что лучше всего было бы покончить все миром и сразу. Но тут вдруг обнаружилось одно шекотливое осложнение.

Касьян все молчал, так что Епископу оставалось только продолжать:

— Речь идет о вашем отце. Неужели вы никогда не пытались выяснить, кто он?

Это звучало прямым вопросом, и Мастер ответил:

— Вся моя жизнь направлена к этой цели. Изучая себя, я до некоторой степени открываю и тех, кто меня сотворил.

— Ну да, ну да. Но ведь хочется иногда понять в корне, обезьяна ли мой предок, извозчик или принц Уэльский?

— Думаю, что правильный ответ: и то и другое и еще некто третий.

— Конечно, конечно, — быстро согласился Епископ. — Это опять физика. Но давайте рассуждать практично. Ваша мать, по-видимому, проживала здесь в замке. Потом уехала и родила вас? Глухонемая утверждает, что вы мой сын, то есть брат Феликса. Не единоутробный, конечно, но брат.

— Глухонемая утверждает?

— Ну да, глухонемая, а утверждает, — повторил Епископ, сдерживая раздражение. — Неужели вы со всей своей новой механикой не можете допустить такого парадокса?

— Она помнит мою мать?

Епископ с интересом рассматривал сигару, готовясь закурить.

— После смерти жены, матери Феликса, — начал он ровно, — я до некоторой степени лишился рассудка, во всяком случае потерял чувство приличия и меры. В конце концов, глухонемая меня спасла, но я успел проделать несколько опасных и фrivольных экспериментов.

Гость упорно молчал; Епископ твердо закончил:

— Так что, получается, жениться вам нельзя.

— Почему? — Мастер наконец отпил из своей чашки: кофе остывало, но и потеряло аромат.

— Почему? — удивленно переспросил хозяин. — Да это против всех законов общежития. Кровосмешение преследуется церковью и государством.

— Придавать значение догадкам глухонемой и, вероятно, — гость на минуту замялся, — помешанной женщины, извините, абсурд. Конечно, подобно всякой другой глупой гипотезе,

тезе и эта имеет за собою восемь процентов реальности. Ни больше, ни меньше. Значит, из ста пар, подобных мне с Зорю, восемь могут оказаться в близком родстве. Но какие именно восемь пар, этого мы не знаем и никогда заранее не сможем предугадать. А ведь мы заинтересованы только нашим конкретным случаем, статистикой вообще мы теперь не занимаемся, — Мастер смело допил свою чашку и отодвинул ее.

— Не могу согласиться с такими доводами, — поспешно возразил Епископ.

— В чем дело, что вас беспокоит? Ведь вам хорошо известно, что все люди — братья. У нас один Отец. Что вас так смущает? Кстати, в библии и при дворе, браки между членами одной семьи преобладали.

— Ну это совсем другое, — решил Епископ; но Касьяна трудно было переубедить:

— Нет, — сказал он твердо, — это не совсем другое, а именно то самое.

Епископ снисходительно улыбнулся.

— Знаете, кого вы мне напоминаете? Меня, меня в молодости. Я тоже был отважен и последователен до безобразия.

— Ну вот, стало быть, я хорош для Зоры, — решил гость.

— Тут дело в наследственности, в генетике, — конфиденциально сообщил Епископ. — Это ведет к вырождению.

— Вздор. Статистика. Я уже объяснял. Из миллиона такой-то процент выродится. Но что случится именно с данным отпрыском, теория вероятности не может и не желает предсказывать. А ведь именно это нас занимает. Вероятно, тут начинается свобода выбора, хотя бы на уровне наших клеток и атомов.

— Да, — согласился Епископ, — эта новая физика наделает еще больше вреда, чем марксизм или дарвинизм... Кстати, что вы слышали ребенком о вашем отце?

— У меня в общем было трое отцов, — сухо сообщил Мастер. — Мы об этом уже говорили, и я жалею, что не могу удовлетворить вашего любопытства.

На террасу из внутренней двери вышел, почти выбежал Феликс; он был одет для верховой езды, в ботфортах и весь в пыли. Небрежно поздоровался, положил на стол тяжелый хлыст и сразу схватился за посуду с кофе.

Мы тут спорим о наследственности, случайности и эволюции, — любезно обратился к сыну Епископ. — Оказывается, что теперь Дарвин, как и Маркс с Ньютоном, сданы в архив, не созвучны больше эпохе.

— Дарвин, Ньютон? — возмущенно завопил Феликс. Бабы успели швырнуть бутылку сливовицы, и тот быстро пропустил рюмку побольше и продолжал. — Все упразднить. Ни императора, ни церкви, ни Вагнера, ни Эвклида... Даже Ницше! — почему-то горестно (со слезою) воскликнул он. — Даже Ницше теперь почитается детским лепетом.

— А древний вопрос, из обезьяны ли произошел человек или не из обезьяны, нынче просто неуместен, — благодушно докладывал Епископ. — Профессор на основании последних открытий уверяет, что и из обезьяны и не из обезьяны и еще из третьего источника родился человек... Надо полагать, что некоторые индивидуумы сформировались из орангутанга, а остальные, наоборот, как-то совершенно другим путем, — Епископ осторожно поворачивал в руках зеленую сигару. — Иной раз посмотришь на человека и ужаснешься: ей Богу, горилла, пещерный троглодит. А у другого ангельская внешность, просто нимб над головою витает. Откуда берется такое разнообразие, ежели корень повсюду один?

— Почему вы берете себе право решать, кто обезьяна и кто ангел? Кто вы такой, позвольте спросить, профессор? — орал Феликс, стуча кулаком по мраморному столу.

Мастер Касьян спокойно отвечал:

— Я ничего такого не говорил, — он сделал вид, что собирается подняться со стула.

— Пойдите, сидите, — грубо остановил его Феликс. — Вы собираетесь жениться на моей дочери?

— Да, если она согласна.

— Что вы можете предложить Зоре?

— Не знаю.

— Но ведь об этом принято думать, когда любишь. Из настоящего вытекает будущее. А что у вас впереди?

Гость осклабился. Епископ серьезно объяснил:

— По их учению причина не обуславливает следствия. Возможность свободного выбора или внезапного самопроиз-

вольного прыжка не исключена в любой момент, по крайней мере, на микроскопическом уровне. Еще может случиться, чтобы следствие двигалось быстрее причины, тогда весь порядок цепи окажется перевернутым вверх ногами.

— Я теперь не намерен философствовать, — заявил Феликс, уверенный, что когда он пожелает, то отлично сможет и пофилософствовать. — Тут дело касается слишком серьезного предмета! (он полагал, что рассуждают отвлеченно только по поводу второстепенных или безразличных тем). — В конце концов я обязан оградить свою дочь, — взвизгнул он вдруг самым неприличным образом. — Я не позволю посягать на все святости. И если придется пустить в ход вот это, — он взмахнул тяжелым хлыстом, — то, поверьте, я не постесняюсь. Ведь вы, профессор, наверное, за постатомное непротивление злу?

— Не совсем так, — тихо возразил гость. — Мы за героизм, за утверждения, за самопожертвование... Против косности, эгоизма, инерции, лени, энтропии. Если вы меня оскорбите и я вас ударю кулаком, — Мастер показал умеренной величины стальной кулак, — то это будет только актом вульгарного самосохранения, продолжающим порочную, ведущую к смерти причинно-следственную линию. Но если вы обидите одну из ваших баб, то я вам с наслаждением расквашу нос, и этот мой поступок будет уже носить характер альтруизма, духовного подвига и даже обратимости в самом глубоком смысле! — он поднялся и, глядя сверху вниз на коренастого Феликса в ботфортах, произнес уже другим тоном. — Мне не хотелось ехать сюда и, очевидно, я был прав. Но я уступил Зоре, зная, как это важно для нее. Теперь я уйду на село, а вы уже, пожалуйста, пришлите в гостиницу мой чемодан.

Они оба стояли, большеголовые, лобастые, следя друг за другом почти одинаковыми злыми, серыми глазами, — похожие на молодых, голодных волков.

— Господа, господа, — властно начал Епископ. Но в это время на крыльцо взбежали Зора и Чако: через толстое стекло видно было, как они болтают и смеются.

Девушка сразу подставила свою чашку из-под земли выросшей бабе; ликуя, заявила, что ужасно проголодалась!

Чако тоже как будто улыбался; при дневном свете его томное лицо с темными усиками выглядело еще более страстным, болезненным.

Словно продолжая занимательный разговор, Епископ спросил:

— Еще мне хотелось бы понять, как вы разрешаете старую проблему теодицеи? Теология здесь обычно вводит учение о первородном грехе. Через грехопадение в мир вошли зло и смерть. Как вы на этот счет рассуждаете?

Мастер отошел к окну; оттуда ему видна была полоска благословенной лужайки по эту сторону парка... Там полетному освещенные люди безмолвно сновали в разные стороны с несложными хозяйственными поручениями. Надо было отвечать Епископу, но, к счастью, его предупредила Зора (успевшая выпить чашку кофе).

— Мы считаем, что это детская постановка вопроса, — сказала девушка. — В субатомных или в сверхкосмических планах закон причины и следствия нарушен. И искать для всего начала бессмысленно. От этих наивных привычек надо раз и навсегда отказаться. Так что зло, появившееся вдруг в мире, не имеет причины и не является следствием.

— Вот как, — вежливо изумился Епископ.

— Да, да, — серьезно кивала светлой головой девушка. — Кроме того, — спешила она, — тут входит в игру еще принцип комплементарности. Материя — частица и материя — волна, но этого нельзя брать вместе, одновременно. Так и с Богом: Он вседобр и Он всемогущ. Но это разные Его образы, нераздельные и неслиянные.

Чако решительно шагнул к окну и, вытянувшись, покраснев, прошептал едва слышно для Мастера:

— Я вам не буду мешать. Я не буду помехой. Лучше смерть.

По дороге к парку неторопливо и размашисто шла тяжелая глухонемая, напоминая большую женственную и хищную птицу (быть может, кондора). Вдруг она тревожно оглянулась, потом замерла, грозно пожирая глазами окна замка... Она не могла видеть гостя в тени, за массивным стеклом, но тому стало неловко и он поспешно отвернулся. Если бы эта ведьма теперь взмыла верхом на помеле, то Касьян отнюдь бы не

удивился. Он услышал свое имя — как из подводного царства: Зора звала его. Над нею, неистово вопя что-то, склонился Феликс с искаженным лицом обманутого отца.

— Вы слышите, профессор? — повторила она, все еще светясь, не умея сразу потушить внутреннее сияние.

— Нет, я не слышал, простите. Но, вероятно, это к лучшему. Я ухожу в гостиницу, — он взглянул на Зору и радостно улыбнулся.

VI

Глухонемая не могла еще далеко уйти, и Касьян быстро зашагал в сторону леса. Но колдунья точно сквозь землю провалилась.

"Ошибка заключается в том, что я придерживаюсь направления, которое мне кажется правильным", — по старой привычке шептал Мастер: его отчим рано внушил ему, что нет более интересного собеседника, чем собственная персона. "Отказаться от старых представлений — это самое трудное и редко когда удается своевременно, — размышлял он вслух. — Человек только делает вид, что соглашается с новыми данными. На самом деле он готов привести сотню доводов, оправдывающих его прямолинейную настойчивость".

Мастер резко свернул в сторону и побрел целиною: подлесок здесь состоял из орешника, осины и сплошных кустов багульника, издававших острый целебный запах.

На просеке, у скирды свежего сена, цыган Маркали работал вилами. В красной рубаше с раскрытым воротом, с медным крестом на мокрой груди, улыбаясь нелюдскими глазами, серебристогривый, темно-лиловый, он походил на языческого веселого бога, стареющего или обреченного. Не дожидаясь вопроса, Маркали, вытирая пот с крепкого чела, сказал:

— Вот, за грибами пошли, — и показал рукою куда.

Действительно, там Мастер нашел этих женщин: разного возраста, разной внешности, но объединенных одним духом красоты, жизни, страсти. Глухонемая была в своей бурой ша-ли; Катерина-цыганка сняла цветной платок с головы и теперь с рассыпавшимися, щедрыми волосами походила на русалку

или наяду, интимно знакомую с фавнами и сатирами. Впрочем, Катерина держала в руках корзинку и время от времени весьма старательно, нагибаясь, подбирала мелкие блестящие грибы. Глухонемая рвала только травы и ядовито-яркие маленькие грибки, собирая все это в белый платок.

Лес казался запущенным и диким. Солнце освещало верхушки деревьев: изредка они вдруг начинали кланяться — все сразу — и тянуться в одну сторону. Там, наверху, жили многие существа, гудели насекомые, слабо пищали птицы. Но здесь, внизу, как на дне океана, царила уже полусмерть: только изредка в сумраке прожужжит заблудившийся шмель или пробежит испуганная мышеобразная тварь, явно принадлежащая подземелью. Пахло кедром, сосною, сыростью. Вот опять над кронами прошелестела живительная волна ветра, не проникая вглубь (и эти волны воздуха, так же как морские, отражали строение подпирającego их дна, изгибаясь и опадая в зависимости от его рельефа).

Изредка в неожиданных местах встречалась пентаграммой растянута паутина, в которой бился солнечный зайчик: создавалось впечатление, что лишенный света паук ткал свою пряжу, подстерегая именно эту добычу.

В некоторых местах валежник, мох, дерн все-таки были прикрыты кружевом дневного света, но эти яркие пятна почему-то были круглые или овальные: не тени листьев походили на листья, а свет, огибавший их и ложившийся на землю. Это странное явление почему-то обрадовало Мастера и он поравнялся с медленно бредущими женщинами.

Катерина нисколько не удивилась новому спутнику; сверкая браслетами и влажным ртом, она, посмеиваясь, предложила ему тоже заняться грибами. Глухонемая упорно его не замечала.

— Вот рыжик, а это сыроежка, — лукаво объясняла цыганка. — А белые с поднизу не следует трогать, яд в них, как в гадюке.

— Я переезжаю в гостиницу, хочу попрощаться, — торжественно промолвил Мастер.

— Да что ты, дружок, мы еще встретимся, встретимся не раз, — откликнулась цыганка и быстро скрючила пальцы несколько раз подряд: глухонемая в ответ замычала.

Здесь много лекарственных трав? — любезно осведомился он, обращаясь к старухе.

— Вы осторожно, господин хороший, — скороговоркой заметила Катерина. — Ключница вас не любит.

— А кого она любит?

Глухонемая что-то прошевелила яркими губами, и Катерина перевела:

— Не будет вам ничего здесь. Ничего не будет, так она говорит.

— Знала она мою мать, Анюту? — спросил гость.

— Она всех знала, — подумав, ответила цыганка.

— Почему она ненавидела ее?

— Ну, милый, почему одной бабе любить другую? — удивилась та.

Глухонемая яростно мычала.

— Поганка, говорит она про Анну, поганка.

— Что значит поганка? — силился уразуметь их язык Мастер.

— Поганкой отравиться и отравить можно, вот что, голубь хороший, — уверяла цыганка тоном, каким гадают на картах.

Глухонемая приблизилась и ссыпала в корзинку свои травы, корешки и пятнистые грибки. Цыганка поглядела на ее по-змеиному шевелящиеся губы и донесла:

— По ночам белой волчицей бегала и кровь Епископа пила.

— Ах, вот оно что. Мать была оборотнем, — серьезно повторил Касьян. — А я думал, что это старая ведьма вурдалак и поедает козлов.

— Это, конечно, тоже бывало, — шепотом, посмеиваясь, рассказывала Катерина, отвернув лицо от кастелянши. — Но твоя мама лучше бегала, она, голубь, моложе была, а Епископу это очень нравится и нравится...

Колдунья опять мычала и печатала злыми алыми губами.

— Ничего ты здесь ровным счетом не получишь. Близок локоть, да не укусишь. Погляди, милый, назад, погляди, хороший, — напевала цыганка.

Он послушно повернулся спиной к женщинам и через мгновение почувствовал острый укол в крестце: колени его беспомощно подогнулись, точно от удара электрического то-

ка. Мастер растерянно ухватился за колючую лапу ели, доверчиво сжимая ее в объятиях. Желтое кружево света переместилось на дне; по-прежнему пахло тлением и хвоей. Обе бабы по-разному, но выражая то же чувство, засмеялись.

— Так она и сердце проколет сыну Анюты, — весело пояснила Катерина.

Он смущенно растирал крестец; омертвевшие ноги медленно возвращались к жизни: мурашки лапками теребили кожу.

— Отчего умерла Анюта? — другим голосом (словно выстрелила) цыганка. Глухонемая, вытянувшись во весь рост (очевидно, собираясь взлететь), с упоением глядела на край зеленого неба, подрагивающего в просвете между готическими соснами.

— Доктор лечил от болезни крови, — с трудом выдавил из себя Касьян.

Катерина значительно кивнула головой и продолжала:

— На Кассиана умерла? На прошлого Кассиана?

— Да, кажется. Конец февраля. Вы откуда знаете?

Глухонемая начала издавать подлые, неприличные, тупые (как из промежностей) звуки горлом, надо полагать, смеясь. Издалека доносился чистый, печальный, размеренный крик кукушки, и старая ведьма, взмахнув рукою, что-то пробормотала.

— Ты, как та кукушка, — перевела Катерина. — Кладешь яйца в чужое гнездо. Только не выйдет это. Так она полагает.

— Скажи гадине! — крикнул гость. — Скажи этой гадине... — он смолк, мотая опущенной вниз головою и криво усмехаясь ("Как, однако, тяжело разорвать причинно-следственную цепь в некоторых личных случаях").

Глухонемая вдруг близко подошла к нему, тяжело дышащему, и погладила по плечу.

— Совсем как Анюта, — раздался поющий голос Катерины. — Совсем как она ты сердишься.

А глухонемая, повернувшись, уже размашисто шагала, не разбирая дороги: кусты багульника расступались перед нею. Вскоре только ее широкие плечи и голова еще плыли над орешником и папоротником: казалось, то летит по воздуху торс гигантской ведьмы в буром платке.

Лес рывком стемнел: вероятно, там, наверху, облако застлало солнце. Но здесь, на дне, этого не видно было и чудилось, что уже наступает (преждевременно) вечер.

— Вы, Анютин сынок, не смущайтесь, — говорила вкрадчиво Катерина. — Что будет, того никто еще не отгадал. Врет глухая, вру и я.

— Зора не лжет, — возразил гость.

— Любишь девку? — спросила она. — Это хорошо. И у меня дочь, может, ее тоже полюбит добрый человек. У нас на роду проклятие: малолетними растлевают... Взял бы ты мою Катерину в город: красавица, лучше не сыщешь. Тоже, должно быть, кукушка в чужое гнездо снесла, — невесело закончила цыганка.

Мастер протянул ей руку: — Прощайте.

— Куда прощайте. Мы еще не раз свидимся. И на картах погадаю, и Катерину свою приведу. Не зарекайся.

Касьян спустился напрямик в котловину, по его расчетам ведущую к реке: ему не хотелось возвращаться назад, к замку. Он пересек не без приключений топкий луг, затем начал продираться сквозь цепкий кустарник, уступавший вдруг место песчаным оврагам и базальтовым утесам. Наконец выбрался на скалистую тропу над самой рекой: в этом месте, еще стесненная ущельем, она текла бурно и грозно. Полуразрушенная каменная стена, должно быть, отгораживала охотничьи угодья замка; Мастер перелез через нее и вскоре увидел издалека лежащий, как на полотне Сезанна или Писсаро, старинный деревянный мост, ведущий к розовой площади.

Там уже все было знакомо. У фонтана древнеримской эпохи Филолай поил лошадей и осликов. Животные напряженно цедили мягкими губами холодную воду; по всему можно было догадаться, что это занятие их удовлетворяет и кажется вполне серьезным, нужным (никаких вопросов — "зачем", "почему" здесь не возникало). Мастер Касьян впервые за весь день вздохнул с облегчением, как человек, избежавший большой опасности. С чувством братской солидарности потрепал по атласной шее благородного, арабских кровей жеребенка; тот повел круглым, желтоватым оком, как бы говоря: "О чем тут спорить, все мы Божьи..."

Даже свора злых псов (с вожаком в белой манишке бульдога) вызвала улыбку одобрения гостя, а с Филолаем он поздоровался совсем по-приятельски.

Оказалось, что цыган уже успел принести чемодан, и комнату ему отвели одну из лучших: на втором этаже, с окном во внутренний двор. Действительно вместо прозаических лавок Касьяну теперь видны были чистенькие денники конюшен и хлевов: из распахнутых дверей то и дело высовывались головы осликов, лошадей, овец, коз, даже коров... Все они делали гостю предостерегающие знаки: мотали мордую, прядали ушами, фыркали, не переставая, однако, с наивным усердием работать своими крупными челюстями.

Разложив и развесив свой нехитрый гардероб, Мастер спустился вниз (отказался от кофе) и побрел по серпом выстроившимся на площади лавкам... Где покупая сладости или игрушку местного производства, а где просто болтая с туземцами из долины.

Село готовилось к завтрашней своей ежемесячной ярмарке: каждый первый четверг после новолуния. На эти заурядные базарные дни съезжались только местные хуторяне да два-три торговца из города. Зато раз в четыре года на престольный праздник св. Кассиана (29-го февраля) народ стекался сюда из самых отдаленных мест: от грани Австрии вплоть до Адриатического моря. Тогда, по рассказам старожилов, село превращалось на целую неделю в некий Вавилон или Париж (14 июля). Площадь днем и ночью освещали фонарями; брага и сливовица, как полагается, лились рекою. Сласти, пряности раздают даром. Кружева, ковры, чернослив, орехи, кукуруза, скот, кожа, посуда — все уходит за гранитные ворота долины, пропуская назад возы ситца, сукна, керосина, соли, спичек... И, разумеется, повсюду музыка, бойкие раскрашенные девицы с голыми животами, фокусники, картежники, даже рулетка (колесо фортуны).

А кому любо душевное или духовное, тот посещает церковь: днем и ночью службы, шествия с хоругвями вокруг площади и даже через мост к замку. Народ повсеместно поет тропарь или кондак преподобного: обходят дома, магазины, склады с зажженными свечами. Случается и пожар, и кража, и

драка: не без того, конечно. Картежники мечут банк в трактире. Даже дети участвуют в забавах и спортивных состязаниях: взбираются по очереди вверх по намыленному столбу... Победителя награждают парой сапог или сарафаном. Бабы запасаются на четыре года белилами, восточным маслом и секретными травами.

— Да, уж на Кассиана у нас весело, — повторяли мужики на все лады. — Главное, что погода расчудесная. Вот приезжай, увидишь, недаром тебя Кассианом нарекли.

И Мастер обещал вернуться когда-нибудь сюда на Кассиана. Между тем на площади быстро выросло несколько навесов, шалашей, ларей; хуторяне выгружали из телег товар к завтрашнему базарному дню.

У ограды церкви мальчик лет одиннадцати выделял какие-то замысловатые пируэты (словно из балета). Его тоненькие голые руки извивались в воздухе, как лебединые шеи; он перебирал ногами и пружиня становился на пуанты. Уже самый факт, что ребенок был один (а не в стайке с другими), казался странным, а движения его, лунатические, театральные воистину поражали случайного свидетеля. Впрочем, никто, кроме гостя, этого не замечал, равнодушно шествуя мимо мальчугана или отворачиваясь от него.

— Ты почему так... радуешься? — спросил Мастер.

Мальчик не отвечал, но оказалось, что, кружась на пуантах, он все время шепотом пел или декламировал какой-то стих. Можно было разобрать:

— Она прелестна... Она чудесна... Взяла цветок... — повторял он, продолжая плыть вдоль ограды белой церкви и перебирая гибкими, выразительными ручонками, как делают мимы. — Она прелестна... она чудесна... она взяла цветок и улыбнулась... — блаженно посмеиваясь, докладывал он домам, собакам, хуторянам, чужеземцам и осликам (спешившим на торжище).

Можно было догадаться, что мальчуган подарил девочке цветок, та благосклонно приняла дар и это повергло кавалера в состояние блаженного транса.

— Да ты никак влюблен? — сказал, смеясь, Мастер. — Сколько тебе лет?

— Одиннадцать.

— Нет, тебе нет еще одиннадцати.

Мальчик казался озадаченным: на минутку даже замедлил танец.

— Почему нет? — спросил он.

— Тебе одиннадцать без шести недель.

— Врешь! — и хитро жмурясь, покачивая в такт головой, он продолжал дальше свое религиозное песнопение. — Она прекрасна... она взяла цветок... она чудесна.

— Пошел вон! — раздался старческий крик, прерываемый сухим кашлем: то древний священник, высокий, согнутый дугою, едва передвигая длинные ноги (под черной рясою), как на ходулях, бежал из-за ограды, размахивая библейским посохом. — Повадился, сукин сын, целый день шляется под окнами.

— Что это с ним, о. Нектарий? — осведомился Мастер запросто, точно обращаясь к старому другу.

— Дьявол! Вот что, дьявол! Катерина, цыганочка, у меня стекла моет. Так он, поганец, как муха льнет. Вот я тебя...

Танцор, отпрянувший было к мосту, снова приблизился и восхищенно закружил на цыпочках, теперь уже у самой церковной паперти. А из окна во флигеле вдруг высунулось крошечное, матово-синее личико с огромными зелеными глазами: лиловые волосы были так стянуты, что вся головка казалась не больше горошины. Первое впечатление было, что это зверек: маленький, хищный. Но зверек улыбнулся и стало ясно, что это змейка: умная, добрая, ядовитая змейка. Батюшку ее улыбка не очаровала: погрозив ей посохом, он устремился (всем телом, хотя ноги отставали) за плавно удаляющимся на пуантах влюбленным мимом. Арбы с грузом, скот, цветные ларьки и шатры медленно, неудержимо заливали розовую (уже остывавшую) площадь.

(Продолжение следует)

Иван Акимов

* * *

Душевным недугом умучен
За предков тайные грехи,
Я на песке чертил сыпучем
Мои ненужные стихи.
И много песен невеселых
Я начертал по мере сил,
Чтоб ветер ласковый замел их
И дождь услужливый прибил.

* * *

Печать лежит на всех моих трудах,
Чтоб охранить от темной зимней стужи
Весенним солнцем взрощенные души,
Чтоб их не тронул первородный страх.
Но, если можно, сохрани в ушах
Твоих, мой друг, всю красоту созвучий,
Что на лету своей звезды падучей
Отпавший Ангел мне напел в стихах.

* * *

Там мертвый мир уж не раскроет вежд
Холодным утром осени глубокой.
Там кладбище несбывшихся надежд
Волнуется полночною морокой.

Послышатся ль знакомые шаги,
Мелькнет ли тень, но стынет зов безгласный.
Там прерванные замкнуты круги
И поздние раскаянья напрасны...
И эхо, ударяясь о гранит
Подземных скал, бездушно повторяет:
«Кто душу потеряет — сохранит
Кто душу сохранит — тот потеряет».

* * *

Еще один бесцельный день
Уйдет во мглистый зимний вечер
И чью-то сгорбленную тень
Встревожат трепетные свечи.
В окне замечется узор
Взметнет испуганные руки
И будет слышен дальний хор
И погребальный звон разлуки...
Кому ты молишься? — Молчи
И знай отравленное слово:
Мы были некогда в ночи
И в ту же ночь уходим снова.

* * *

Но избави мя от лукавого!
Вся душа моя им полна.
Нет ни левого, ни правого,
Ни верха, ни дна.
Я старался постичь законы,
Я хотел быть верным рабом,
Я молился на все иконы,
Бился об пол челом...
Свет Твой, Господи, в небе ярок.

Но у нас-то, тут, на земле,
Ярче светит сальный огарок
Ночью зимней во мгле...
И ни левого, ни правого
Не видать на моем пути...
Но избави мя от лукавого
И прости!

1926

(печатано в Париже А. Куприным)

* * *

Темной ночью воют волки
На замерзшие осколки,
На густой туман.
Там слепой калека, нищий,
По осколкам хлеба ищет.
Хлеба нет — обман.
Было плохо, станет хуже,
Ход становится все уже.
Впереди тупик.
Там сожженная обитель,
На кресте висит Спаситель,
Головой поник.
Под руинами столетий
Ждут задавленные дети
Страшного суда.
Но суда теперь не будет,
Эту землю Бог забудет,
Бросит навсегда.

* * *

Твои духи забыла ты,
Ты позабыла снять оковы
Твоей нелепой суеты
Твоей мороки бестолковой...

Но ты забыла твой флакон,
 Ушла. И в этом стихшем мире,
 Как в вечер после похорон,
 Бродили тени по квартире...
 Ушла. Был вечер тих и синь.
 И чьи-то пальцы на рояле
 В раскрытых окнах повторяли
 "Аминь. Аминь. Аминь. Аминь..."

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе
 Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти.
 Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honore. 75008 Paris.

ПОДПИСКА НА «РУССКУЮ МЫСЛЬ»

(В указанные цены входят
 почтовые расходы)

О б ы ч н о й п о ч т о й :

	6 мес.	1 год
Франция:	250 F	400 F
Другие страны:	400 F	600 F
	(73 \$)	(110 \$)

А в и а п о ч т о й :

Европа и Северная Африка:	450 F	680 F
	(82 \$)	(124 \$)
Израиль, Иран:	510 F	720 F
	(91 \$)	(131 \$)
Америка, Южная Африка:	550 F	790 F
	(100 \$)	(144 \$)
Австралия, Япония:	650 F	860 F
	(119 \$)	(157 \$)

Всеволод Сечкарев

РЕЗОНЕРЫ-ФИЛОСОФЫ В РАННИХ РОМАНАХ МАРКА АЛДАНОВА

(ЛАМОР И БРАУН)

В немногочисленных литературоведческих статьях об Алданове критика большей частью занималась Алдановым как писателем, и слишком мало внимания обращалось на тот факт, что он не только выдающийся писатель, но и мыслитель.

Его чисто философская книга "Ульмская ночь" (1953) подводит лишь итог его мировоззрению, выраженному в его романах, повестях, рассказах и очерках. Его безукоризненный, умышленно незатрудненный язык, кажущийся простым и легким, захватывающее интерес действие, умение создавать живые, убедительные характеры персонажей приводят к тому, что философский уклон его творчества забывается.

Свои философские воззрения Алданов предоставляет развивать персонажам, которых можно сравнить с "резонерами" морализирующих театральных пьес и дидактически-морализирующих романов прежних времен. Только здесь персонажи никак не проповедают "мораль". Исходя из глубоко-пессимистического мировоззрения (философия Шопенгауэра наравне с философией Декарта особенно сильно влияла на Алданова), они сопровождают комментариями явления нашего мира,

Очерк Всеволода Михайловича Сечкарева печатается по его немецкой книге: V. Setschkareff, Die philosophischen Aspekte von Mark Aldanovs Werk. (Vorträge und Abhandlungen herausgegeben von P. Thiergen, Band 30, 1996. Verlag Otto Sagner, München.

действия человечества и человека как такового, так же как и поведение персонажей и события в каждом романе.

Особенно яркими и идеологически значительными выделяются Пьер Ламор в тетралогии и Александр Браун в трилогии¹.

Ламор принимает мало участия в действии романов как таковых. Он выступает в регулярно повторяющихся эпизодах и играет роль иронического, скептического, хотя и все понимающего комментатора как к историческим событиям вообще, так и к действию романа в особенности. В его точных и иногда резко сформулированных изречениях (здесь особенно ясно видно, насколько виртуозно автор владеет русским языком) и в блестящих афоризмах Алданов часто выражает свое собственное воззрение на мир и на людей.

То же самое относится к знаменитому химику Александру Брауну в трилогии. Он идеологически очень близок к Ламору и иногда даже повторяет его взгляды почти дословно. Его происхождение, так же, как и происхождение Ламора, остается умышленно не вполне выясненным. В действии трилогии Браун все же принимает большое участие. С идеологической точки зрения, он и его собеседник, начальник политической полиции России Сергей Федосьев ("он ведал политической полицией империи", К. 32), играют выдающуюся роль. Их философски-значительные споры блещут остроумием и эрудицией. Это, собственно говоря, не "споры", так как они вполне сходятся в своих основных убеждениях. Алданов вообще охотно употребляет форму диалога, чтобы яснее, живее и без предвзятости высказать свои мнения. Ту же самую форму он применяет в своих чисто философских работах, например, в

¹ Тетралогия, под общим заглавием "Мыслитель" состоит из следующих четырех романов: "Девятое Термидора" (1923), "Чортков мост" (1925), "Заговор" (1927) и "Святая Елена маленький остров" (1923, изд. второе 1926). (Сокращенно цитируется: Д. Т., Ч. М., З., Св. Е. Указанные страницы относятся к этим изданиям). Трилогию составляют романы: "Ключ" (1930), "Бегство" (1932), "Пещера" (1932/1936, первое издание вышло в двух томах). Указанные страницы относятся к этим изданиям, за исключением "Ключа", который цитируется по изданию Нью-Йорк, 1955. Сокращения: К., Б., П. 1 и П. 2.

"Ульмской ночи" (участники разговора А. и Л.) и в раннем произведении "Армагеддон" (участники "Писатель" и "Химик").

Пьер Ламор появляется уже в прологе к роману "Девятое Термидора" в образе Ваятеля. Алданов не указывает на это в самом романе, но в предисловии к третьему изданию он упоминает, что его часто спрашивали, существовало ли в действительности лицо, изображенное в тетралогии под именем Пьер Ламор. Он отрицает это, как вообще он всегда решительно отрицал все попытки "узнавать" современников в своих романах. Ламор, говорит он, "образ вымышленный", что следует уже из связи, существующей между ним и Ваятелем пролога, вымышленное действие которого происходит в 13 веке. Эта связь безусловно существует как во внешнем облике обоих, так и в их мировоззрении и даже в некоторых деталях: у обоих "усталое, темно-желтое лицо", "холодные и недобрые глаза" (Д. Т. X, 258), оба отрицают жизнь и оба заботятся о своем здоровье, и с совершенно одинаковыми движениями принимают капли (Д. Т. X, 258). Оба невыясненного происхождения и оба пессимисты, презирующие людей. Правда, что касается Ваятеля, который создал статую "Le Diable Penseur" на одной из башен собора Notre Dame de Paris, то эта неясность несколько уменьшается. Описание статуи приводится Алдановым в самом конце романа "Девятое Термидора": "На перилах сидело каменное чудовище. Опустив голову на худые руки, наклонив низкую шею, покрытую черной тенью крыльев, раздувая ноздри горбатого носа, высунув язык над прямой звериной губою, бездушными, глубоко засевшими глазами в пропасть, где копошились люди, темный, рогатый и страшный, смотрел "Мыслитель" (Д. Т. 375). На испуганное восклицание монаха: "Нет, брат, это ты напрасно изваял... это насмешка и грех. — Не насмешка, — ответил глухо Ваятель. — Я не стал бы смеяться над самим собою..." Это значит, что в облике Diable Penseur Ваятель создал портрет самого себя, правда, в символически карикатурном виде. И из этого опять-таки можно заключить, что Ваятель 13-го века и Ламор не что иное, как воплощение всегда существовавшего коренного отрицания именно этого мира и человечества как оно есть, т. е. неразумного, даже противоразумного и поэтому обреченного

стать жертвой зла. И Ваятель, и Ламор приверженцы разума, который как таковой никак не зло. Но не пользоваться разумом или, еще хуже, злоупотреблять им (например, фанатической верой в его абсолютное первенство) — это, безусловно, зло. Человек употребляет ту маленькую, ему данную долю, в общем лишь искру разума, исключительно для злодеяний. В "Фаусте" Гёте Мефистофель говорит: "Он эту искру разумом зовет/ И с этой искрой скот скотом живет" (Пролог на небе. Перевод Б. Пастернака). Но сам человек *страдает* от этой двойственности: наличием "озаренья Божьей искрой изнутри" (там же), т. е. разума, с одной стороны, и злоупотреблением этим разумом, с другой. Поэтому персонажи Алданова, отрицающие этот мир, при всем своем презрении к человеку в то же время страдают человечеству. Итак, без натяжки можно бы сказать, что в Ваятеле, Ламоре и до известной степени в Брауне Алданов сознательно хотел воссоздать Мефистофеля из "Фауста" в его во все времена возможных воплощениях. Все трое могли бы сказать то же, что говорит Мефистофель о нашей земле: "Да, Господи, там беспросветный мрак./ И человеку бедному так худо./ Что даже я щажу его покуда" (там же).

Нет сомнения в том, что Алданов был очень хорошо знаком с произведениями Гёте. Гёте часто упоминается и неоднократно цитируется в его романах. К столетию смерти Гёте Алданов написал проникнутую глубоким уважением и восхищением статью ("Современные Записки", № 49, 1932), где говорит: "В катастрофические времена мы особенно обязаны помнить о бесспорном. А Гёте бесспорнее всего и всех... Гёте, конечно, самая великая умственная ценность истории" (стр. 264). При столь высокой оценке Гёте кажется вполне вероятным, что Алданов мог избрать Мефистофеля прообразом своих отрицающих мир персонажей. Как и в Мефистофеле, в них при всем ироническом рационализме чувствуется что-то демоническое, мистическое, таинственное. Героиня "Трилогии", Муся, мысленно всегда соединяет Брауна с Мефистофелем, правда, из оперы "Фауст" Гуно. В связи с Брауном несколько раз упоминается заклинание цветов из "Сцены в саду".

Ламор, по-видимому, много путешествовал; он говорит как очевидец о Колорадо и Цейлоне (З. 36 и 261/262). Человек он, безусловно, необыкновенный, страстно интересующийся политикой, по его словам, "из любопытства или из отвращения" (Ч. М. 123), а также теми, кто политикой занимается: "Я знаю всех, это моя профессия" (Ч. М. 243). Он сам себя называет "коллекционером человеческой глупости", но прибавляет, что это занятие успело ему надоесть (З. 262).

В романе "Заговор" даются некоторые факты из его биографии, как бы с целью отвлечь внимание от нереальности его личности как таковой. В разговоре Наполеона с Талейраном упоминается, что он теперь (1801) живет в Петербурге как французский агент. Во время неаполитанской революции (1798/1799) он пребывал в Неаполе в качестве французского комиссара (Ч. М.). Талейран находит, что с его мнением считаться не мешает (З. 197). Он говорит, что знаком с Ламором давно, но мало о нем знает, хотя и пытался наводить справки. "Это таинственный человек с немалым, плохо выясненным прошлым. На вторых ролях часто суетятся такие никому не ведомые странные люди. Если не ошибаюсь, он выкрест из евреев. Знаю также, что он занимает видное положение в масонских организациях" (З. 198). В "Девятое Термидора" о нем без уверенности говорят, что он "по происхождению потомок маранов — давно выкрестившихся испанских иудеев" (Д. Т. 258). Штаалю, герою первых трех частей "Тетралогии"², он напоминает "одного престарелого еврея, которого знали в Шклове как учнейшего из раввинов" (Д. Т. 208). После долгого разговора с Ламором Талейран поражен выражением бесконечной усталости на его лице: "В эту минуту ему на вид можно было дать сто лет. Морщины на его восточном лице сложились так плотно, что раздвинуть их казалось трудно, не порвав этот желтый пергамент" (Ч. М. 127).

Пресыщение, скука, усталость древнего врага рода человеческого (который, как можно заключить из его слов, на

² О Штаале см. рецензию на "Заговор" Михаила Осоргина, "Современные Записки", № 33, стр. 523-525.

самом деле знает весь мир) особенно ясно выступают в таких намеках. Сострадательный Сатана пресыщен злом, встречаемым им всюду и во все времена. Суждение Наполеона о нем ("тоскливый, злой старик. Терпеть не могу скептиков". З. 197) в конце концов меняется им самим:

"Я знал в начале своей карьеры одного странного старика... У него было несколько имен, и никто точно не знал, кто он, собственно, такой. Даже моя полиция не знала. Шутники называли его вечным жидом. Позже я потерял его из виду, так и не знаю, куда он делся. Он мне предсказывал мою карьеру. Я теперь вспоминаю его мысли... Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. Может быть, не хотел. А может быть, не умел... Мне он все предсказывал, что меня погубит вера в славу..." (Св. Е. 126/127).

Конкретное и мистически таинственное в Ламоре переплетаются на протяжении всей тетралогии. Во всех своих десяти эпизодах он возникает как бы из мрака. О том, как мысли зреют в его мозгу, не говорится; они лишь высказываются в блестящей формулировке. Не известно также, как он сам думает и судит о людях. Мы никогда не видим его одного с самим собой. Фон собеседника всегда с ним. В этом он отличается от других персонажей, мысли, мнения и взаимные связи которых всегда пространно передаются, и этим создается то, что называется "характером".

Его собственный, очень ярко выраженный характер, скажется почти только в его поразительном красноречии в диалогах, которые он сам называет "болтливостью". Тематика и уровень его разговоров соотносятся с уровнем и общественным положением собеседника. Эти собеседники — главным образом юный Штааль, химик и революционер-идеалист Борегар (с ним он в тюрьме, ожидая казни³, ведет философски значительный разговор, Д: Т. 337), мистик и алхимик Бара-

³ Казнят, правда, только Борегара. Имя Ламора, как ни странно, не внесено в список казнимых, хотя он тоже приговорен к смерти. Это опять-таки намек на его не вполне посюстороннее естество.

таев, упрекающий его в "утомительном" пессимизме и замечающий значительно, что болтливость "от дьявола" (Ч. М. 244) и, наконец, как реально существовавший исторический персонаж Талейран, с которым он беседует о законах истории, о политике и метафизике (Ч. М. 244 и сл.). Как оратор и участник в оживленной дискуссии он выступает на приеме генерала Талызина в романе "Заговор". Самые ядовитые его парадоксы направлены здесь против масонства, к которому он сам принадлежит.

Этим "дьявольским" красноречием Алданов достигает того, к чему, очевидно, стремится: Ламор становится менее реальным, несмотря на точное описание его внешнего облика во всех деталях, но зато усиливается чувство какого-то потустороннего холода, чего-то неуютного, даже опасного. При всем том, как и Мефистофель, он не без всепонимающего юмора смотрит на людские слабости и даже способен к состраданию, как, например, к неаполитанским революционерам, горькую участь которых он предвидит, или к жирондистам, казненным в начале террора (Ч. М. 242 и Д. Т. 249). Он способен сочувствовать (правда, лишь теоретически) даже мистике своего антипода Баратаева, да и его характеристика платонической любви (З. 105/106) доказывает, как глубоко он понимает и вживается в человеческую душу.

Темы в диалогах Ламора повторяются и перемешиваются, но всегда в новых, иногда неожиданных формулировках и остроумных сопоставлениях.

Преобладает тема *истории*, которую он рассматривает как сумму *случайностей*. Исторические времена последовали за долгим периодом, когда человек пребывал в *естественном состоянии*. С ростом его самосознания, надо бы предполагать, должен быть связан и рост разума, и поэтому должна была бы пойти на убыль и главная, выдающаяся черта преобладающей части рода человеческого: черта эта — *глупость*, или, мягче выражаясь, поразительная его ограниченность. История с ее, под углом зрения вечности, бессмысленными войнами и революциями, при которых в общем лишь случайный *успех* и *мнимый прогресс* в конечном счете управляются необъяснимой

судьбой, т. е. *роком*. С глупостью обыкновенно связано зло. Реальное существование зла облегчает Ламору, без натяжки, переход от истории к *этике* (нравственный закон) и к *метафизике* (бессмертие души). Вопросы культуры и искусства, конечно, переплетаются с проблематикой истории.

Скептицизм Ламора, его пессимистический взгляд на историю, его презрение к людям вообще, его холодный, иронический ум не совсем беспробудны: Баратаеву, удивляющемуся тому, что можно, как Ламор, "издеваться над тем, о чем не имеешь представления" (З. 38), и утверждающему, что у него нет души (З. 40), Ламор отвечает, что он во многом гораздо ближе к Баратаеву, чем он думает:

"...есть символы большой глубины, есть величественная поэзия мысли... (З. 39). Вы говорите, я все ненавижу. Это неверно. Я многое люблю. Природу очень люблю. Не то что какую-нибудь долину Колорадо (красивей я ничего не видел) — нет, самую обыкновенную природу: где есть вода и солнце и зелень, там чудесно. Даже в вашем петербургском холодном ветре есть своя прелесть. Музыку тоже очень люблю. Умные книги еще больше люблю. Только ум и талант ведь и живут вечно. Ну, не вечно, так долго" (З. 36/37)⁴.

Ламор, конечно, особенно интересуется психологией, и из его слов можно заключить, что Алданов уже в то время, когда писал "Тетралогию", создал теорию, развиваемую Брауном в "Ключе". По этой теории, в душе большинства людей существуют два мира, которые он "из ученого педантизма и для удобства изложения" (К. 210) обозначает буквами А и В. Теория эта проходит через все творчество Алданова и очень важна для понимания его мировоззрения. Браун, правда, говорит, что это только маленькое отступление в сторону (в его философской книге также под заглавием "Ключ", которую

⁴ Брауна, между прочим, также обвиняли в ненависти ко всему и в "аттилистическом" отношении ко всем ценностям (К. 207), хотя и его действия не всегда подтверждают это мнение.

он подготавливает), но, по-видимому, он подразумевает не саму теорию, а лишь терминологию, употребляемую им для "удобства изложения".

В душе большинства людей существуют два мира А и В. Мир А — это мир видимый, наигранный; мир В более скрытый и, хотя бы поэтому, более подлинный, но непременно худший, злой мир. Эти два мира совершенно противоположны друг другу, хотя иногда они и соприкасаются. Мир В никак не бессознательный или подсознательный мир. Он лишь постоянной и устойчивей, чем мир А. Хотя все иррациональное и исходит из мира В, человек мог бы отлично его видеть и осознать. Но видит он его, если вообще, то очень редко, так как мысль его, в этом отношении, ленива. Так люди и живут в своем бойком мире А, и только иногда их подлинный мир выходит наружу. В человеческом индивидууме ни один из этих двух миров ни лучше, ни хуже, ни добр или зол. Разница лишь в симулированном и подлинном, несимулированном. Конечно, как следствие долгой симуляции может создаться душевная невыясненность, и сам человек не сможет ясно отличить симулированное от подлинного. "Настоящих мерзавцев на свете мало..." (К. 211). По соотношению этих двух миров следовало бы анализировать людей и судить о них⁵.

Но совсем иную картину представляет история. У "общественных коллективов", т. е. государств, также есть свой подлинный мир В, но здесь этот мир *всегда* злой, и в известных промежутках времени (от 20-ти до 50-ти лет) это зло проявляется в виде войн или революций. Они вызываются скрещением различных цепей случайностей. Теорию случайностей, в связи с теорией вероятности, Алданов убедительно развивает в книге "Ульмская ночь" (1953), соответствующей, как можно предположить, еще незаконченной книге Брауна "Ключ". Этот неизбежный прорыв зла, черного мира Браун

⁵ О политиках Браун говорит: "Впрочем, я всегда думал, что государственные люди позволяют себе роскошь иметь два суждения: в политической работе и в частной жизни, и ни один искренний политический деятель против этого возражать не будет" (К. 155).

называет рок" (К. 214), "самое загадочное из всех человеческих понятий"⁶. Этот прорывающийся черный мир искони злой, это болезненная неразумность, объясняющаяся дремлющими в каждом человеке злобой и безумием (К. 214). По сравнению с этим состоянием абсолютный эгоизм всех и каждого был бы счастьем, так как каждый руководился бы своим личным интересом и не желал бы зла как такового. Эгоизм, как это ни грустно, вполне соответствовал бы человеческой природе и его наклонностям.

Ламор уже в первом разговоре со Штаалем называет себя фаталистом (Д. Т. 198). Он настойчиво повторяет: "К тому же я, как древний ессей (ессей — еврейская секта 2-го века до н. э. — В. С.), верю в неотразимость судьбы" (Д. Т. 207). Как и Браун, он утверждает:

"Люди чувствуют время от времени потребность скинуть с себя совершенно все цепи так называемой культуры. Очень может быть, что эта потребность вполне законна и для чего-то необходима природе" (Д. Т. 198).

Человек возвращается к "естественному состоянию" и все становится возможным. Собеседник Брауна, Федосьев, как и следует ожидать, взирая на его высокое положение в правительстве и следуя своему собственному мировоззрению, возражает Брауну, что следовало бы "захлопнуть черный мир и запереть его надежным ключом" (К, 214). Но и Ламор говорит:

"В душе человека дремлют тяжелые страсти: зависть, жестокость, тщеславие, жажда разрушения, да и просто жажда зла во всех его формах. Закон, власть, государство только для того и нужны, чтобы сдерживать зверя железом. Этот старый распутный идиот — я имею в виду Жан-Жака Руссо — что-то лепетал об естественном состоянии людей. Вот бы теперь ему воскреснуть — пусть бы полюбовался, а? Если человек на пятьдесят лет вернется к своему естественному состоянию, то мир превратится в окровавленную пустыню. К счастью или к несчастью, люди возвращаются к естественному со-

⁶ В пьесе "Линия Брунгильды" эта теория играет немалую роль.

стоянию не на столь продолжительное время. Им скоро и это надоедает. Но потребность стать дикарем неискоренима в человеке, и ей Господь Бог дает выход либо в форме войны, либо — гораздо реже — в форме революции. По природе война и революция совершенно тождественны, только первая привычнее людям и вызывает меньше удивления. Осуждать террор во время революции не менее глупо, чем осуждать убийство во время войны. Бескровная революция — такая же смешная нелепость, как бескровная война..." (Д. Т. 199).

"Сердиться на революцию — все равно, что сердиться на Лиссабонское землетрясение" (Д. Т. 200).

К этой параллели Ламор возвращается в своем следующем эпизоде:

"Революция творить не может. Единственная ее заслуга: после нее все приходится строить заново. А иногда (далеко, не всегда, впрочем), новое выходит лучше старого... Но эту заслугу французская революция всецело разделяет с Лиссабонским землетрясением" (Д. Т. 255).

На замечание Штааля, что все же есть разница между войной и революцией: во время революции убивают не чужого врага, а своих соотечественников, Ламор возражает:

"Проверьте, своих соотечественников, людей своего народа, убивают во время революции с гораздо большим удовольствием, чем внешнего врага во время войны. В гражданской войне ненависть много сильнее и жестокости всегда больше. Разница не в этом... Разница, если хотите, в другом. Революция гораздо безобразнее войны. В революции все антиэстетично: бой без знамен и без кавалерийских атак; вожди без шпаг и мундиров; грязная толпа без дисциплины, а особенно разливное море слова" (Д. Т. 109/200).

О революционной политической болтовне, да и вообще о болтовне политиков Алданов всегда и всюду говорит с презрением и отвращением. Ламору каждая страница революционных газет "представляется переложением Руссо, написанным малограмотной горничной" (Д. Т. 200). Особенно важную роль

в истории, преобладающей теме в произведениях Алданова, играет вопрос о соотношении случая и неотвратимой судьбы. В мировоззрении Алданова, развиваемом в "Ульмской ночи", трудно найти место для "рока", "самого загадочного из всех человеческих понятий", по словам Брауна. Если *все* только случайность, то понятие "рок" теряет свой смысл. Это, по-видимому, понимал и сам Алданов, иначе он не дал бы Брауну называть его самым загадочным из всех человеческих понятий. Сам Алданов различает два вида случайностей: непосредственных и отдаленных (см. "Ульмская ночь", стр. 52). Алданов прибавляет, что в классической философии *нет* точного определения случая. Но это не вполне верно. Такое определение существует у Шопенгауэра, чего Алданов, может быть, намеренно, не упоминает, так как выводы Шопенгауэра трудно согласовать с его скептицизмом. Определение это в четвертом отделе "Парерга и паралипомена" следующее: "«случайность» означает совпадение во времени того, что причинно не связано". Но по Шопенгауэру, нет ничего *абсолютно* случайного. Проследившая цепь причинностей или переплетающиеся цепи (т. е. их сеть) достаточно далеко назад во времени, окажется, что "случайное" подходило очень отдаленным, не всегда для человека понятным путем и что все же это случайное было неотвратимо и именно в этот момент должно было случиться. Все это, почти дословно, соответствует понятиям "непосредственного" и "отдаленного" случая у Алданова (см. "Ульмская ночь", стр. 52 и 84). У Шопенгауэра "непосредственное" — "gerade jetzt", а "отдаленное" — "Entferntestes". Шопенгауэр стремится доказать существование первопричины, из которой неотвратимо развивается переплетающаяся цепь бесконечного множества цепей причинностей. Влияние этой первопричины исходит из области, не доступной сознанию человека. Тесное сплетение бесконечного множества цепей причинности выходит далеко за пределы нашего представления. Цепь причин и следствий теряется в бесконечности, и так, по Шопенгауэру, оказывается, что жизнь каждого человека управляется тайной силой. Это род мистики, который у Шопенгауэра вполне гармонично укладывается в его

учение о воле как сущности и основе всех вещей (Ding an sich), но для скептика Алданова эта мистика все же не приемлема.

Ламор, правда, считает в будущем возможным развитие и при этом перемену человеческого сознания и понимания, которое сможет проникнуть в эти тайны: он считает, что на это развитие понадобится 170 000 лет. Что касается неминуемой судьбы, то Алданов, как и древние греки, различает между *tyche* — судьбой, в которой возможно уменьшить роль случая, и *moira* — судьбой, которая не подлежит никакому влиянию со стороны человека ("Ульмская ночь", стр. 264). Соответствующая параллель существует у Шопенгауэра: он различает между *demonstrablem* и *trans-zendentalem Fatalismus*.

Помимо влияния пессимизма Шопенгауэра и дуализма Декарта (миры А и В, о которых речь была выше), Алданов, по-видимому, считался также с учением персонализма, главным представителем которого является Рудольф Эйкен (Rudolf Eucken, 1846-1926).

В романе "Пещера" очень наглядно описывается лекция и личность неназванного профессора, прибывшего "из Хейдельберга или из Йены", и приводятся пространные выдержки из этой лекции на немецком языке. Насколько мне известно, в литературоведении никогда не было указаний на то, кто этот профессор. Лекцию частично записывает якобы Витя Яценко (одно из главных действующих лиц в "Трилогии") в 1918 году. На самом деле нет сомнения, что присутствовал на лекции и записывал ее сам Алданов, проживавший в начале 20-х годов в Берлине. Лекция состоялась в Берлинском университете. Своя содержание этих выписок и книг Эйкена (напр., "Человек и мир. Философия жизни", 1918), становится ясным, что этот, так замечательно описанный профессор, — именно Эйкен.

Персонализм, в отличие от дуализма Декарта, не делил человека на познающий дух и материю, а утверждал, что человек не только познает, но и оценивает опознанное, а также действует согласно результатам оценки. Не только познание и мышление, не только разум, но с ними и чувство создают живого человека. Вместо "*cogito ergo sum*" Декарта персонализм ставит "*vivo ergo sum*". Этика ценностей (*Wertethik*) играет немаловажную роль в мировоззрении Алданова в

"Тетралогии", и поэтому не удивительно, что Ламор уже говорит о ценностях.

Несмотря на основной дуализм и на часто повторяемое указание на противоречия в человеке, он все же оказывается целостностью, живым и цельным, вместе со всеми своими противоречиями (миры А и В!). Эту мысль можно также найти у Гёте.

Именно на эти противоречия любит очень подчеркнуто и выразительно указывать Ламор:

"Я хорошо знал Вольтера... Могу вас уверить, что не было большего реакционера в душе, чем этот великий словоблуд-"просветитель". Нынешние революционные болваны непременно отрубили бы ему голову — и, по-своему, были бы совершенно правы..." (Д. Т. 200). "Я лично многих знал, — продолжает он, — и до того, как они стали знамениты: они тогда, до революции, были совсем другие" (Д. Т. 201).

Он находит забавным, что богатейшие революционеры готовы отдать родине *жизнь*, но что при этом он никогда не встречал никого, кто отдал бы родине свое *богатство*:

"Это не логично, ибо жизнь, разумеется, дороже людям, чем богатство... Один из бесчисленных абсурдов, заложенных в природу человека" (Д. Т. 250).

Если кто-нибудь в революционные времена много говорит о своей честности, то это явное указание: "Значит, мы имеем дело с мерзавцем". (Ч. М. 116).

"Никто, кстати, так искренне не возмущается всяким нарушением конституции и никто так не карает посягательства против существующего строя, как люди, захватившие власть посредством государственного переворота" (Ч. М. 241; ср. также разговор с Талейраном о Макиавелли, Ч. М. 119).

Безусловно, существуют люди, "у которых не один, а несколько характеров. И добрый десяток умов на придачу" (З. 35). Витальность *цельного* человека подчеркивается особенно в таких замечаниях, как: "Ведь чего живой человек за один день не передумает, а тем более за семьдесят лет" (З. 35). Того же мнения, как мы узнаем, и Браун: "...я живой человек, а не машина

для выработки "стройного образа мыслей" и как живой человек поддаюсь впечатлениям..." (К. 225). Баратаев находит, что сам Ламор не из тех людей, у кого несколько характеров, но "души у вас и одной не найдется" (З. 40), и не вполне логично прибавляет: "Тяжел, очень тяжел и однообразен тон вашей души..." (З. 40). Выступая на большом приеме у генерала Талызина, Ламор и сам заявляет, что он не может "себе представить другого понимания жизни, кроме чисто пессимистического" (З. 60)⁷. Как высоко он ни расценивает людей, "полных жизни", которые *не только* "рассуждающие автоматы" (З. 58), он все же не может не сожалеть о том, что у этих живых людей в нынешнее время нет ни одной этической аксиомы, исходя из которой они могли бы развивать свои "рассуждения". "Я не знаю в настоящее время ни одной общепринятой ценности" (З. 58). Здесь, безусловно, имеется в виду "этика ценностей". Ценности всегда остаются те же и нерушимы, но интерес к ним и ощущение их значения подвержены колебанию — один из тезисов, развиваемых Максом Шелером и, в особенности, Николаем Гартманном, теории которых упоминаются Алдановым в "Ульмской ночи".

В забавной контрверзе с Талызиным о рабстве (т. е. крепостничестве) Ламор сознается: "Может быть, в моей душе есть и такая частица, которая жаждет полной собственности над человеком. Если я выродок, тем хуже. Но я этого не думаю" (З. 58/59). Опасный мир В в душе человека, противоречивость его души особенно подчеркивается в его словах:

"...кто знает, из каких инстинктов слагаются лучшие человеческие чувства, из каких побуждений совершаются так называемые доблестные подвиги... Шаткая, шаткая вещь человеческая душа, вот уж из нее никак нельзя сделать исходное положение: ничего хорошего не построишь" (З. 59).

"У всякого человека есть что-либо одно, самое настоящее,

⁷ Браун высказывает то же, несколько иначе: "Ведь для меня оптимизм и глупость нечто вроде синонимов" (К. 346).

самое подлинное". Ламор о себе говорит, что у него, из его долгой жизни осталась только "жажда знаний" (З. 60). Мера возможности наших объективных познаний очень ограничена, и так остается лишь *вера* в потустороннее. Ее и следовало бы сохранить для народных масс, если надо, то и кострами, как это делала Инквизиция.

Дьявольская ирония Ламора ясно выступает в таких и подобных высказываниях, тем более, что он воочию видит, как вера, потерянная после французской революции, замещается у преобладающей массы людей *не* дьявольской, а дешевой скептической улыбкой. "Прежний смысл жизни потерян, новый не найден" (З. 61). Поэтому мир стоит на краю пропасти.

Алданов старается найти выход из этого тупика в персонализме Эйкена. Его "нео-идеализм", т. е. надежда на возможность включить человека как активную личность (персона) в процесс объективного познания, заставить его участвовать в духовной жизни человечества, по-видимому, казалось Алданову единственной возможностью спасения. Но трудно себе представить, что скептик Алданов *верил* в эту возможность. Конечно, он смотрит на мир никак не со скептической улыбкой. Он, сострадая, удивляется размеру глупости большинства людей. Недаром он приводит изречение Монтеня в романе "Истоки" (I. 22): "Tous les maux de ce monde viennent de l'ânerie". (I. 22). В четкой и выразительной формулировке Ламора: "Область полномочий здравого смысла в жизни до смешного мала" (З. 106).

Рассматривая со Штаалем портреты в Михайловском замке, Ламор замечает о русском портретном искусстве:

"Лукавые люди ваши портретисты... Рисует человек этакое вельможу: какой блеск, что за величие! А смотришь — чего-то вельможе не хватает. Чего бы? Да кольца в носу — перед тобой точно разодетый дикарь. Я преувеличиваю, конечно, но что-то есть дикое и страшное в некоторых из этих портретов" (З. 258).

Замечание, характерное для разговорного стиля Ламора, и еще одно указание на противоречивость в общем облике человека.

Только что приведенное изречение Монтеня можно счи-

тать основной темой разговоров Ламора и в то же время оно один из главных факторов мировоззрения Алданова. В прологе к "Девятое Термидора" Ваятель несколько раз цитирует Экклезиаста; и в связи с внезапной смертью великого султана Саладина, и взирая на жизнь и смерть других тщеславных властителей, он кратко и внушительно говорит: "Воображение Творца велико, но бесконечно. Бесконечна в мире только человеческая глупость" (Д. Т. стр. X). Слова эти могли бы служить эпиграфом к философии истории, как ее воспринимает Алданов.

История человечества — это перечисление доказательств человеческой глупости (или, по крайней мере, поразительной ограниченности). В суждениях об истории и ее развитии Алданов опять-таки вполне сходится с воззрениями Шопенгауэра. По Шопенгауэру, история вообще не может считаться наукой, так как она не ищет познания всеобщих истин, а занимается отдельными предметами и событиями. История якобы рассказывает всегда что-то другое и новое, но на самом деле деяния и страдания народов всегда одни и те же. История подобна калейдоскопу: при каждом повороте мы видим новые узоры, хотя перед нашими глазами всегда одно и то же. История со своего начала и до сих пор повторяет все то же под другим названием или в другой оболочке. Она рассказывает о многочисленных войнах и революциях. Французская и русская революции, например, по мнению Алданова, одно и то же, что ясно выступает при сравнении "Тетралогии" и "Трилогии".

Побуждение ко всем войнам — разбойничество. Когда один народ чувствует избыток сил, он нападает на соседей, чтобы присвоить себе то, чего они достигли своей работой. Именно это разбойничество составляет материал для мировой истории с ее "героическими подвигами". Революции объясняются безграничным эгоизмом, гнездящимся в душе каждого, а с ним вместе еще и ненавистью и злобой.

Многие миллионы таким образом настроенных людей надо сдерживать в границах порядка, мира, спокойствия и законности. Проповедовать мораль и разумность людям, занятым исключительно собственными интересами, бессмысленно. Ответом на такую проповедь был бы издевательский смех.

Помочь могли бы только насильственные меры, которые должно было бы принять государство. Но только у народных масс физическая сила и у них же необразованность, глупость, бесчестность. Если же само государство также управляется не совсем честно и разумно (а в большинстве случаев именно так бывает), то развитие умственных способностей у народных масс приводит к возмущению и революции.

Все эти мысли Шопенгауэр излагает и обосновывает примерами в своем знаменитом главном труде "Мир как воля и представление" (часть 2, глава "Об истории"), а также неоднократно в "Парерга и паралипомена". Его взгляды создают фон для мнений Ламора (т. е. Алданова), причем параллели иногда дословны.

Значение и ценность историографии, т. е. писаний историков, Ламор отрицает уже в первом разговоре со Штаалем. Каждый историк пишет "ради оригинальности мысли (за оригинальность мысли ученым платят деньги)". "Нет суда истории. Есть суд историков и он меняется каждое десятилетие; да и в течение десятилетия всякий историк отрицает то, что говорят другие". "...найдутся ученые, которые... по личному убеждению будут доказывать в многотомных сочинениях, что Марат и Робеспьер были невинные ангелы, оклеветанные пристрастными современниками".

По мнению Шопенгауэра, муза истории Клио так же пропитана ложью, как проститутка сифилисом. Действительные исторические события и деятели совершенно не похожи на тех, которых описывают историки. Ламор утверждает, что только современники знают правду и имеют право на суждение. Чтобы "попасть в историю", т. е. привлечь внимание историков, нужен хотя бы мимолетный *успех*" (Д. Т. 201/202).

"Нужно проявить силу, да нагромоздить вокруг себя возможно больше трагических элементов, все равно каких. Чем больше политический (а особенно революционный) деятель прольет крови, тем больше чернил и слез прольют в его оправдание умиленные дураки потомства" (Д. Т. 202).

Историография осмыслит каждую бессмыслицу истории, как, например, "Декларацию прав человека и гражданина" или

"Общее избирательное право"; нет причин придавать ей значение или уважать бессмыслицу, которую несут все объясняющие истории. Это уважение к убеждениям других людей "проповедуют неизлечимо глупые люди, страдающие застарелой любовью к принципам британской свободы" (Д. Т. 338). Это уважение к застарелым воззрениям и идеалам, по мнению Ламора, приведет к гибели цивилизации. Французские революционеры, говорит он идеалисту Борегару, выросли с идеалами древнего античного мира:

"Бессовестный лгун Плутарх, не знавший по латыни, научил вас римской истории; отъявленный негодяй Саллюстий давал вам уроки римской морали; а порнограф Светоний, не уступающий во многих отношениях гражданину де Саду, поселил в ваших душах восторг перед римской простотой нравов" (Д. Т. 340).

С темой истории Ламор тесно связывает свою критику *демократии*. В разговоре с Талейраном он с иронией замечает: "Демократия, Талейран? О, это игрушка с большим будущим. Демократия спасет мир, она же его потом и погубит". Взирая на французскую революцию, он заявляет: "В революционное время шансы демократии ничтожны: она далекая наследница революции: не любимая дочка, а неведомая правнучка". И в виде общего исторического наблюдения он прибавляет:

"Если на мгновение демократия приходит к власти, она тотчас дарит противникам подарки: свободу слова, неприкосновенность личности и много других хороших вещей... Я не знаю случая в истории, чтобы кто-нибудь погубил демократию: она всегда сама себя губила. Заметьте, я в принципе большой ее сторонник... Счастье демократии в том, что ее противники еще пошлее, чем она сама... Однако в периоды революции демократии нечего делать и нечего лезть в историю. Представьте себе дуэль: у одного противника отточенная шпага, у другого рапира с тупой пуговкой на конце... Второй, быть может, фехтует гораздо грациознее, но у него на лезвии тупая пуговка, тогда как шпага первого несет смерть... Неравная борьба..." (Ч. М. 118/119).

Хотя Ламор и называет себя "большим сторонником" демо-

кратии, он все же во время террора мечтал, как он говорит Баратаеву, о режиме Людовика XIV и сокрушается о предстоящем исчезновении монархий:

"Пышный двор, блеск, красота, а? Взять Лувр или Версальский дворец — ведь демократия таких не построит, правда? Или Notre Dame. Ни для университета, ни для парламента, ни даже для биржи такого храма не создадут... Что и говорить, не Бог знает какие орлы нынешние европейские монархи. Но все-таки сколько красоты унесут они с собой из мира, когда исчезнут навеки!" (З. 258).

В своих речах на приеме у генерала Талызина Ламор выражает сомнение в надобности всех "ценностей" для народа, которые ему хочет подарить демократия, — как то: свобода слова, свобода печати, свобода мысли, всеобщее избирательное право. Народу все эти ценности не нужны. Он хочет хорошего заработка, а также, чтобы на каждой улице был булочник, мясник, кофейня и полицейский. "Без свободы слова проживем (хоть и очень приятно чесать язык)". Так называемых неотъемлемых прав человека народу не надо и он не знал бы, что с ними делать: "Без декларации прав человека как-нибудь обойдемся, а есть и пить хотим каждый день" (З. 56/57).

В разговоре с Талейраном Ламор рассматривает историю как арену владычества грубого насилия. Справедливость и истина всегда проигрывают хотя бы потому, что существует всегда несколько истин, и они друг друга ненавидят гораздо больше, чем ненавидят палача (т. е. насильника). "Наконец, палач тоже непременно сколачивает для собственной надобности какую-нибудь захудалую истину" (Ч. М. 109).

Ламор несколько раз цитирует Паскаля: "*La violence et la vérité ne peuvent rien l'une sur l'autre*" (§ 257).

Шопенгауэр также пишет в параграфе 127 второй части "Парерга и паралипомена" о соотношении истины (правды) и насилия. Параллели Алданова дословны. Шопенгауэр начинает кратко и выразительно: "Право как таковое немошно: от природы царит насилие".

Право и правда, иногда духовно пролагавшие себе путь

под эгидой разума, всегда прерывались насилием террора (напр., в 13-ом веке инквизицией, в 18-ом веке французским революционным террором (Ч. М. 114/115). В разговоре с Баратаевым Ламор спрашивает:

"Руссо, король трагикомических писателей, утверждал, что человек рождается совершенным — и становится мерзавцем. Что, однако, если он рождается, — скажем, не вполне совершенным? А то в самом деле, откуда взялись бы и инквизиция, и драгоннады, и террор, и санфедисты, а?... И хоть бы счастье это ему давало — нет, он вдобавок еще и несчастен. Я на своем веку видал с десятков счастливых людей — из них человек пять были круглые дураки, остальные пьяницы или, реже, фанатики. И хоть бы несчастье облагораживало, как это часто утверждают. Взор! Никого оно не облагораживает. От вполне несчастных людей веет скукой — и только. Мы инстинктивно их избегаем..." (З. 32/33).

Единственным выходом из тупика непримиримости насилия и правды могло бы стать перевоспитание человека. Оно должно было бы начинаться в ранней молодости (приблизительно 15-ти — 16-ти лет) (Ч. М. 251). Сам Ламор, взирая на природное естество человека, не очень верит в эту возможность. Но, несмотря на безнадежность такого предприятия, все же стоило бы испробовать и перевоспитание. Конечно, по природе человек "достаточно дурен" (З. 62), но его можно исправить, если взяться за это достаточно рано:

"Возьмите акробатов. Какие чудеса может производить приученное с детства человеческое тело! Только начать надо с пятнадцати лет, не позже. Ведь акробатская техника улучшается с каждым поколением. Я думаю, душа тоже поддается гимнастике. Все будущее мира зависит от воспитания молодых поколений" (З. 63).

Итак, человека надо тренировать для восприятия *не* врожденной ему морали и нравственного закона: "Нравственный закон есть нечто вроде тех акробатических фокусов, которым необходимо учить молодых людей" (З. 65).

Трудно поверить в возможность прогресса и развития человечества в области морали и нравственности, а без этого

прогресс естественных наук тоже ни к чему не приведет. Да и против космических катастроф наука всегда будет совершенно бессильна.

Правда, при помощи хорошего питания и химии (и даже алхимии) можно было бы способствовать нравственному прогрессу. Сытое человечество, вроде дикого зверя, станет более мирным и спокойным, но, вероятно, и бездарнее. Тогда в лаборатории можно будет создать и гомункулуса. "Только, пожалуйста, не "по образу и подобию Божию", — прибавляет Ламор, чтобы посердить своего собеседника, мистика Баратаева (З. 31).

Наряду с вопросами о праве и справедливости Ламор также ищет ответа на вопрос: что есть истина? Существует ли вообще одна-единственная истина? Как сказано выше, Ламор это отрицает. Уже в первом своем разговоре со Штаалем он говорит: "Как я, семидесятилетний старик, могу убедить в чем бы то ни было вас, двадцатилетнего юношу? У нас и истина, и ложь совершенно различны — это в порядке вещей..." (Д. Т. 207). При их второй неожиданной встрече в Париже он опять возвращается к этой теме: "Жизнь скверная штука, но в двадцать лет этого еще не замечаешь; и теперь, неправда ли, было бы особенно жалко умереть, не узнав, как все это кончится" (Д. Т. 248).

В философском диалоге с Борегаром в тюрьме вопрос о том, что считать правдой, выступает особенно ясно. Борегар — сторонник идеалов французской революции. Он обвиняет Ламора в том, что из-за личных обид, из-за частных несправедливостей, из-за отдельных преступлений он проглядел величайшее событие мировой истории. Ламор отвечает со свойственной ему остроумной иронией: "Да, каюсь, мне очень трудно подняться мыслью так высоко. От меня упорно ускользает красота идеала, во имя которого мне *мимоходом* отрубают голову" (Д. Т. 340). Безусловно, и во французской революции есть какой-то прогресс, но прогресс человечества длится *очень* долго: через 170 000 лет такие мерзавцы, как Робеспьер или Саллюстий перестанут пользоваться общим признанием в качестве учителей добродетели. Борегар соглашается, что Ламор

прав в перспективе *одного дня*, но что он сам прав в перспективе *века*: "Путь к добру идет через зло" (Д. Т. 341). На это Ламор приводит свой последний и неоспоримый довод:

"Вы правы в перспективе века? Но в перспективе *вечности* цена революции медный грош. Следовательно, *sub specie aeterni*, прав опять-таки я. Какое мне дело до политической свободы парижских лавочников 19-го столетия?"

В беседе с Талейраном Ламор энергично оспаривает справедливость поговорки: "*Du choc des opinions jaillit la vérité*".

"Мне, правда, не приходилось видеть, как истина возникает из столкновения мнений... Я слышал, как Вольтер спорил с Даламбером, — не было истины. А вот стукнутся лбами тридцать миллионов тупых невежественных крестьян, и, очень возможно, истина брызнет потоком. Странно, но это так..." (Ч. М. 118).

В споре с Баратаевым Ламор также высказывает несколько удачных афоризмов по поводу сомнительности так называемой правды. Он только что сообщил неаполитанским революционерам свое недоверие к ненарушимости договора, обещающего им отпустить всех невредимыми во Францию. Он думает, что теперь они возмущаются цинизмом его соображений:

"Цинизмом люди называют правду, если она очень им неприятна. Я не отношу себя к той скверной породе людей, которая *всегда говорит правду*, — это одна из многочисленных форм дурного воспитания" (Ч. М. 242).

От поисков "правды" переход к метафизическому вопросу о бессмертии души не труден. Тема эта появляется в уже упомянутом диалоге с Борегаром в тюрьме, где она легко вытекает из ситуации. (Она повторяется на приеме у Талызина в связи с масонством.) Ламор опять говорит со своей типичной скептической иронией. На вопрос Борегара: "Вы, конечно, не верите в загробную жизнь?", Ламор отвечает:

"Отчего же? В бессмертии души нет ничего невозможного. Я остаюсь при *reut être* старого умницы Рабле. Разумеется, христианская идея загробной жизни несколь-

ко скучновата; я предпочел бы магометанский рай с деревом *туба*. Но за неимением лучшего..." (Д. Т. 344).

После того, продолжает Ламор, как Робеспьер объявил себя деистом, существование Бога, в революционных симпатиях которого теперь трудно усомниться, можно считать доказанным. Борегар с горечью замечает, что если в потустороннем мире жизнь продолжается, то их, по крайней мере, ожидает удовольствие увидеть издали, как деист Робеспьер жарится в аду. Но Ламор, искушенный и в истории церкви, возражает:

"Это удовольствие, к сожалению, тоже не вполне нам обеспечено. Ориген Адамантовый утверждал, что все люди непременно спасутся и что адские огни рано или поздно погаснут" (Д. Т. 345).

Отец церкви Ориген Адамантовый (185? - 254?) действительно это утверждал, и за это константинопольский собор предал его анафеме⁸. Ламор это вполне одобряет.

Борегар напоминает, что ведь гениальные люди верили в бессмертие души, и Ламор иронически соглашается:

"Лейбниц думал, что душа человеческая после его смерти остается в этом мире, но только, отдыхая от земной жизни, пребывает в состоянии сна и ждет момента пробуждения; ждет она, впрочем, довольно долго: миллиард столетий. Цифра и круглее, и больше моих ста семидесяти тысяч лет..." (Д. Т. 345).

Как должна была, прибавляет Ламор, опротиветь Лейбницу жизнь, чтобы назначить миллиард столетий отдыха. И все-таки ему страшно было сказать: "никогда", так как люди боятся этого слова.

Кант постулировал бессмертие души и связывал его с врожденным нравственным законом. Он ясно сказал: если нет бессмертия, нравственный закон становится совершенно бессмысленным; а так как нравственный закон существует, значит, должно быть бессмертие. Взирая на исторические факты,

⁸ Эту информацию Алданов, без сомнения, почерпнул из книги: Bernard Russell, A History of Western Philosophy, Book II, Part I, Ch. II. Russell неоднократно упоминается в "Ульмской ночи".

Ламор не может верить в существование прирожденного нравственного закона, поэтому и бессмертие души для него под очень большим вопросом.

Стареющий Кант выводится как живое лицо в романе "Девятое Термидора" (стр. 94-102). У Алданова часто встречаются подобные краткие, четкие и вдумчивые зарисовки великих людей. Кант в разговоре с юным Штаалем объявляет себя единственным настоящим революционером. В сравнении с духовной революцией, им произведенной, французская революция совершенно незначительна. О старом Канте Ламор рассказывает Баратаеву (в очень характерном для него разговорном стиле вообще):

"— Канта читаете! Я проездом был у него в Кенигсберге. Лучше было бы, если б не заходил: тяжело! Он впал в детство и не меняет больше белья, подвязывает чулки к пуговицам жилета. Уверял меня, что погода составила против него заговор... Очень тяжело смотреть. Я на своем веку видел много разных *memento mori*; как, впрочем, все люди. Чем *memento mori* банальнее, тем оно действительнее. Заметьте, что и мысли, связанные с *memento mori*, всегда очень банальны. Ну труп, могила, черви, — умного ничего не скажешь. Однако впавший в полудииотизм Кант, это такое зрелище, которое не может изгладиться из памяти. Другой об этом забудет, а вспомнит "Критику чистого разума". Я "Критику" помню, но и этого при всем желании никак не могу забыть..." (З. 36).

Искусству и вообще области эстетики, о которых Шопенгауэр так много и так вдохновенно писал, алдановский Ламор уделяет, конечно, лишь мало внимания (это было бы *avant la lettre*). В связи с казнью Андре де Шенье он говорит Борегару, что, не считая себя знатоком, он думает, что этот молодой человек — величайший поэт Франции со времен Корнеля и Расина. Несмотря на его преклонный возраст, у него мороз пробежал по спине, когда обреченный поэт читал в тюрьме свои стихи мщения.

"Может быть, вся ваша революция не стоит тех нескольких страниц, которые прочел при мне молодой человек, ни за что отправленный ею на эшафот" (Д. Т. 343).

Эту восторженную оценку он, правда, тут же суживает типичным для него образом:

"И все-таки... поэты не вправе жаловаться на революцию. Сколько поэтов умерло бы с голоду, если бы Брут в свое время не зарезал Юлия Цезаря! Кто создал легенду революции? Поэты. И когда голова одного из них слетает под топором революционного палача, я отнóшусь к этому событию так, как к гибели Тюренна на поле битвы. На то он и Тюрренн. К тому же, какую богатую тему для других стихотворцев даст казнь Андре де Шенье, если ему улыбнется счастье в лотерее литературной известности..." (Д. Т. 343/344).

В этом, конечно, явный намек Алданова на Пушкина.

Лотерея литературной известности, как, впрочем, и известности политиков, которых, по мнению Ламора, надо было бы "повесить" (Ч. М. 113), для Алданова опять доказательство всюду применимой теории случайностей.

В романе "Заговор" старика Ламора забавляет новое объяснение сути трагедии, которую теперь выдумали немцы, и по которому эта суть "в воле, лишенной возможности осуществления" (З. 41).

"Казалось бы, — говорит он Баратаеву, — мы, старики, готовые трагические герои. А вот нет, занимаются нами одни комические писатели — да еще как: одного Мольера вспомнить!"

И он приходит к общему, конечному выводу: "Темная вещь искусство — никто никогда не узнает, что это такое" (З. 41). В Германии вслед за Лессингом опять много говорилось о сути трагедии. Ламор, возможно, имел в виду статьи Шиллера о трагическом искусстве, появившиеся в 1792 году: "Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen" и "Über die tragische Kunst".

Мистик Баратаев играет немаловажную роль во всем действии романов "Чортов мост" и "Заговор". Его склад ума во многом совершенно противоположен Ламору. Он не верит в торжество разума, но он также не верит в желательность бессмертия души: душа человека пока еще слишком "испорче-

на", чтобы желать ей бессмертия. В объемистой тетради он излагает свое учение, вмещающее в себя не только алхимические соображения, но и идеи масонства и розенкрейцеров. Алхимия — это не поиски средства к бессмертию, а к *очищению* души, возведению ее на высшую ступень после смерти и вырождения. Алхимия ищет соединения нескольких химических элементов, которые изменяют и возвышают свое качество и в то же время влияют на душу человека. Логически, разумом объяснить все это невозможно. Это герметический секрет, "Mystère", как выражается Баратаев. В конце "Заговора" ему, наконец, удастся соединение нужных элементов. Он вдыхает исходящие из колбы пары создавшегося эликсира и умирает. Остается неизвестным, в каком состоянии "воскресает" его душа...

Ламор, находящийся в Петербурге в качестве французского агента, всегда относится с известной иронией к убеждениям Баратаева, смешанной с уважением к его личности. Узнав (не известно, как) о внезапной кончине Баратаева, он непонятным образом (таким же странным, как отсутствие его имени в списке приговоренных к казни семь лет тому назад в Париже) получает от властей разрешение разобрать оставшиеся бумаги умершего и взять себе все, что считает нужным. После разбора явно глубоко потрясенный Ламор на вопрос сопровождающего его Штаала, были ли там интересные бумаги, повторяет четыре раза "чрезвычайно интересные" и не говорит ни слова об их содержании. В этом, быть может, слабый намек на возможность очищения даже самого Ламора, т. е. нездешнего нечистого духа. После этого он больше не появляется, его дальнейшая судьба неизвестна (З. 442/444 и сл.).

Савелий Сендерович и Елена Шварц

ЦИНЦИННАТ В ДВОЙНОЙ ЭМИГРАЦИИ

1

"Приглашение на казнь" Владимира Набокова начинается так: "Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шопотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал". Обстоятельства этого суда как-то напоминают обстановку московских политических процессов 1936 года, состоявшихся сразу же по опубликовании романа ("Современные Записки" 1935, №№ 58, 59 и 1936, 60), — своей как бы интимной обстановкой: судья, по-види-мому, сидит рядом с подсудимым. Один такой интимный суд происходил в русском эмигрантском Берлине за десятилетие до того. Только это был потешный, театральный суд. Это был суд над Николаем Николаевичем Евреиновым, знаменитым режиссером и драматургом, создателем теории театрализации жизни и автором нашумевшей пьесы "Самое главное". Роль Евреинова играл Набоков. Этому предшествовали следующие обстоятельства. Уже с детских лет петербуржец Набоков должен был знать о Евреинове, одном из самых сенсационных театральных новаторов Петербурга. В доме Набоковых бывал соратник Евреинова художник Добужинский. Пьеса Евреинова "Самое главное", появившаяся в 1921 г., в течение нескольких лет была предметом внимания театрального мира и с успехом шла сначала в театре "Вольная комедия" в Петербурге, в 1925 г. Пиранделло поставил ее в Риме, в 1926 г. Театральная гильдия

поставила ее в Нью-Йорке, затем постановка в парижском театре Ателье выдержала 250 спектаклей. О ней спорили, принимали или отвергали. Она построена на опыте воплощения той концепции театрализации жизни, которую Евреинов развивал теоретически и которая сделала ему имя. Опыт этот, кажется независимо от воли автора, имеет в пьесе довольно двусмысленный характер. Нет сомнения в том, что концепция театрализации жизни оказала влияние на Набокова (см.: Александров, 1995) и сказалась — как раз в связи с опытом, представленным в "Самом главном", — сильнее всего именно в "Приглашении на казнь", где действительность, окружающая Цинцинната, предстает как дурной спектакль.

Корреспонденции в берлинской газете "Руль" за 22 мая и 1 июня 1927 г. сообщают об организации 27 мая в Берлине в целях привлечения средств эмигрантским Союзом писателей бала, на котором гвоздем программы была постановка комического обозрения "Quatsch" в 2-х актах, специально написанного для этого случая. Сюжет 1-го акта представляет усиления некоего общественного деятеля организовать благотворительный спектакль. Комизм ситуации основан на том, что он одновременно пытается вести собрание дамского комитета и репетицию пьесы Н. Н. Евреинова "Самое главное". Автор пьесы, Евреинов, появляется на репетиции и, увидев, как неладно идет дело, предлагает вместо этого поставить обозрение типа варьете, что и происходит во 2-м акте. Роль Евреинова играл драматург Сирин (Набоков) в парике с развевающимися длинными волосами и в экстравагантных одеждах (Бойд, 1990: 273).

По-видимому, в рамках этого обозрения имел место суд над Евреиновым, о котором вспоминала много лет спустя жена Н. Н. Евреинова А. А. Кашина. В интервью, данном в 1976 г. в Париже, она сообщила, что "Набоков участвовал в интересном событии — вечере "Суд над Евреиновым". Этот потешный суд был созван актерами, сотрудниками Евреинова, по следам успеха его пьесы "Самое главное", чтобы разобраться, можно ли позволить автору распространять идею жизни как театра. Ввиду некоторого физического сходства, Набокова пригласили исполнить роль Евреинова (Голуб, 1984: 267). Сохранилась и

была опубликована фотография этого суда, подтверждающая верность воспоминания (Проффер, 1981: 47).

Без сомнения, та же А. А. Кашина скрывается под инициалами А. А., которыми подписано маленькое воспоминание "Владимир Набоков (Сирин) играет Н. Н. Евреинова", опубликованное в "Русской мысли" от 29. 12. 1977. Рассказав об успехе "Самого главного" в Европе и Америке, автор продолжает:

"Хотя в Берлине, как исключение, ее и не играли, но пьеса (с очень оригинальной идеей — как дать людям счастье) настолько стала известна в русской колонии в Берлине, что в ежегодный бал было решено дать обозрение "Кватч", где в одном из его актов дебатировался вопрос — разрешил ли Евреинов проблему счастья в своей пьесе. Тогда очень юный писатель Сирин-Набоков вызвался сыграть самого Евреинова, чтоб защитить идею пьесы".

И вот в связи с этим событием в русском Берлине 20-х гг. возникает редкая возможность реконструировать обстоятельства, в которых Цинциннат напомнил о себе Набокову в пору, предшествующую написанию "Приглашения".

"Самое главное" вышло впервые в 1921 г. в советской России, в петроградском Государственном издательстве, а также за рубежом — в Эстонии, в ревельском книгоиздательстве "Библиофиль" (без даты). Небольшие книжки ревельского издательства в дешевых, грубого картона переплетах продавались в русских эмигрантских магазинах 20-х гг. Среди них была книжка воспоминаний В. И. Немировича-Данченко "На кладбищах", которая включала мемуар под названием "Отечественный Цинциннат", посвященный встречам с Д. А. Милютиным, бывшим министром и личным другом царя Александра II. Еще интереснее, что имя Цинцинната в этой связи появилось впервые на последней странице ревельского издания "Самого главного", в объявлении об издании мемуаров Немировича-Данченко. Имя Цинцинната в ассоциации с сомнительным опытом театрализации жизни — это именно то сочетание, которое, как мы, сегодняшние читатели "Приглашения на казнь", понимаем, должно было привлечь внимание

Набокова, потому что оно имеет место в романе. Сомнения в том, что Набоков держал ревельскую книжку в руках, быть не может, как и в том, что он взял в руки и вторую книжку Немировича-Данченко, уже потому, что тот был знакомым его отца, Владимира Дмитриевича. В "Других берегах" Владимир Владимирович сообщает, что в 1916 г. отец с группой деятелей печати, включавшей Немировича-Данченко, ездил в Англию (по приглашению английского правительства, считавшего, что его военные усилия недооценены русским общественным мнением).

В этих обстоятельствах гораздо важнее, чем самый факт, что Набоков столкнулся с именем Цинцинната, то, что здесь задан был контекст, в котором Набоков осмыслил имя Цинцинната своим особенным образом.

Имя героя романа В. В. Набокова, Цинциннат Ц., загадочно. Это единственное в "Приглашении на казнь" несовременное имя среди современных, причем большинство имен русские: Марфинька, Родион, Роман Виссарионович, Никита Лукич. Единственное, что можно сказать об имени главного героя романа, что оно историческое — его знаменитым носителем был Квинкций Луций Цинциннат, о котором Ливий и Плиний сообщают: государственный деятель, род. в 519 до н. э.; в то время, когда он пахал плугом свое поле, получил известие, что сенат избрал его диктатором; с сожалением оставил он плуг и отправился на поле битвы защищать Рим от вольсков и эквов; вернулся в Рим триумфальным победителем и через 16 дней по назначении диктатором сложил полномочия и вернулся к вспашке полей; на восьмидесятом году жизни снова был призван диктатором для подавления мятежа Спурия Мелия; победив его, он ушел в отставку, на этот раз через 21 день по получении абсолютной власти, причем отказался от сенатских наград. Андрю Филд, первым решившись прокомментировать имя набоковского героя, нашел, что оно не имеет отношения к Квинкцию Л. Цинциннату, и предложил другое решение:

"Имя героя, кажется, отсылает не к Квинкцию Луцию Цинциннату, который вообще-то является образцом простого и добродетельного государствен-

ного мужа, но скорее к его сыну [...], который в 461 г. до н. э. за свое чрезвычайное ораторствование и избыточную гордость был осужден трибуном на изгнание. Такова реальная "политика" в "Приглашении на казнь": неизбежное и естественное изгнание — такова судьба всей культуры, особенно в России" (Филд 1967: 195).

Это мнение затем повторялось комментаторами (см. Набоков 1989) за неимением лучшего объяснения. Между тем Квинций Луций Цинциннат поясняет имя набоковского героя гораздо лучше в виду ряда обстоятельств. Первое связано с тем, как следует вообще понимать "Приглашение на казнь". Герой романа находится в конфликте с социальной обстановкой, которая не может быть охарактеризована иначе, чем тоталитарная. Это было отмечено уже одним из первых критиков, В. Варшавским ("Современные записки", 1936, № 61). В предисловии к английскому переводу "Приглашения" (1959) Набоков замечает, что роман был написан "примерно через пятнадцать лет после бегства от большевистского режима и как раз перед тем, как нацистский режим достиг полной меры признания", и тут же добавляет: "Вопрос о том, имело ли видение обоих в качестве тупого скотского фарса какое-либо влияние на эту книгу, должно занимать хорошего читателя не более, чем меня". Словом, Набоков категорически отрицал обращенность своего романа к историческим тоталитарным обществам его времени. В том же предисловии он возражает против сравнения с Орвеллом "или другими популярными поставщиками иллюстрированных идей и публицистической публицистики". К таким поставщикам он, конечно, должен был отнести и роман Замятина "Мы". Эти отрицания и протесты тем более замечательны, что "Приглашение на казнь" в ряде ситуаций как бы предвосхищало и последующую литературу о тоталитарных режимах. Так, палач стремится установить дружеские отношения с осужденным, что напоминает о романе Артура Кестлера "Слепая тьма" (1940), описывающем московские процессы 1936 года. Набоков настаивает на том, что его роман — "это скрипка в пустоте".

Спорить с автором в данном случае неуместно, но и отка-

заться от видения в его романе изображения тоталитарной обстановки невозможно. Парадокса здесь нет. Роман Набокова не идеологический и не социальный — он персоналистический и психологический. Тоталитарная обстановка в нем имеет место в сильнейшем выражении, но не в качестве исторической реальности, хотя бы виртуальной, как в антиутопиях, а в качестве психологического условия существования; и она разворачивает не идею, относящуюся к объективной реальности, а некоторое внутреннее состояние. Лучше понять это можно, вспомнив "Защиту Лужина". В этом романе герой Набокова не менее жертва тоталитарных обстоятельств, чем в "Приглашении на казнь". И здесь совершенно ясно, что тоталитарные условия накладываются миром шахмат. Лужин, который не мог уже в детстве принять обстановку общества по всем стандартам отнюдь не тоталитарного, спасается в мире шахмат, что сначала дает ему чувство свободы, но затем подавляет его всепоглощающей силой неотвратимых правил и повторяющихся ситуаций. Подчинив себе все лужинское видение самой жизни, шахматный мир не оставляет другого выхода за свои пределы, кроме выхода из жизни. В "Защите Лужина" это обстоятельство яснее в своей особенности. В "Приглашении на казнь" оно затенено тем, что здесь носителем тотализующих сил оказывается общество, в котором живет Цинциннат Ц. Это, однако, не разоблачение тоталитарного общества, а изображение психологически тотализующих сил в их общественном выражении. От героя зависит принять навязчивую игру или нет. Не то чтобы тоталитарный характер общества не имел отношения к роману, но социальная тоталитарность здесь не смысл, а только поверхность; тоталитарность более глубокого экзистенциального порядка составляет здесь суть и только проявляется в социальных формах. Позиция здесь подчеркнута субъективистская. Роман протекает в смысловой модальности, которая должна быть определена как персоналистическая, внутренняя, в отличие от социально-идеологической модальности, в которой живет смысл антиутопий и антитоталитаристских исторических романов. Если в романе Орвелла Большой брат через телекамеры следит за каждым гражданином, лишая его частной жизни, а в романе Замятина

прозрачны жилища, то в романе Набокова этим объективным условиям противопоставлены субъективные — у него прозрачны люди, среди которых его герой составляет исключение.

Именно определителем этой особенной набоковской модальности смысла и является имя Цинциннат как раз с единственной и неизбежной отсылкой к знаменитому римскому Цинциннату, а не к его малоизвестному сыну. Квинкций Л. Цинциннат, или попросту Цинциннат, тем и замечателен, что, хотя в силу необходимости выходил на государственную арену, тем не менее был исключительным образцом человека частного. Исторический Цинциннат — отличный символ человека внутреннего, от внешних обстоятельств — не зависящего; и он отличный знак персоналистической смысловой модальности, в которой разворачивается набоковский роман. Герой его, подверженный смущениям тоталитарного порядка, должен в конце концов поступить в соответствии со смыслом своего имени, как говорится по-английски (а Набоков чаще думал на этом языке, чем мы улавливаем), *live up to his name*.

Теперь нам следует вернуться в русский Берлин 20-х гг. и к книжке Немировича-Данченко. У нас есть возможность реконструировать контекст особенного набоковского использования имени Цинциннат.

Собственно говоря, в книжке Немировича-Данченко мы сталкиваемся не с одним, а с тремя Цинциннатами. Помимо Д. А. Милютина, которого мемуарист встречал на покое в Италии, тут есть еще "Диктатор на покое" М. Т. Лорис-Меликов ("нелюбимый сослуживец" по кабинету министров деда, Дмитрия Николаевича Набокова), закончивший свою жизнь во Франции, и некий неназванный по имени "Цинциннат", ушедший от государственных дел в литературу. Это собрание Цинциннатов должно было вызвать особые эмоции в эмигрантской среде, избилующей бывшими государственными деятелями, которым лестно было мнить себя Цинциннатами.

Между тем Квинкций Луций Цинциннат, фигура, отчетливая до мифологичности, получил в новейшей европейской истории различные интерпретации. Наиболее знаменит Цинциннат, дважды отказавшийся от почти абсолютной власти

диктатора и ушедший в частную жизнь. Но во времена Великой французской революции Цинциннат предстал в иной ипостаси. Он стал образцом гражданина-патриота, который дважды бросал частную жизнь по призыву родины, чтобы защищать ее с оружием в руках. Он вошел в революционный пантеон наряду с другими великими государственными деятелями классической древности. Статуя увенчанного лаврами Цинцинната была поставлена в зале Конвента наряду со статуями Ликурга, Солона и Камилла (Хайет 1957: 397-7). Наконец, в третьей ипостаси Цинциннат стал популярен в новорожденных Соединенных Штатах Америки. Здесь он стал образцом гражданской уравновешенности: гражданин, который легко переходит от частной жизни к государственной деятельности и обратно. Бывшие высшие офицеры революционной армии учредили в его честь орден Цинцинната (1793), знаком которого был золотой орел на белом поле, на груди орла фигурка Цинцинната с плугом. В его честь был назван город — Цинциннати в штате Огайо.

Не только древний Цинциннат, но и современный контекст его имени был, несомненно, известен Набокову. Это знание должно было выразиться во внимании к характеру и оттенкам понимания этого имени. Ближе всего эмигрантской среде был Цинциннат, ушедший на покой, в частную жизнь. Немирович-Данченко, сидевший между двумя стульями и из Москвы заигрывавший с эмиграцией, настаивал на той же ипостаси. Но Набоков никогда не принимал готовых решений. В соответствии с тем как сам Набоков, отталкиваясь от эмигрантской реальности, уходил во внутренний мир, его Цинциннат стал символом индивидуалистической смысловой перспективы, той, что возникает, когда поворачиваешься спиной к внешнему миру и видишь только игру его теней в пещере рефлектирующего сознания.

Символ символом, но все же скромный маленький Цинциннат Набокова должен был заслужить свое имя. Чем? Ответ

можно найти в гл. XII романа, где описано посещение Цинцинната Ц. его матерью, Цецилией Ц.

— Ах, полно, полно. Только не пускайтесь в объяснения. Играйте свою роль, — побольше лепета, побольше беспечности, — и ничего, — сойдет.

— Я пришла, потому что я ваша мать, — проговорила она тихо, и Цинциннат рассмеялся.

— Нет, нет, не сбивайтесь на фарс. Помните, что тут драма. Смешное смешным — но все-таки не следует слишком удаляться от вокзала: драма может уйти. Вы бы лучше... да, вот что, повторите, повторите мне, пожалуй, предание о моем отце. Неужели он все-таки исчез в темноте ночи, и вы никогда не узнали, ни кто он, ни откуда — это странно...

— Только голос, лица не видела, — ответила она все так же тихо.

— Во, во, подыграйте мне, я думаю, мы его сделаем странником, беглым матросом, — с тоской продолжал Цинциннат, прищелкивая пальцами и шагая, шагая: — или лесным разбойником, гастролирующим в парке. Или загулявшим ремесленником, плотником... Ну скорей, придумайте что-нибудь.

— Вы не понимаете, — воскликнула она, — (в волнении встала и тотчас села опять), — да, я не знаю, кто он был, — бродяга, беглец, да, все возможно... Но как это вы не понимаете... да, — был праздник, было в парке темно, и я была девчонкой, — но ведь не в этом дело. Ведь обмануться нельзя! Человек, который сжигается живьем, знает небось, что он не купается у нас в Стропи. То есть я хочу сказать: нельзя, нельзя ошибиться... Ох, как же вы не понимаете!

— Чего не понимаю?

— Ах, Цинциннат, он тоже...

— Что — тоже?

— Он тоже, как вы, Цинциннат...

Этот единственный эпизод истолковывается по-разному, и даже делались попытки увидеть в нем христианский мотив: аналог беспорочного зачатия или пародию на оное — мол, только и был голос (см. серию откровений подобного рода у Шапино 1979). Можно было бы указать на менее претенциозную аналогию: обстоятельства зачатия Цинцинната в какой-то мере напоминают апокриф о рождении св. Георгия — девочкой от странника. Но это ложные аналоги — они не укладываются в смысловое пространство романа, как только оно реконструировано. Ложные, быть может, не без коварного умысла автора, любившего пускать просвещенного читателя по ложному следу. Всякая аналогия или аллюзия должна иметь смысл, и обязанность того, кто ее предлагает, указать на этот смысл. Цинциннат Ц. — ни божествен, ни свят, но и пародийного отношения к божественности или святости со стороны автора нет: ситуация героя "Приглашение на казнь" вполне серьезна.

Действие романа происходит в тоталитарном обществе, которое возникло на месте прежнего, где жизнь "довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности... сказать ли?.. очутившись как бы в другом измерении...", и теперь "никому не было жаль прошлого, да и само понятие "прошлого" сделалось другим". Цинциннат обнаружил свою непрозрачность, его обвиняют в "гносеологической гнусности" ("гносеология" — излюбленное словечко марксистской "философии") и приговаривают к смертной казни. Таковы официальные формулировки, но они принадлежат языку эквивокаций — в этом обществе вещи своими именами не называются. О настоящих причинах и их именах приходится догадываться — текст насыщен соответствующими намеками.

"Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, — и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: "Горожане, между нами находится —" — и тут по-следовало страшное, почти забытое слово, и налетел ветер на акации, — и Цинциннат не нашел ничего лучше, как встать и

удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят".

Этим страшным, почти забытым словом могло быть только одно: *аристократ*. И действительно, оно тотчас звучит в шелесте листвы: "и налетел ветер на акации" (деревья у Набокова говорят, вспомним говорящее дерево в "Даре"). Это типичный у Набокова случай анаграмматической зашифрованности. "Горожане" — конечно же, граждане, и вся эта ситуация напоминает французскую революцию: "Граждане, между нами находится аристократ!"

Но Цинциннат не просто аристократ. Мельком в "Приглашении" упомянут "древний герб города" — "доменная печь с крыльями". Доменная псч — это герб предков Набокова по материнской линии, Рукавишниковых. Уже первый абзац романа кончается так: "он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли". В сцене посещения его камеры семьей Марфиньки тесть, прощаясь, целует ему руку по обычаю. Отчего бы это? Неизвестный ритуал отношения к смертнику? Письмо Набокова компактно, каждая деталь у него функциональна. Ответ на этот вопрос: да оттого, что Цинциннат — аристократ, быть может, княжеского рода, подобно тому, как королевскими сыновьями являются или мыслят себя многие набоковские герои: Solus Rex, в одноименной повести, Гумберт Гумберт в "Лолите", Виктор в "Пнине", Кинбот в "Бледном огне". Король, лишенный власти и под угрозой смерти, это излюбленная набоковская фигура — хотя бы теневая, хотя бы воображаемая. Большая часть набоковских героев — аристократы, в прямом или особом смысле. Именно на исключительность его отца намекает ему его мать — она не в силах назвать ему, кто был его отец, а он перебирает множество возможностей — странник, беглый матрос, загулявший плотник, — кроме подлинной, — что он скрывающийся аристократ. Разумеется, аристократизм у Набокова — это категория не вполне классовая, а скорее сверхклассовая — нечто, что определяется духовным благородством, а исключительные сила и одиночество духа — приравниваются к королевскому достоинству. И, разумеется же, все в "Приглашении на казнь" нарочито двусмысленно — все

делают вид, что они и знают и не знают истины: директор тюрьмы называет Цинцинната "молодым человеком".

Показательны и подробности питания Цинцинната в тюрьме. Ему — подчеркнуто — подают шоколад на завтрак. В любимом диккенсовском романе Набокова, "Холодном доме" (*Bleak House*), мистер Турвейдроп, подражающий принцу-регенту, пьет по утрам только шоколад. Когда м-сье Пьер пытается соблазнить свою жертву картинами радостей жизни, он, говоря о еде, описывает ему в своем плебейском вкусе кусок сала на тарелке, но более изощренный директор тюрьмы пытается внести поправку, желая поймать Цинцинната: "...если бы сейчас честно признал свою блажь, честно признал, что любит то же самое, что любим мы с вами, например, на первое черепаховый суп..." и тут же проговаривается: "говорят, это стихийно вкусно" — он-то никогда его не пробовал.

По существу Цинциннат осужден потому, что в нем распознали аристократа. Для нас, читателей, распознаванию этого обстоятельства служит имя римского патриция. Замечательно, что это же имя служит знаком принадлежности романа смысловому полю персоналистической перспективы мышления, или эмблемой ухода автора из социального мира, куда его то и дело призывают, во внутренний.

Связь с Квинцием Луцием Цинциннатом выделена в рельеф одним дополнительным обстоятельством. В романе есть Лже-Цинциннат. Цинцинната прямо разыгрывает не кто иной, как палач м-сье Пьер: "Как это вам ни покажется странным, но для меня слава, почести — ничто по сравнению с сельской тишиной. Вот вы недоверчиво улыбаетесь, милостивый государь (мельком обратился он к одному из гостей, который немедленно отрекся от своей улыбки), но клянусь вам, что это так, я зря не клянусь". Он постоянно лжет, и шутовствует, и стремится разыграть по отношению к Цинциннату Ц. близнеца, но не удерживается даже на роли близнеца-трикстера, то и дело проваливаясь и выявляя только свою противоположность Цинциннату.

У имени Цинциннат в набоковском контексте есть и обертоны. В рассказе "Ultima Thule", ведущем свое происхождение из того же комплекса работ, из которого вышло "Приглашение" (он представляет собой обработку фрагмента подготовительной работы к продолжению "Дара", который писался одновременно с "Приглашением" — Бойд 1990: 516-19), есть такая деталь: "...пустыри, где вырабатывали свой ночной цинк кузнечики..." А в "Приглашении" читаем: "Не ловко переступив, Цинциннат задел [цинковый] поднос, стоявший на полу. "Цинциннат!" — сказал поднос укоризненно". Этот цинковый звон — "Цинциннат" — соседствует с другим свойством — Цинциннат неоднократно сравнивается с сосудом: "Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил себя в безопасное место"; "Обтираясь, стараясь развлечь себя самим собой, он разглядывал все свои жилки и невольно думал о том, что скоро его *раскупорят*, и все это выльется" (курсив наш — С. С., Е. III.); "...стоящий теперь в коридоре темницы с замирающим сердцем, — еще живой, еще *непочатый*, еще цинциннатный — Цинциннат Ц. почувствовал дикий позыв к свободе..." (курсив наш — С. С., Е. III.). Знал ли Набоков, что в ветхозаветном иврите есть слово ЦиНЦеНеТ, обозначающее "сосуд"? О Набокове никогда нельзя утверждать, что он чего-то не знал. Во всяком случае, слово это находится единственный раз в следующем стихе: "И сказал Моисей Аарону: возьми один сосуд, и положи в него полный гомор манны, и поставь его перед Господом, для хранения в роды ваши" (Исход 16, 33). Речь идет о вечном хранении живого образца дара Божьего. Если Набоков не знал этого слова, то тем большим чудом был его писательский дар.

Как бы ни был Набоков серьезен, он не обходится без элемента комизма, клоунады, пародии. Есть он и в связи с

Цинциннатом и историей его имени. Маленький лукавый чертик, танцующий в кулисах трагедии.

4 марта 1938 г. в журнальном зале парижской Национальной библиотеки состоялась премьера пьесы Набокова "Событие" в постановке Русского театра под руководством Юрия Анненкова. Пьеса вызвала противоречивые отзывы в печати, горячее столкновение мнений, но имела шумный успех у публики (Бойд 1990: 485). "Событие" — комедия, написанная сразу же по окончании работы над "Даром", которая однажды была прервана работой над "Приглашением на казнь". Кажется, никто до сих пор не заметил, что "Событие" — это пародийный перевертыш "Приглашения на казнь". "Событие" и есть своего рода "Приглашение на казнь": событие, которое ожидается с начала пьесы до конца и не происходит — это убийство главного героя Трошейкина. Он ожидает своей казни от руки прежнего возлюбленного его жены Любви. Тот уже однажды стрелял в них, но только ранил; когда же был схвачен, угрожал вернуться и закончить дело. И вот в первом акте приносят слух, что Барбашин вышел из тюрьмы досрочно, появился в городе и значит появится в доме Трошейкиных. Вся пьеса проходит в комическом ожидании Барбашина, который не приходит, и в финале в доме Трошейкиных узнают, что он покинул город. Трошейкин — человек беспринципный в жизненных делах, трус, эгоист, хам, но он непоколебимо предан своему искусству и в нем не принимает компромиссов; никто вокруг не понимает его модернистских холстов, и его домашние сомневаются, настоящий ли он художник, но, как обычно, Набоков с такой явственностью и так интересно описывает его работы, что скорее всего имеется в виду художник подлинный. Среди комических реплик и в контексте его нелепого поведения теряется реплика сестры Любы, передразнивающей Трошейкина: "Мой предок, воевода четырнадцатого века, писал *Трошѣйкинѣ* через "ять", а по сему, дорогая Вера, прошу и вас впредь писать так мою фамилию". Реплика как бы ни к чему. Но в нашем контексте она важна: он аристократ. Подобно Марфиньке, Люба — неверная жена, и

подобно Цинциннату, он знает об этом и принимает без возражений. Есть в пьесе и евреинский элемент. Сыщик, которого нанимает для охраны Трошейкин, Барбошин, войдя в дом, предъявляет свою фотографию в костюме короля Лира, то есть в длинных развевающихся волосах и эксцентричной одежде — таков был Евреинов, каким его играл Набоков одиннадцать лет тому назад в Берлине. Барбошин играет свою роль с необыкновенной театральной аффектацией, при этом он не эффективен в качестве сыщика. Игра на подобии имен Барбашин/Барбошин, вызывающая подозрение, что за вторым скрывается первый, напоминает о знаменитом действительном трансформаторе Фреголи, который умел переодеваться 60 раз по ходу представления и которого Евреинов взял в герои своей пьесы "Самое главное". Намеки на театрализацию, вторгающуюся в жизнь, пронизывают "Событие. Вот Трошейкин задумывает картину:

"Т р о щ е й к и н (на авансцене). Слушай, малютка, я тебе расскажу, что я ночью задумал... Помоему, довольно гениально. Написать такую *штуку* — вот представь себе... Этой стены как бы нет, а темный провал... как бы, значит, публика в туманном театре, ряды, ряды... сидят и смотрят на меня. Причем это все лица людей, которых я знаю или прежде знал и которые теперь смотрят на мою жизнь. Кто с любопытством, кто с досадой, кто с удовольствием. А тот с завистью, а эта с сожалением. Вот так сидят передо мной — такие бледновато-чудные в полутьме. Тут и мои покойные родители, и старые враги, и твой этот тип с револьвером, и друзья детства, конечно, и женщины, женщины — все, о которых я рассказывал тебе..."

Вспомним театральный характер казни Цинцинната Ц. А через несколько минут Трошейкин рассказывает о первом покушении Барбашина, как о комедии:

"...и вот мадам обижалась, когда я в шутку вспоминал... казалось каким-то театром, какой-то где-

то виденной мелодрамой... Я даже иногда... да, это *вам* я показывал пятно кармина на полу и острил, что вот остался до сих пор след крови... Умная шутка".

Во втором акте появляется вдова Вагабундова, которая ни с того ни с сего говорит раешными стихами. В определенный момент Любовь замечает: "Я не понимаю, почему из всего этого нужно делать какой-то кошмарный балаган". Та театрализация действительности, которая предстает зловещей в "Приглашении на казнь", здесь комична до абсурда.

Комедия пронизана также пародийными аллюзиями к пьесам Чехова. "...мы разлагаемся в захолустной обстановке, как три сестры", — говорит Трошейкин. "Когда папа умер и был продан наш дом и сад...", — говорит Вера, сестра Любви. Мать их представляет дочерей гостье:

" Это моя дочь Вера, Любовь вы, конечно, знаете, моего зятя тоже, а Надежды у меня нет.

Э л е о н о р а Ш н а п. Божмой! Неужели безнадежно?

А н т о н и н а П а в л о в н а. Да, ужасно безнадежная семья. (*Смеется.*) А до чего мне хотелось иметь маленькую Надю с зелеными глазками".

Мать зовут Антонина Павловна — это пародия на самого Антона Павловича. Она писательница. И она сочиняет "Воскресающего лебедя", очевидно, пародию на "Чайку", которую убивают. В противоположность чеховской "Чайке", ружье, висящее на стене в первом акте, не стреляет в последнем (само это правило упоминается в тексте "События"). Но Чехов-то не был так прост. Он-то сам чаще всего так и поступал, и именно поэтому, в порядке иронии, позволил себе последовать этой формуле в "Чайке", пьесе о плохих писателях. И Набоков, восхищавшийся Чеховым, не мог этого не понимать.

Для чего же все это пародирование Чехова? Дело не в пародии на Чехова — ее нет, а в комическом присутствии Чехова. Есть в "Событии" малоприметная и едва ли необходимая старая толстая служанка Марфа. Она — ключ к чеховскому присутствию. Имена Цинцинната и Марфы единственный раз

во всей мировой литературе оказались в паре до Набокова у Антона Павловича. Уже в последний период своей жизни, в 1892 г., вполне серьезный Чехов помещает в юмористических дешевых "Осколках", где начинал свою писательскую деятельность и не печатался уже пять лет, коротенький "Отрывок". Он начинается так:

"Действительный статский советник Козерогов, выйдя в отставку, купил себе небольшое имение и поселился в нем. Здесь, подражая отчасти Цинциннату, отчасти же профессору Кайгородову, он трудился в поте лица и записывал свои наблюдения над природой. После его смерти записки его вместе с прочим имуществом перешли по завещанию к его экономке Марфе Евлампиевне" (Чехов 1974: т. 8, с. 35).

Набоков, хорошо знавший Чехова и обладавший исключительной памятью, должен был помнить об этом комическом прецеденте, и дал выход этому обстоятельству в соответствующей комической форме. "Отрывок" никогда не перепечатывался со времен "Осколков" вплоть до 30-томного академического полного собрания сочинений Чехова 1970-х годов. Но Набоков был любителем старых журналов. В "Событии" есть эпизод, как будто совсем ненужный и выпадающий из действия. Когда сыщик Барбошин приходит в дом Трошейкина, он не сразу входит в комнату. Трошейкин кричит ему: "Что вы там в коридоре застряли? Это просто старые журналы, хлам, оставьте". Как всегда, Набоков дал нам все составляющие своей головоломки, *jig saw puzzle*, и ничего лишнего. И составляет Набоков свои головоломки для собственного развлечения. И об этом речь идет в "Событии":

Л ю б о в ь. ...Ты ничто, ты волчек, ты пустоцвет, ты пустой орех, слегка позолоченный, и ты никогда ничего не создашь, а всегда останешься тем, что ты есть, провинциальным портретистом с мечтой о какой-то лазурной пещере.

Т р о щ е й к и н. Люба! Люба! Вот это... по-твоему, плохо? Посмотри. Это — плохо?

Л ю б о в ь. Не я так сужу, а все люди так о тебе судят. И они правы, потому что надо писать картины для людей, а не для услаждения какого-то чудовища, которое сидит в тебе и сосет.

Т р о щ е й к и н. Люба, не может быть, чтобы ты говорила серьезно. Как же иначе, конечно, нужно писать для моего чудовища, для моего солитера, только для него".

Солитер Трошейкина — это его солипсизм. Пародийный Цинциннат — тоже Цинциннат в полном набоковском смысле.

Итака, шт. Нью-Йорк

БИБЛИОГРАФИЯ

Александров

1995 — Vladimir E. Alexandrov. "Nabokov and Evreinov" in: Alexandrov, Vladimir., ed/ *The Garland Companion to Vladimir Nabokov*. New York: Garland Publishing, pp. 402-405.

Бойд

1990 — Brian Boyd. *Vladimir Nabokov: The Russian Years*. Princeton, N. J.: Princeton University Press.

Голуб

1984 — Spenser Golub. *Evreinov: The Theatre of Paradox and Transformation*. Ann Arbor, Mich.: UMI Research Press.

Евреинов

[1921] — Н. Евреинов. *Самое главное*. Ревель: Библиофил. (Без даты.)

Набоков

1965 — Vladimir Nabokov. *Invitation to a Beheading*. New York: G. P. Putnam's Sons.

1989 — Владимир Набоков. *Рассказы. Приглашение на казнь, роман. Эссе. Интервью. Рецензии*. Москва: Книга.

1990 — Владимир Набоков. *Пьесы*. Москва: Искусство.

1990 — Владимир Набоков. *Собрание сочинений* в 4 тт. Москва, изд. "Правда".

188 САВЕЛИЙ СЕНДЕРОВИЧ И ЕЛЕНА ШВАРЦ

Немирович-Данченко

[1921] — Вл. Ив. Немирович-Данченко. *На кладбищах (воспоминания)*. Ревель: Библиофил. (Без даты.)

Проффер

1981 — Еллендеа Проффер, ред. *Евреинов. Фотобиография*. (С материалов, собранных Анной Евреиновой). Ann Arbor, Mich.: Ardis.

Филд

1967 — Andrew Field. *Nabokov: His Life in Art*. Boston: Little, Brown and Company.

Хайет

1957 — Gilbert Highet. *The Classical Tradition*. New York: Oxford University Press.

Чехов

1974 — А. П. Чехов. *Полное собрание сочинений* в 30 тт. Москва: Наука.

Шапиро

1979 — Гавриэль Шапиро. "Христианские мотивы, их иконография и символика в романе Владимира Набокова «Приглашение на казнь»". — *Russian Language Journal* 33, no. 116, pp. 144-62.

Олег Ильинский

СМЫСЛЫ

В стремленьи вечном молодом
Твои кристаллы не остыли —
Бессмертных смыслов чуткий дом,
Как нити светлой паутины.
На перекрестке звездных сфер
В сквозных наплывах звездной пены
Мы — как пульсирующий нерв
На солнечном виске Вселенной.

1991

ТЯГАЧ

Той ночью в тягаче под Истрой,
Пока откатывался вал,
На тряпках и пустых канистрах
Безногий раненый стонал.
В составе тех автоколонн,
В цепи одышливой и длинной
Всю ночь кричал от боли он,
А я был рядом, невредимый.
Ревел тягач и выл бензин
И тем история вершилась,

Вытягивая из низин
Застраившие автомашины.
Сегодня входит в те края
Все тот же сон, обратный случай
На русском фронте ранен я,
А он — случайный мой попутчик.

1991

Валентина Синкевич

О ГОРОДЕ

Лето надвигается всем своим пеклом,
затянутыми шторами, закрытыми жалюзи.
Все покроется жаркой влагой,
горячим июльским пеплом,
а солнце будет сжигать, как его ни проси.

Но довольно об этом. Лучше поговорим о
Городе. Как угодно — так его назови:
хочешь — Афинами, а хочешь — Римом,
захлебнувшимся когда-то в нероновой крови.

Но нет. Большая Центральная Станция, милый, —
не Афины и не древний иль современный Рим.
Здесь совершенно иначе вытягивают жилы:
Нью-Йорк по-иному забываем и неповторим.

В Город идут все, алчущие движенья и шума.
Город любит толпу и разглагольствует о себе
перед многоликими, вышедшими из темного трюма —
он перед ними возвышается до небес.

Знаешь, в этом Городе, совершенно особом,
сталь и цемент, и головокружительное стекло,
и от электрического света и небоскребов
исходит чувственное, удушливое тепло.

Но съевшие с Городом пуд или несколько — соли
по фасадам карабкаются куда-то вверх,
не испытывая страха и ни малейшей боли,
нередко срываясь и падая на глазах у всех.

Город не сыт. Ненасытна его утроба.
дни превращаются в тяжкий каменный миг...
Но вот Олег Ильинский смотрит на фасад небоскреба
и пишет свой легкий графический стих.

1996

Ираида Легкая

* * *

Мы выбрали благую участь безумия
По чайной ложке в час
Слова веселые помучают ужасом
И отпускают нас
Где на границе врата гибели
Не бойся врага
Отпечатки пальцев нечаянно выдали
Сны и снега
Следуй блаженству случая улыбайся
Жалкому жалу зла
Прожорливые голуби выклевывают зависть
Ослепших глаз

Юрий Кашкаров
(1940-1994)

ДАМА В БЕЛОМ

На том, кому является дух, лежит
строжайшая обязанность обращаться с
таким существом серьезно и любовно и
ставить его на надлежащее место.

П. Чаадаев

Итак, она едет, наконец, отдохнуть. Отец в конце концов умер. Это бесконечное лето на Васильевском острове, смерть отца, его похороны на заросшем репьем конце Смоленского кладбища под заржавевшим крестом дедушки-сенатора.

Тебя я лаской огневою
И ободрю и утомлю.
Не уходи, побудь со мною,
Не уходи, не уходи...

Романс Вари Паниной так некстати привязался к ней, к Екатерине Николаевне, в самые неподходящие минуты этого длинного, пустого лета. Он был с ней, когда она жгла в колднице их двора у мусорных баков гнойные матрасы из-под отца. Он был с ней, когда она покупала гроб в похоронном бю-

Рассказ был найден в бумагах покойного Юрия Даниловича Кашкарова. Очевидно относится к раннему периоду его творчества. Начало рукописи отмечено авторскими правками. Остальное печатается без изменений.

ро. И когда, заказав панихиду, шла по набережной домой мимо привычного сфинкса. Несвеже пахла из-за жары река. Улицы и дома обезлюдели. Воздух казался гибельным. И неотступно звучал в ушах низкий голос Вари Паниной на исцарапанной старой пластинке:

Не уходи, побудь со мною,
Мне так отрадно и легко.

Необходимо было забытья. Никаких неожиданностей больше пока не предвиделось. Мать, почти легкомысленное существо, переехала на дачу к подруге — побыть, как она говорила, возле Тома де Томона и Марьи Федоровны. Смерть отца подвела черту под жизнью, полной необходимости и ожидания. Это была перемена, и к ней надо было привыкнуть. А перед тем отдохнуть.

Екатерина Николаевна садится в автобус у грязного Обводного канала и едет в маленький эстонский город. Август, раннее северное утро, прохладное и хрустальное. Почти бабье лето. Екатерина Николаевна берет в дорогу только самое необходимое и два английских детектива.

Ленинград позади. Перестали торчать в утреннем мареве верхи заводских труб. Пошел неинтересный и знакомый пейзаж — болота, кочки, жиденькие рощицы. Екатерина Николаевна открывает книгу с морковным обрезом, прочитывает несколько страниц.

Они с матерью были старые петербуржцы, суховатые, сдержанные, с отчетливым выговором письменных звуков, с узким питерским "и". В общем, в жизни им повезло, ведь уцелеть в эти полвека было нелегко.

Екатерина Николаевна — старая сорокалетняя девушка с фиалковыми глазами и домашним знанием английского языка. Еще она знала запахи ленинградских подъездов и весь этот аромат старых годов, гораздо старше ее сорока с небольшим лет. Она помнила буржуазных женщин, стоявших в тридцатые годы у коммунальных примусов с мечтой о десятых и несостоявшейся любовью к Рудольфо Валентино. К его пробору. Ко всему его. Такая цепкая хватка позднего декаденства, легкомыслия недолгих кабаре.

Да. Ленинград, Петроград, Петербург. Санкт-. У нее есть конверты со всеми этими именами. Ее Васильевский остров, ее сфинкс, так, прихотливая мечта, рынок и улицы рядом, заставленные приземистыми домами и ящиками со всякой гнилью. Они были похожи на какую-нибудь Кострому, где они немного жили в эвакуации, пока не снялись дальше, на Вос-ток.

— Ведь Вы, Екатерина Николаевна, интересная женщина, но не умеете себя подать. — Она краснела, склонялась над листом ватмана и была еще тщательней со своей работой. И теперь еще раздражает романс: — Не уходи, побудь со мною, мне так отратно и легко, я поцелуями покрою и твои очи, и чело.

Смоленское кладбище умирало вместе с городом, зарастая с углов непроходимым репейником. Оно неотвратимо ржавело. Оно умирало рядом с отмиравшей старой столицей, с ее пыльными лепными облупившимися углами. Даже весь этот утренний хрусталь, это золото и чернота грифонов Екатерининского канала, даже эта прозрачная ясность утренней Невы, все эти великолепия Египта, Голландии и рококо не обещали покоя, будущего, умиротворяющей полноты.

Главное ускользало. Но все равно — оно не было жизнью. Екатерина Николаевна не понимает, что это такое. Она только знает, что это необходимо. Его надо поймать и закрепить. Екатерина Николаевна иногда думала, что находит, найдет его в электричке, по дороге на Взморье, где на сырой даче мать сидела с уже больным отцом. Серо-зеленый залив и повисшие над ним облака. Газетные обрывки на мятом берегу. На террасе отец под каким-то древним пледом, где-то в деревянной полутьме мать докрашивает старые губы перед холодным зеркалом. Главное скреблось в каком-то из полушарий. До сих пор не открыли — в каком.

Ленинград, Петроград, Петербург. Нет, Екатерина Николаевна совсем не так стара. Письма с этими адресами — чужие. Не к ней. Все запоминается пронзительней и четче, чем хотелось бы.

...Ничто не возвращалось, ничто не прибывало. На последней перед Гапсалой остановке она зашла в магазин, купить пачку сигарет. Увы, она курила, она была нервная интелли-

гентная женщина. Вышла, раскрыла пачку и спиной почувствовала взгляд. Совсем молодой парень, мальчик даже. Очень высокий, наверное, баскетболист. Он завел свой мотоцикл и умчался куда-то, к своему дому с плотно зашторенными окнами. Опять к Екатерине Николаевне пришел этот романс — Не уходи, побудь со мною, мне так отрадно и легко... Последние полчаса она ехала в неясном томлении. Было очень острое ощущение этого взгляда. Значит, в ней что-то осталось. Екатерина Николаевна улыбнулась в окно.

Как уютен этот маленький городок. И милы эти две белые кирхи. Вокруг них липы. Зеленые пушки перед ратушей. Утки в заливе, пахнущем иодом. И этот епископский замок с новыми железными воротами над единственной уцелевшей башней. Графский дворец с немытыми окнами, выбитыми кое-где, — Профсоюзный профилакторий. В городе не было канализации из-за его миниатюрности, и удобные сортиры в домах пахли густо, неусидчиво. Посреди недостроенной гранитной набережной стояли солнечные часы, изваянные в стиле модерн — от буржуазных времен, собиравшихся устроить здесь влекущее развратное Монте-Карло.

Вечером второго дня Екатерина Николаевна сидела возле этих солнечных часов. Ее голова стала немного проясняться благодаря иоду, тишине, удобству и веселящим глаза цветам городских домиков. Романс Вари Паниной, кажется, ее отпустил. Просто не было необходимости в контактах. Почти не было. Она кормила уток, сидя на скамье прямо над целебными водорослями. Утки были доверчивыми, не с очень длинными шеями.

И не увидела, как на ту же скамью села женщина, довольно молодая, в старомодном, чуть не до полу, платье и с длинными волосами, схваченными на затылке жгутом. Платье было, кажется, белым, или серым, но теперь, на закате, розовым. Дама имела красивый, свежий цвет лица и хорошие ноги. Главное же, — очень изящные щиколотки.

— Не правда ли, здесь неплохо? — сказала дама. — Голова приходит в полный порядок. Никаких миражей. Ничего лишнего, ничего туманного. И все непоправимое не кажется таким уже непоправимым.

У нее был легкий акцент, не здешний, заметный, а так, легкий и неопределенный.

— Несколько скучно? Мы, здешние жители, привыкли к этому неторопливому распорядку. Впрочем, я с вами согласна, раньше было немного веселее. О, порою мы так умели радоваться жизни...

Она на минуту оживилась, словно хотела поподробнее поговорить о прежнем веселье. Но потом потухла, словно нарочно запретила себе говорить об этом.

Екатерина Николаевна приписала такую сдержанность своему русскому происхождению и боязни местных жителей.

— У вас, дорогая, кажется, были неприятности? Несмотря на этот прелестный закат, вы имеете столь нехороший цвет лица. Ах, не говорите мне ваши обстоятельства. Я все, кажется, знаю. По крайней мере, кое-что. Не удивляйтесь, дорогая, не удивляйтесь, я немного проницательна. Хотя и не так стара, не правда ли?

Екатерина Николаевна была рада чужому, чужеземному участию.

Женщина в белом почему-то не захотела продолжить разговор. А был такой располагающий к неторопливой беседе закат. Хотя и с легким ветерком.

Дама в белом встала со скамьи, оправила юбку весьма кокетливо.

— Ну вот, опять этот мерзкий бриз. Слышите, как зашумели липы около моей старой кирки. Опять этот мерзкий старый ворон долбит могильный камень. Ах, мадам, это мой неосносный враг. Мне, к сожалению, надо идти. Слышите, как этот мерзкий ворон долбит мой могильный камень. Не тоскуйте, мадам. Здесь вам, без сомненья, будет хорошо. Здесь вас ждет маленькое развлечение. Я вам предсказываю, дорогая. Хотя, не скажу, чтобы лично я была этим довольна. Но надо думать и о других, как говорил мой покойный отец, пастор Мартин Штакельгрубер. Его светлые глаза в те минуты, когда он толковал обо всех этих добрых материях, бывали необыкновенно торжественными. Увы, потом он умер, как и все мы...

И тогда дама в белом посмотрела. Она посмотрела, — так

показалось Екатерине Николаевне, очень неприязненно. Эти блики стоячей воды.

— До свидания, мадам. Мы обязательно с вами увидимся. Этот город так мал.

Екатерина Николаевна курила сигарету, стряхивая пепел на гранитный парапет. Солнце село в залив. Ветер усиливался. Обступали темнота и запах иода. Также пахли левкой на клумбе. У современного ангела песочных часов поблекли все выпуклости. Здесь все было чужим и потому не тревожило. Даже навевавший тоску шум старых лип и мелкий сухой стук за кладбищенской оградой, заросшей таволгой и очень высокой крапивой. От недостатка привычной домашней тревоги обступали воспоминания, необходимые заземленной славянской душе Екатерины Николаевны.

Бабушкин дом на Волге, на высоком берегу, — это почти там, где была и эвакуационная Кострома. Дом с каменным беленым низом и почернелым коричневым верхом. На чердаке валялись подсвечники и связки "Русского слова". По обеим сторонам бабушкиного дома две очень высокие березы и дряхлые скворешни на них. Конфеты-бомбочки в красной сахарнице. Собачонка черная с белым на цепи на пахнущем куриным пометом дворе. Поленица у серебристого от времени сарая. Когда был ветер, березы так шумели, скворешни скрипели. — Они толкуют о вечности, — говорила бабушка. В этом их шуме были тоска и надежда. Потом, уже в другом месте, в душном парке, где дорожки были выложены кирпичом елочкой, а на некоторых кирпичах можно было прочесть "Кузнецов и сыновья", Екатерина Николаевна потеряла зачем-то невинность. Потом долго не было ровно ничего...

Что делать с этой ночью? С этим обступающим со всех сторон ожиданием? И мелким стуком дождя. И мелким стуком еще чего-то? Время приобретало новые очертания незаметно. Новый вкус, новый запах. То, что вчера было жизнью, стало ретроспективой. Екатерине Николаевне приснился таллинский пыльный скелет под кенотафом. Пыльная роза и пыльная жаба на его ребрах сплясали чарльстон и победили уютный мир глоксиний, "невест" и деревянных крылечек ее детства.

Вечером другого дня она купила билет в замок, на концерт

приезжей эстрады. Нет, она не любила эстраду, просто ей хотелось побыть среди людей.

Это оказалось непросто. Да, и справа и слева были живые люди. На сцене, где кулисой была развалившаяся стена и башня, подсвеченные со вкусом, были люди, красивые и молодые. И они хорошо пели на непонятном мягком языке. И трава на лужайке замкового двора тоже была зеленой и тоже красиво подсвеченной. Но сиротство и надежда не убывали.

На эстраде приятный молодой человек в вытертых джинсах пел по-английски арию Христа из модной рок-оперы. Екатерина Николаевна слышала ее совсем недавно, в открытом окне рядом с похоронной конторой, где стояла в очереди. Там, невольно, она прослушала и другие арии. Здесь, на воздухе, можно было курить. Екатерина Николаевна достала сигарету. И когда подняла голову от сумочки, увидела, что ей зажгли спичку. Она забыла лицо того мотоциклиста на предпоследней остановке, к тому же он был тогда в шлеме и скоро надел большие очки. Но это был светлоголубой вельвет его брюк. Екатерина Николаевна сказала "спасибо". Ария Христа кончилась, и теперь пела Мария Магдалина под знакомую мелодию, щедро эксплуатировавшуюся прошлогодним чемпионатом по фигурному катанию. "Если бы он сказал, что любит меня, это меня бы погубило, я была бы так шокирована, я отвернулась бы, я отказалась бы. Но я так его хочу".

— Где же вы оставили свой мотоцикл? — спросила Екатерина Николаевна.

— Там, за оградой, — ответил мотоциклист.

— А у вас это можно?

— Да, конечно, у нас очень смирный народ.

Он не удивился, что Екатерина Николаевна спросила его про мотоцикл. Значит, он ее запомнил. Значит, они знали друг друга.

— Вы знаете английский? — спросила Екатерина Николаевна.

— Нет, я не знаю английский. Но наверное, эта девушка поет что-нибудь приятное. Я знаю, это из оперы "Езус Крист суперстар". Извините, меня зовут Юхан. Русский язык я выучил в армии. Далеко, в Сибири.

— И кажется, неплохо, — сказала Екатерина Николаевна.

— Меня зовут Екатерина. Или Кэт. Или еще как-нибудь в этом роде. В этом городке так мало говорят по-русски.

— Да, мы очень плохо учим чужие языки, — сказал мотоциклист. — Мы такая маленькая нация. Ваша ария кончилась. Пойдемте пить пиво.

Боже, Екатерина Николаевна согласилась. Она никогда не пила пива так, в этой очереди, у опрятной, правда, палатки, без пьяных, но все равно никогда не пила среди не совсем трезвых мужчин, каких-то намазанных девчонок, в компании с мотоциклистом без шлема, годившимся ей почти в сыновья.

— Оказывается, сегодня полнолуние, — удивилась Екатерина Николаевна — Знаете, в полнолуние мне бывает особенно тревожно. Вы не боитесь за свой мотоцикл? Вас не могут оштрафовать, Юхан? Вы поедете к себе домой, и от вас будет пахнуть спиртным.

— О, не беспокойтесь, Катя. У нас не так много милиции. Она все понимает. Сейчас мы, кажется, увидим кое-что интересное. Так бывает раз в году, в полнолуние, конечно, если на небе нет облаков.

Над ними висела Большая Медведица, какие-то обязательные планеты и луна грузно вылезала из-за разрушенной башни, все больше освещая противоположную, изящную и высокую, у входа в которую было от руки выведено "Музеум". Концерт кончился, но толпа почти не разошлась. Люди стояли на лужайке посередине замкового двора и все смотрели на эту уцелевшую башню, все более заливаемую лунным светом.

— Потушите прожекторы! Потушите ваше электричество. Потушите весь искусственный свет, — кричали по-эстонски люди, и Юхан перевел Екатерине Николаевне. Погас свет и в пивной палатке и продавщица высунулась и тоже стала пристально смотреть на эту высокую башню. Екатерина Николаевна выросла в Петербурге, была сдержанна и нелюбопытна и потому ничего не спросила. Юхан, этот озорной мальчишка, ничего не хотел говорить, он ждал чуда и ему было любопытно, как перенесет его эта странная женщина с сигаретой и таким тревожащим взглядом, задевшим его на той остановке.

Но вот луна осветила верхние зубцы башни, и толпа ахнула, подалась вперед.

— Видите? — Юхан взял Екатерину Николаевну за плечи. — Видите там, в верхнем окне, женщину?

И хотя руки Юхана были одуряюще приятны и почти нежны, Екатерину Николаевну поразило не это, а взгляд, чей-то взгляд, неприязненный и любопытный, определенно кто-то смотрел из верхнего окна башни и смотрел прямо на нее и на Юхана.

Луна поднялась еще выше, и теперь все видели в окне, в бойнице башни женскую фигуру в старомодном белом платье. Волосы, в лунном свете неопределенного цвета, были схвачены на затылке жгутом и лицо казалось молодым.

— Это наша достопримечательность, — сказал Юхан. — Это дама в белом. Она показывается только в августе, в полнолуние. Мы к ней привыкли. И никто ее не боится. Видите, никто не падает в обморок.

Екатерина Николаевна многое перенесла, а совсем недавно, эту скорбную утрату. Она была выдержанная женщина. Екатерина Николаевна узнала в этой женской фигуре в том далеком окне свою соседку по вечерней скамье. Она снова ощутила этот неприязненный взгляд сквозь приветливую улыбку и ей даже показалось, что дама в белом погрозила ей пальцем. Но может быть, это были блики стен и луны.

Луна поднялась еще выше, и все прекратилось. Толпа стала расходиться. Свет электрический так и не зажгли. Толпа что-то оживленно обсуждала, но Юхан не перевел. Они сели на деревянную скамью, длинную и без спинки, спиной к эстраде и ждали, когда все уйдут. Пивная палатка больше не работала. В замковом дворе было темно и тепло.

— У этой дамы богатое прошлое, — сказал Юхан. — Но это, конечно, предание. Хотя суеверные люди утверждают, что она и теперь шалит с парнями по округе. Хотя образованные люди теперь говорят на лекциях, что все это — игра природы.

— А что было у этой дамы в прошлом? — спросила просто так, чтобы поддержать разговор, Екатерина Николаевна. Она почему-то была уверена, что еще встретится с этой дамой в белом и все узнает из первых рук.

— Она шалила с графом, и с его сыном, и с графским конюхом. Она была дочерью пастора. Но все это открылось, уже когда старый граф умер. Какая-то история в склепе. Знаете, у меня всегда было неладно с историей. Столько событий. Все надо запомнить. Словом, они ее замуровали в этой башне, что

ли. Это было так давно. Но она и теперь нет-нет да и шалит с парнями по округе. Она и меня пыталась соблазнить в старом сарае.

— И что ж, соблазнила? — Екатерина Николаевна постаралась спросить не очень ревниво.

— Немножко, знаете ли. Но в темноте я не разобрал лица. Очень может быть, что это была наша соседка. Мне, кажется, надо ехать...

— Вы торопитесь? — спросила Екатерина Николаевна. И опять, теперь уже совсем пошло заныл этот романс: Не уходи, побудь со мною...

Екатерина Николаевна сделала над собою усилие, чтобы его отогнать. Она отважилась быть неприличной и сильно сжала локоть Юхана. Юхан часто задышал и придвинулся ближе. Над ними висела Большая Медведица и было очень тепло. Невообразимое сиротство охватило Екатерину Николаевну. Она испугалась, что это теплое, горячее, молодое тело сейчас уйдет и она через каких-нибудь пять минут будет в своей комнате с довоенным абажуром и кожаным креслом и увидит в этом кресле роман, английский детектив, который так неинтересно читать. И не будет его читать, а ляжет, закроет глаза и вспомнит, увидит дачу на Взморье, отца под пледом и мать с холодным зеркалом. И опять: что делать с этой ночью? С этим соблазном? С этим бабушкиным мезонином под высокими березами? С этой жабой и с этой розой на груди запыленного скелета? Нет, она положительно не могла быть одна. Екатерина Николаевна положила руку на вельветовое бедро Юхана и порадовалась его мужской мощи, и перестала стыдиться. Они пошли в совсем уже непроглядную темноту, в дальний угол замка под старые липы над земляным валом. Юхан трогал ее, говорил мягкие незнакомые слова. Он задышал над ней, а Екатерина Николаевна гладила под рубашкой его потную спину.

Но потом он все равно уехал. Мотоцикл долго стрекотал по вымершим улицам, и когда его совсем не стало слышно, Екатерина Николаевна пошла к себе, в комнату с кожаным креслом и удобным, но дурно пахнущим сортиром в прихожей. Она не открыла английский детектив с морковным обрезаем. Она крепко спала в эту ночь и ничего не видела во сне.

Наутро она долго и со вкусом купалась в мелком заливе, ела яичницу, читала английскую книжку и ближе к вечеру зашла в замок. Дверь башни, на которой от руки было выведено "Музеум", была открыта и около нее сидел старик в красно-армейской фуражке, выцветшей и помятой.

— Вы, наверное, из России? — Старик поднял фуражку и почесал лысое темя. Он говорил по-русски совсем чисто. — Я тоже нездешний. Я латыш, латышский стрелок. Воевал у вас когда-то давно за очень хорошую жизнь и свободную Латвию.

— Очень приятно, — сдержанно сказала Екатерина Николаевна.

— Вам, должно быть, не нравится здесь? Всем вашим здесь не нравится. Мне тоже не нравится. Очень замкнутый народ, очень необщительный. Было бы неплохо этот народ немножечко образовать. Вот видите, наш актив открыл в башне популярный музей, зайдите, пожалуйста. Не бойтесь, никакой дамы в белом там нет. Висят диаграммы и фотографии про то — как эксплуатировали народ местные бароны и графы, все, знаете ли, про восстания и народные мятежи. Много интересного. А эта дама в белом — глупое здешнее суеверие. Никого там нет. Я сторожил много башен и стен, и вот, по привычке, пошел работать сюда. Знаете, я сторожил и Кремлевскую стену. Целых полгода, когда наши вожди приехали туда из революционного Питера.

Екатерина Николаевна поднялась по нескончаемой лестнице в большую круглую комнату, должно быть, под крышей. Она не стала смотреть на диаграммы, схемы и фотографии народных мятежей и восстаний. Она подошла к окну-бойнице с видом на залив. Вид отсюда был очень хорош.

Почему мне не пришло в голову спросить Юхана, когда я его снова увижу? Боже, какая оплошность. Она взглянула вниз, на ворота замка. Там на раскладном стульчике сидела старуха и торговала синими и красными астрами.

— Значит, это не было для вас так уже необходимо, — сказал знакомый голос.

Екатерина Николаевна обернулась. У окна, выходящего во внутренний двор, стояла дама в белом. Она почти приветливо улыбалась.

— Да, это я, дорогая. Я очень рада, что мое неожиданное

появление вас не шокировало. У вас, должно быть, крепкие нервы и довольно большой жизненный опыт.

— Простите, я вас не заметила. И не очень ждала. Сторож внизу уверял меня, что вас нет, что вы — глупое суеверие.

— Старый, ограниченный дурак. Он ничего не понимает в жизни. Гораздо больше интересного вам может рассказать моя тетушка, та, что торгует внизу этими прелестными цветами осени.

— Ах, так вы тут не одна, в этом маленьком сонном городке? Вас тут много?

— Нас везде много, дорогая. Но здесь мы особенно активны, может быть оттого, что этот городок так мал и тих. О боже, опять этот старый дурак начал свою трескотню. В прошлый раз, на набережной, вы, кажется, не обратили внимания на мои слова о старом вороне. Он и ворон и не совсем ворон, этот Квирин Кульман, старый теософ. В свое время он так опостылел девице Антуанетте Бриньон: оба конкурировали по части видений и бесед с ангелами. Мой батюшка, почтенный пастор Мартин Штакельгрубер, предоставлял Кульману пищу и кров, когда тот наезжал в нашу милую Гапсалу. Они толковали о разных материях, но когда Кульман называл доктора Мартина Лютера доктором антихристового чина, мой добродушный отец очень негодовал и бил Кульмана оловянными ложками и тарелками. Кульман умер где-то у вас, в Московии, но потом, будучи не принят, где следует, вернулся к нам; ему, видите ли, здесь особенно спокойно.

— Какая милая история, — сказала Екатерина Николаевна. — Но отчего этот ворон вас так раздражает?

— Он мне не дает покоя, ни днем, ни ночью. Он сам ничего не может, он даже не в аду. Но он сплетничает графу и молодому графу Адольфу про все, с кем я и как. И тогда это графское отродье принимается за меня так, что мне кажется, что они замуровывают меня и мне нечем дышать, будто я по их милости и не умираю давным-давно раз и навсегда. Мой бедный батюшка, почтенный и добрый пастор Мартин Штакельгрубер принужден только вздыхать на своих небесах, ведь он оттуда ничем не может мне помочь. Из моей родни только одна тетушка, та, что торгует внизу астрами, знаете, она всегда была настоящая добропорядочная ведьма, а не такой ничего

не стоящий лживый дух, как я, лишенный чести лежать за церковной оградой. Только одна моя тетушка способна бороться с этим мерзким Квирином Кульманом, — она частенько его обманывает в моих интересах.

— Позвольте, — спросила Екатерина Николаевна. — Вы, кажется, что-то говорили на море о вашем могильном камне. Разве он не за церковной оградой?

— Да, конечно, он там. Но это только камень. А мои кости здесь, в этой стене, почти там, где вы сейчас стоите. Знаете, мадам, это подлая ревность. Кроме того, это глупое суеверие, замуровывать человека, чтобы эта подлая башня стояла как можно дольше. Вот она и стоит.

— Мне вас очень жаль, — ненатурально сказала Екатерина Николаевна. Дама в белом в прошлый раз, на берегу, показалась ей милой и образованной женщиной буржуазных упорядоченных времен. Трудно было предположить, что это в прошлом всего лишь деревенская шлюха, чуть не ведьма, во всяком случае, племянница таковой, вообще лживый дух, лярва, — о, Екатерина Николаевна, конечно же, читала "Темные силы" Лодыженского.

— Граф Адольф заплатил моему папаше, моему добродетельному пастору, чтобы это дело было шито-крыто, чтобы никто не знал, что они меня замуровали. А под плитой с моим именем похоронили моего милого Ганса, граф Адольф сам его и зарезал. Вот, дорогая, какие бывают люди на свете! Когда старый Кульман долбит плиту, это разрывает мне сердце, ведь бедному Гансу так, наверное, от этого несладко. Впрочем, я не знаю, я его нигде не встречала, ни здесь, и ни там.

— Вы все еще любите его?

— Как можно любить то, чего нет ни здесь, ни там? После того, как нас разлучили в графском склепе, куда мы прятались, чтобы заниматься любовью, — к тому же я лично хотела досадить старому графу, который лежал там в гробу совсем как натуральный: ведь это он в одну прекрасную душную ночь лишил меня моей дорогой невинности и научил разным мерзким, но увлекательным штучкам. После того, как нас разлучили в этом графском склепе, мы больше, увы, не виделись. Но с тех пор я нахожу удовольствие в том, что подыскиваю

себе парней, пока живых, похожих на моего дорогого Ганса. По большей части они оказываются дальними родственниками Ганса в каком-то там колене. Ах, дорогая, наш городок так мал, и все здесь друг друга знают.

— В прошлый раз, когда вас видели все, мне показалось, что вы мне погрозили пальцем. Так ли это? — спросила Екатерина Николаевна. Она совсем успокоилась. В ней оставалось немного ревности и безразличия.

— Как вам кажется, мое появление было достаточно эффективным? Не правда ли, очень мило? Этот маленький аттракцион их развлекает. Но пальцем я погрозила именно вам и была права. Этот парень, чье бедро вы так нежно гладили, он очень похож на моего Ганса. У них даже примерно одно и то же имя. Я знала, что все будет так еще до того, как вы с ним любились. Мне ведь тоже кое-что перепало в сарае, хотя он вам сказал, что это была соседка. Не краснейте, пожалуйста, дорогая, то, что я вам говорю, не узнает никто, даже моя тетка, та, что торгует там внизу астрами. Если бы я была сильно заинтересована в этом Юхане, я бы добилась своего еще не раз. А вы бы через минуту лежали внизу со свернутой шеей и вытаращенными глазами, и, может быть, с высунувшимся языком. И все бы подумали у вас в вашем Петербурге, что вы выбросились с горя, от непереносимой разлуки с вашим легкомысленным и столь печально умершим отцом. Но я этого не сделаю. Мне нравится ваша сдержанность, ваш такт, ваша независимость, ваше, если не ошибаюсь, бесстрашие. Мне всего этого не хватало. О, я была очень порывиста. Только со временем я научилась кое-как себя сдерживать. Я понимаю, дорогая, ваши потрясения и ваш возраст, простите, могли на мгновение сделать вас безрассудной и привести в обьятия такого юнца. Мне он тоже ни к чему. Никто не заменит мне моего бедного Ганса. Разве что на раз-другой. Но этот Юхан, он нам обеим мешает. Для вас он слишком молод, а для меня — слишком жив. Предоставьте его судьбу мне. И скоро у вас не будет никаких оснований его ревновать к кому-либо.

— Не трогайте его, мадам, — безнадежно попросила Екатерина Николаевна.

— Отчего же, — улыбнулась дама в белом. — Он не стоит вашего сочувствия, Кетхен. Вы его так мало знаете. У него

была, скоро можно будет так сказать, такая неопределенная, податливая, бессодержательная натура. А пока он еще любит не нас с вами, а свой мотоцикл, скорость, свои вельветовые брюки и свое крепкое тело.

— Не надо причинять ему зла, — еще примирительнее попросила Екатерина Николаевна.

— Ах, Кетхен, дорогая, довольно. Я чувствую, что мы с вами все решили правильно. Так давайте исполним одну из многих детективных историй. Взгляните вниз, вот туда, видите домик под старой липой? Там я жила, очень много лет назад, у меня на окнах были клетки с канарейками. Моя бедная тетя, она все еще сидит со своими астрами. Ее когда-нибудь погубит эта страсть ненормальная к цветам. Сделайте ей приятное, купите ее очаровательные растения. Они принесут вам покой.

Екатерина Николаевна посмотрела вниз, а когда обернулась, дамы в белом в башне уже не было. Солнце садилось и длинные тени окон-бойниц протянулись через всю круглую комнату-залу. Она благодарно кивнула старику-красноармейцу и он радостно улыбнулся.

— Замечательный музей устроили наши атеисты и историки. Вы провели там немало времени. Значит, есть на что посмотреть. Диаграммы восстаний, народных мятежей, фотографии и гравюры. Когда я сторожил кремлевские стены и наших дорогих ныне покойных вождей...

Екатерина Николаевна не слышала его. Она была спокойна и безучастна. Это не было спокойствие, приходящее как отдых. Душа сделалась безразлична, а тело легко. Она купила у ведьмы, сидевшей подле новых железных ворот свои астры, голубые и красные, и вернулась в комнату с кожаным довоенным креслом и лампой под розовым абажуром, которую пора уже скоро было зажигать.

Она прожила в Гапсале еще несколько дней. Несколько дождливых, серых дней безо всякой луны, в которые смогла дочитать несвежее творение Агаты Кристи. На сей раз старая Агата показалась ей невообразимо скучной. Каждый вечер на всякий глупый случай она проходила мимо замковых ворот: его мотоцикла не было и не было старухи с цветами. И тогда Екатерина Николаевна собралась домой. Всего неделя, но она, кажется, успокоилась. Если бы не было дождя, можно было бы

побыть еще немного. Теперь она наверное знала, что Юхан ей ни к чему.

На автобусной остановке рядом со старинным железнодорожным вокзалом, за которым уходили в бурьян заржавевшие рельсы, стояла женщина в белом. Екатерина Николаевна заметила ее только тогда, когда шофер завел мотор. Дама в белом подошла к ее окну и протянула Екатерине Николаевне журнал.

— Прощайте, дорогая. Полистайте, здесь есть миленькие советы нам, женщинам. Прощайте, молитесь за упокой души бедного Юхана и за грешную Анну. Я стала слишком суетливой, пора положить этому конец. Надеюсь, мы с вами больше не встретимся.

Автобус тронулся и повернул на узкую улицу, чтобы короче выехать на шоссе. Екатерина Николаевна обернулась. Дама в белом стояла все там же, на остановке, и улыбалась не очень приветливо. В автобусе говорили, что вчера где-то здесь на шоссе разбился мотоциклист: стараясь не раздавить внезапно выбежавшую на дорогу девушку, он врезался в такой же вот междугородний автобус. Там отделались легкими ушибами.

Шел мелкий дождь. Смотреть на природу было скучно. Екатерина Николаевна листала журнал, английский дамский журнал, где, среди прочего, она с интересом прочла: "Элегантность — это уверенность. Элегантная женщина умеет рисковать. Самая элегантная женщина послевоенных лет — это Шанель. Элегантность сегодняшнего дня более индивидуальна, чем прежде. Двадцать пять — время наибольших возможностей. Продуманная стрижка. Тридцать пять — время наибольшей изысканности. Надо сохранять железные мускулы и иметь в записной книжке нужные адреса. Ваши друзья — регулярный массаж и очень модная обувь. Меняются размеры бюста и отношение к окружающему. Сорок пять — максимум простоты. Рекомендуются поражать, но никогда не разочаровывать".

Екатерина Николаевна проезжала через печальные чухонские поля, имея некоторый новый опыт, если только этот новый опыт мог быть ей полезен.

Андрей Грицман

НЬЮ-ЙОРК

Стечение времен,
где не находят места
провалы голосов,
зияние извне.
Сыреющие дни,
под сумрачным навесом
окрестных городов
дрожащие огни.

Гниет река и, чувствуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет
в церковные дворы.

У зеленой — языческие краски,
и статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я тебя люблю.

Октябрь, 1995

АВТООТВЕТЧИК

Пусто. Безответно. Бесконечно
время без твоих звучащих черт.
На Восточном побережье вечер,
провода перебирает ветер
и холмисто-аккуратна смерть.

Жизнь доходит долгими гудками,
провода — задумчивый тростник.
Только еле слышно, как над нами
исчезает недошедший снег.

Вьется пленка, шевелятся губы.
Я молчу. О чем же ты молчишь?
Зимний дождь шумит на побережье
по машинам и по скатам крыш.

Александр Алейник

* * *

Я в городе пожарных лестниц,
горящих букв, витрин, экранов,
полураздетых, сумрачных прелестниц,
шестнадцатиметровыми ногами
перебирающими в розоватом нимбе
над полчищами каменных стаканов,
построившихся на гранитной рыбе,
захватанных распухшими руками
из неба; в пестрой вермишели трубок,
горячечно пылающих ночами,
зовущих на покупку и поступок
светящейся субстанцией печали.

Шустрят огни, переливаясь в пене
сверкучих мыл, лосьонов и одежды,
витающие над толпой виденья
удачи, вождения, надежды.
Под этим освещеньем Валтасара
стремится кровь раз семьдесят в минуту,
придти домой, зажечь огарок,
пролить в тетрадь чернильную цикуту.
Не побежишь в букеты фейерверка —
когда подумаешь: как жизнь мелькает,
а календарь чугуною шиберкой,
гремит и синим полымем
сгорает.

7 февр. 96

Ирина Муравьева

БЛИЗНЕЦЫ

Н. С. Т.

"Дай Бог, чтобы все это поросло быльем... Все это..." Лететь было еще далеко. Пересадка в Лондоне. Странно. Вот он летит в Америку к брату, которого не видел десять лет. Десять? Нет, уже одиннадцать. К брату, которого не видел одиннадцать лет.

— Дай Грише уточку, ишь ты, какой жадный! — говорит нянька и вырывает у него ядовито-красную уточку, купленную на загорском рынке.

Их купают в корыте, поставленном прямо на траву. Слева забор и крапивные заросли. Наверху — слепящее, желтое, неподвижное. Нянька намывает Гришину голову куском серого хозяйственного мыла. Вода плещет на зеленую траву, крапивные заросли.

Странно. В Америку, к брату, которого не видел одиннадцать лет. А сколько ему было, когда, плаваясь от scarлатинного жара, он глядел в синее небо с оторвавшимся от уплывшего облака пером, пока на этом небе не появилось вдруг Гришино испуганное лицо и прошептало:

— Я к тебе по пожарной залез. Кончай болеть, а?

Значит, в Америку? Да, к брату, которого не видел одиннадцать лет. Память проводит красную черту, переступить ее не хочется.

"Сегодня не опаздывай, — у матери взволнованное лицо, и не понятно, радуется она или ужасается. — Не смей сегодня опаздывать. Гриша придет с невестой".

Влажная, красная начинает кровоточить. Не вспоминай даль-ше! Зря он, наверное, все-таки... В Америку, к брату...

За столом, накрытом праздничной скатерью, сидели его родители, Гриша в каком-то ярком галстуке и незнакомая женщина.

Появилось — где? где-то в воздухе — ощущение мягко разглаживаемого черного шелка. Кто-то прямо перед лицом его разглаживал черный шелк, сквозь который смущенно прорывался голос, сразу напросившийся на пошлейшее сравнение с соловьиной трелью... Нет, не трелью, с соловьиной первой пробой, без разливов, без раскатов.

"Господи, как похожи! — сказала она. — Господи, как... Я даже подумала, что это Гриша вошел в первую минуту!"

И мать — гордо:

"Да я же предупреждала вас: близнецы! Но глаза у них разные. Вы всмотритесь. Видите?"

На ее лицо падал свет. Желтизна заливала черный шелк гладко причесанной головы, белый шелк лба, и глаза, согласно материнскому предложению, всматривающиеся в его глаза, казались светлее.

Утром он ждал ее у обшарпанной школы, в которой она преподавала литературу в старших классах. По дороге заскочил на вокзал, купил цветов. Огромную нелепую охапку васильков. Взял все, что было в корзине у заспанной бабы, крест-накрест перевязанной платком поверх пестрого платья. Какую ерунду удерживает память! Клетчатым, коричневым платком... Он совал ей в руки, занятые школьными тетрадками, рассыпающиеся васильки и ничего не соображал. Черный шелк поблескивал прямо перед его глазами над радостным, пушистым, синим...

Она бормотала, обороняясь от васильков, отступая:

"Что вы? Зачем? Не нужно..."

И, теряя голову, он бормотал в ответ:

"Прошу вас, выходите за меня..."

"Что?" — ахнула она и засмеялась.

"Замуж, прошу вас, замуж за меня, пожалуйста..."

"Замуж?"

Она смеялась, ресницы становились мокрыми.

"Но ведь Гриша... Ведь вы же знаете, что мы..."

"Я скажу ему, — дотрагиваясь до часов на ее запястье, бормотал он. — Вы только не решайте ничего, я сам скажу, подождите..."

И оставил ее, бросился на стоянку такси, кожей спины, за которой она осталась, чувствуя всю странность своего поведения, но наполняясь при этом безудержным восторгом, подсказывающим, поддакивающим: "Да, да! Только так!" И Грише, вышедшему к нему в белом халате, удивленному и нахмуренному, выпалил прямо в лицо, побагровевшее, задрожавшее от гнева:

"Ты прости. Я сам не понимаю, что со мной. Только я ее тебе не уступлю".

Одиннадцать лет прошло. Может, зря он все-таки? В Америку? К брату?

...Стюардесса на спичечных ножках улыбнулась земляничными губами...

Вечером он слонялся около ее дома, краем сознания понимая, что окончивший дежурство Гриша может вот-вот спрыгнуть с подножки троллейбуса, увидеть его. И что тогда? Неужели драться? Но не Гриша спрыгнул, а она отворила окно, свесилась со второго этажа. Он подкинул ей вверх недолевшего газетного голубя, поднял руки: "Не бойтесь, поймаю!" И опять почувствовал, как вспыхнувшая кровь восторгом ударила в голову: "Только так! Правильно!" Она засмеялась, черный шелк гладко причесанной головы в шутливом негодовании обхватила руками:

"Что вы здесь делаете?"

"Не бойтесь, прыгайте ко мне!" — повторил он.

И она вдруг и впрямь сделала какое-то летящее движение вниз, прямо в его поднятые руки, но тут же замерла, прошептала:

"Подождите, я сейчас спущусь".

Они гуляли по набережной, и, не слыша собственного голоса, он рассказывал ей обо всем на свете: детстве, родителях, работе, буддизме, которым тогда увлекался... Они стояли прямо над водой, маслянисто-черной, с розовыми перламутровыми разводами на поверхности.

"Пойдемте обратно, — сказала она и резко вздрогнула. — Пойдемте, холодно!"

У подъезда стоял Гриша, заложив руки в карманы брюк. Смотрел, как они приближались.

"Ну, что? — произнес он спокойно. — Поговорили?"

"Просто поговорили, — прошептала она. — Ты слышишь?"

"Верю", — он вдруг снял очки, спрятал их в карман.

Неужели драться? Она подошла к Грише, взяла его под руку.

"Я хочу, — и видно было, как он крепко прижал локтем ее руку. — Я хочу, чтобы ты произнесла то, что сказала мне по телефону. Чтобы он услышал от тебя".

"Может быть, не надо? — прошептала она. — Зачем? Словами..."

"Словами, да. А чем же еще?"

И резко оторвал затылок от подъездного столбика, к которому прислонялся:

"Я жду".

"Не надо приходить сюда, — выдавила она, наконец. — Это так неуместно, странно... Тем более, что я скоро буду вашей — как это? — золовкой, да?"

...Сколько лет прошло с того вечера? Двенадцать?

Родители, не переставая, звонили в роддом, что-то там не ладилось. Решался вопрос об операции. Утром заскочил Гриша, осунувшийся, небритый, счастливый. Мать расплакалась: "Слава Богу! Мальчики! Близнецы!"

И опять он сорвался. Плевать! С детьми, без детей, только бы увидеть! Черный, мягко расстилаемый, с серебром внутри, поблескивающий... Но выждал все-таки. Месяц, чуть меньше. Они жили тогда в маленькой квартирке на Зубовской, снимали у старухи, уехавшей к дочке в Киев. Снег заметал Зубов-

скую, из булочной в переулке пахло свежемолотым кофе. Она открыла ему, простоволосая, измученная, в старом халате. В глубине полутемной квартирки посапывало что-то, попискивало. Он положил цветы, замороженные, приторно пахнущие, прямо на пол.

"Как я рада, — сказала она. — Как хорошо, что ты..."

Не помня, не понимая, путаясь освобожденными от очков зрачками в ее черных волосах, вздрагивающих ресницах, дыхания, он обнял ее, прижал к своему заснеженному пальто.

Она высвободилась. Не сразу. Это он и сейчас точно помнит: не сразу. Они стояли в темноте, и он прижимал к своему пальто ее теплую голову.

"Хочешь посмотреть? Я никого еще не приглашала, потому что вирус... Но ничего, пойдем".

Две белые высокие кровати стояли рядом, и в каждой лежало по куколке. Ощущение неловкости и страха, с которыми он переступил порог, пропало. Он всмотрелся. Куколки были одинаковыми, с выпуклыми, темными веками, похожие на маленьких желтолицых китайцев. Это были ее дети. И они неуловимо походили на Гришу. Но Гриша, все это знали, как две капли воды походил на него. Это были ее дети, похожие на них обоих. Она стояла рядом, в теплой полутьме, блестя глазами. Одной рукой он обнял ее за плечи, продолжая всматриваться. Не глядя, почувствовал, как она мягко, нерешительно улыбнулась.

Вдруг одна из китайских куколок сморщилась, багрово покраснела. Она выскользнула из-под его руки, наклонилась, разведя широкими рукавами халата, засуетилась, защебетала.

"Нет, я так не могу! Ну, я же не могу так! Так я не могу!"

Он шел по бульвару, ничего не замечая от продолжающего падать снега и отчетливо видя перед собой, в этом ослепшем от снега дне, только руки ее в широких рукавах старого халата, разведенные над высокими кроватками.

Это были ее дети, похожие на него. На него? Нет, на Гришу. Это были ее дети, похожие на Гришу. Ночью он смотрелся в зеркало, пытаясь представить себя на месте брата. Вот он приходит домой, и все это: маленькие, желтолицые, по-

хожие на китайцев куколки, и она, с распущенными шелковыми волосами, с соловьиным горлом, нерешительная, теплая, мягкая, всё до последней капли принадлежит ему.

Под утро он заснул, и маленький Гриша с октябрятским значком на школьной курточке сказал ему:

"Ну, не умею! Завяжи, что тебе, трудно?"

"Трудно, — пробормотал он, глядя в пол. — Сам научись".

"Хорошо, — согласился Гриша. — Но сейчас ты все-таки завяжи".

И, наклонившись, он завязал шнурки на Гришиных ботинках. Бантиком, как их учили.

Снег засыпал Зубовскую. Худые деревья в белых сверкающих шапках.

Она не говорила: "Не приходи", когда он звонил из автомата у метро. Но она ни разу и не пригласила его, это правда. Чаще всего он приносил цветы. Всегда одинаково, приторно пахнущие, подмороженные. Потом она сказала: "Не надо, у детей может быть аллергия на запах", — и он стал приносить фрукты. На лотках перед метро краснолицые, закутанные до бровей продавщицы, в заляпанных халатах поверх пальто, приплясывая от холода, продавали хурму, покрытую тонкой ледяной корочкой, мелкие зеленые мандарины с налипшей стружкой. Она мягко улыбалась и удивленно покачивала головой, принимая от него эти колом стоящие пакеты. Иногда ему казалось, что, заскакивая к ней в обеденный перерыв, нагруженный, он словно бы играет в какую-то игру, в которой ему отводится роль Гриши, то есть мужа, а ей — ее собственная роль, только не Гришиной, а его жены. Игра была сладостной, мучительной, от нее можно было сойти с ума, но прерывать ее не было сил. Сколько это тянулось? Месяц, два? Как-то утром Гриша позвонил ему на работу:

"Я загляну к тебе после дежурства, если можно. Ненадолго".

Гришино лицо было абсолютно спокойным:

"Мы собираем документы на выезд. Надеюсь, еще проскочим".

День их отъезда начался с грозы. И ливня вслед — не приведи Бог! Улицы стали черными, звенели. Школьницы, сняв босоножки, шлепали по лужам.

Какую ерунду удерживает память!

Вчера на рассвете Марта вдруг сказала ему: "Не могу судить по фотографии. Она интересная, Гришина жена?!" "Съезжу — посмотрю", — усмехнулся он. Она поправила розовые бигуди на затылке: "Мука мученская — спать на этом!" — и руку с отполированными ногтями положила ему на живот. Он привычно напрягся. Рука сделала вялое поглаживающее движение и вернулась на зеленое одеяло.

Конечно, он привык к ней. Без нее было бы еще хуже. Одно поражало: она так любила открытые кофточки, могла часами красить глаза, с удовольствием рассказывала вольные анекдоты в компании, но в отношениях с ним оставалась какой-то ученически-однообразной и бестолковой. Иногда, глядя, как она сидит в ресторане Дома композиторов в длинном, открытом платье с доходящим до колена разрезом, он с удивлением ловил себя на мысли о том, как невыносимо скучно ему с этой смеющейся, слегка похожей на итальянскую киноактрису, женщиной.

...Был же где-то в этом мире, одновременно с ним, с его тоской, с Мартой, был же где-то не зависящий от него, любимый, принадлежащий не ему черный шелк гладко причесанной головы и голос — негромкий, смущенный, похожий на первую соловьиную пробу — без разливов, без раскатов... Ведь был же...

Они хлопали друг друга по плечам, непохожими глазами всматривались в почти одинаковые лица. Впрочем, нет: прежнее сходство их лиц заметно уменьшилось. Гришин подбородок округлился седой бородкой, глаз почти не было видно за темными очками. На нем была какая-то мягкая, похожая на байковую, клетчатая курточка.

"Аня хотела поехать со мной, но у Вовки, как назло, высооченная температура. Она осталась. Грипп, наверное, здесь такие поганые гриппы-однодневки, а Димку я тебе привез. Узнаешь?"

Желтолицая, похожая на маленького китайца куколка вытянулась, побелела и превратилась в коротко стриженного мальчишку с дыркой на джинсах и запахом ментола из жующего рта. Мальчишка небрежно протянул ему руку:

"Хай!"

"По-русски! — свирепо отреагировал Гриша. — Только по-русски! Вот, ты не поверишь, насколько эти подлецы забыли язык! Ору на них, чтобы по-русски разговаривали, не хотят!"

Расползшийся огнями город, пульсирующий лиловым, желтым, огненно-красным, всосал в себя небольшую юркую машину, и она покорно побежала по его хриплым беспокойным улицам, по его невысказанным мостам, вдоль его медленно вечеряющей знаменитой реки, истыканной точками отраженных и действительных огней. Он сидел на переднем сидении рядом с братом.

"Хочешь? — с акцентом спросил племянник и на ладони протянул ему липкий зеленый квадратик. — Мэнтол!"

Он покачал головой. Гриша, неизвестно измененный седой бородкой, раздраженно гудел на светофорах, чертыхался на "пробки" и всем этим, очевидно, пытался притушить неловкость первого момента и слишком оживленную бойкость разговора, который оба вели с какой-то приподнятой механичностью, работая отделившимися от неясных еще чувств губами. Правда, в начале разговор споткнулся:

"Неужели совсем-совсем прикована?"

"Да, ты знаешь, — отвечая, он вдруг ощутил, что задышится. — Тут ведь, как объясняют, все сразу: паркинсон и рассеянный склероз..."

"Ну, а лекарства мои помогают?"

"Вроде бы — да. Мы ведь держим сиделку. Отец не справился бы, это невысказано".

"Представляю, — сказал брат медленно. — Мне надо поехать туда. После".

Искося он взглянул на Гришин профиль с небольшой аккуратной горбинкой, небрежно поднятый воротничок байковой клетчатой куртки и вдруг почувствовал стыд за свой новый австрийский костюм, черные ботинки, рубашку с галстуком.

Провинциально? Неуместно? Но ведь ничего же у нас, черт возьми, нет! И не зря ли он все-таки в Америку? К брату?

В первый момент показалось, что она не изменилась. Обняла его с родственной непринужденностью, он растерялся, снял очки, как всегда, запутываясь в незабытом, все том же блеске ее зрачков, волос, смущенного голоса. Потом, отстранившись, увидел: изменилась. Лицо как будто ярче. Он вгляделся: краска. Волосы стали короче, тяжело падали на плечи. Она и похорошела и подурнела одновременно. Новыми были движения. По их нервной уверенности ему показалось, что она что-то скрывает. Что она скрывает?

"Мы так рады, — мягко говорила она, забыв руку на его руке. — Это невероятно, что ты здесь! Просто хочется ущипнуть себя, как во сне, знаешь?"

"Я полагал, что ты хоть на стол накроешь к нашему приезду", — недовольно заметил Гриша, выходя из ванной и причесываясь на ходу.

"Ты не поверишь, но я не успела: все время звонил телефон, проклятье какое-то!"

Голос ее, несмотря на улыбку, был просящим, виноватым. Неужели она всерьез оправдывается?

Брат показывал город. Они бродили по грязным запруженным людьми улицам, и время от времени Гриша говорил: "Смотри!" Он смотрел. Город был ни на что не похож.

Вдруг брат произнес:

"Нью-Йорк успокаивает. Нет, серьезно. Когда мы только приехали, бывало настроение, что хотелось застрелиться. Ни работы, ни языка, ничего, и этот ад вокруг. А месяца через два случайно попали в гости к кому-то на тридцать седьмой этаж. Уже не помню, к кому. Граница Нью-Йорка и Нью-Джерси. Все, как на ладони, все в огнях. Жизнь, не зависящая от на-

шей. Миллионы жизней. И стало почему-то легче. Главное: на себе не заклинивать".

Вместо ответа он спросил:

"Неужели было так трудно?"

Вышли на Пятую авеню. Она переливалась, вспыхивала. Гриша поморщился.

"В общем, да. Трудно. Оттуда-то дворцы мерещились. Стоят и нас поджидают. А на деле оказалось, что надо на улице матрасы подбирать. Ехали за свободой, а сами оказались в таком плену обстоятельств, что не приведи Бог! Главное — приходилось все время договариваться с собственным самолюбием, согласиться, что на непредсказуемый отрезок времени ты — ноль, и с нуля начинать..."

Чувствовалось, что к этому не хочется возвращаться.

"Ну, а Аня — что?"

"Аня сидела с детьми. Первый год ей было очень одиноко. Тем не менее..."

И он опять поморщился. Пятая авеню ядовито вспыхивала.

"Тем не менее можно было меня меньше дергать. Знаешь: депрессия, депрессия... Все это, конечно, так, но есть периоды, когда ты можешь себе это позволить, а есть периоды, когда не можешь. Моя жена, к сожалению, этого не понимает".

Сквозь сон он услышал, как Гришин голос произнес:

"Можешь ты что-нибудь взять на себя? Что-нибудь, накопец? Хотя раз в жизни?"

Ответа не было слышно. Плеснуло где-то серебром в ночи и растаяло. Плеснуло и стиснуло. Опять он почувствовал, что задыхается. Город горел внизу. Небо без единой звезды висело над ним. Никому в этом городе и в этом небе не было до него дела.

Они сидели на лавочке, подставив лица солнцу. От солнца краска на ее веках казалась слишком отчетливой. Губы без помады мягко говорили:

"Никогда я не жалела, никогда не скучала по Москве. Там осталось что-то невыносимое: быт этот, озлобление, очереди. Но здесь наступило другое..."

Он следил за ее губами.

"Похоже, что я жила в скорлупе. Была какой-то слишком избалованной. Ты понимаешь, избалованность ведь не в том, чтобы кто-то подавал тебе кофе в постель, она в общем требовании к жизни, в требовании, чтобы все было хорошо. Что все *должно* быть хорошо, *должно* быть празднично. И если это нарушалось, наступала какая-то словно бы обида: почему так? Болезни, разрывы, страхи — почему так? Я как-то слишком уж остро надеялась на другое и..."

Чувствовалось, что она хочет выговориться.

"В Москве было напряженно, раздраженно, утомительно, но не было ощущения, что я не справлюсь с жизнью как таковой. Казалось, что я ее улавливаю, понимаю. А здесь у меня словно открылись глаза: я именно *не* знаю, что делать, как жить... Я растерялась в каком-то, ты будешь смеяться, в каком-то *общем* смысле. Ты слушаешь меня?"

Ей хотелось выговориться. Что-то накипело внутри, наболело. Это он чувствовал. Но вот понять, что она говорит, вслушаться, ответить, не мог. Черный шелк наматывался вокруг горла. Дышать было нечем. Дрожащего соловья хотелось взять в ладони, прижаться к нему лицом. Он следил за ее губами.

"Началось с Вены, с ерунды, в общем. Мы жили в гостинице на краю города. По утрам советские эмигранты выглядели, как олимпийская сборная: все в одинаковых шерстяных тренировочных с белыми полосками..."

Он рассмеялся, схватил ее за руку.

"У меня и сейчас такой в чемодане..."

Просияла. Не отвела руки, вернее, не сразу отвела. Движения ее вдруг обрели прежнюю естественность.

"Там, в Вене, была семья: мама, бабушка и дочка. Маму и дочку звали Тина и Дина, а бабушку не знаю как, но мы с Гришей прозвали ее Аргентиной. Тина, Дина, Аргентина. И все три — маленькие, лупоглазенькие, вроде бы совершенно безобидные. Через пару дней прилетел еще один самолет из Москвы, и вечером в кухню, где были мы с Тиной, вошел старичок. Сморщенный, как листик, и сказал, что только что прибыл, едет куда-то, чуть ли не в Австралию, не то к дочке, не то к сыну. И нельзя ли где-нибудь тут выпить чаю, потому

что он сутки ничего не ел, австрийских денег у него нет, банки закрыты. И вдруг, не успев рта раскрыть, эта лупоглазенькая Тина говорит ему: "Могу продать вам два яйца. У вас есть доллары? Два яйца за полтора доллара".

Он засмеялся. Она удивленно приподняла брови.

"Не сердись, — произнес он и, не сдержавшись, опять дотронулся до ее руки. — Не сердись. Грустно, конечно".

"Грустно? — усмехнулась она. — Страшно, скорее. И потом..."

Ничего не понимая, он следил за ее губами. Смысл проносимого ускользал, утекал, как вода. Вдруг он опять услышал, наверное, откуда-то из середины:

"...какой уж тут покой, трудно, просто дышать нечем!"

Он кашлянул. Дышать? Да, дышать было нечем.

"Гриша... — голос ее вдруг осекся. — Гриша говорит, что у меня нет стержня. Он говорит, что если у человека есть настоящие моральные ценности, то он никогда не сделает то-то и то-то. И никогда ему в голову не придет это, это и это. И всегда он будет такой и сякой. Не знаю, может, он прав, но уж как-то очень по-своему, стерильно, наперекор жизни..."

"Дети у вас, — хрипло сказал он. — Дети у вас замечательные".

"Дети? — эхом откликнулась она. — Да. Но ведь они между двух огней. О, как я тосковала здесь поначалу! Как мне нужны были люди! Все равно, какие. Ну, примитивные, ну, простые. Какая разница? А он на все делал круглые глаза: "Тебе не жалко времени?" или: "Займись делом!" Из себя выходил, когда я говорила по телефону... Но разве проживешь в одиночку? В одиночку мы еще в могиле наложимся!"

Ей хотелось выговориться. Солнце прожигало черный шелк, белое горло.

По утрам он стал убегать из дома. Бродил по городу, слушал его гудки и хрипы. Список вещей, аккуратно составленный Мартой, лежал на дне чемодана. Ничто в прежней жизни не имело смысла. Другой же жизни не было. Казалось, что все сорок три года он был туго-натуго спеленут, и перед ним,

спеленутым, проносили разное, дразнили, заманивали. Было всякое: страх, ночь и музыка, были женщины с разрезами до колен и женщины с любовью и нежностью, была работа и праздность, московский снег и чужая Америка, парализованная мать и брат, измененный до неузнаваемости, но впереди всего этого и поверх всего этого была смерть — за бортом его теряющего силы, упрямого корабля, который все свои сорок три года плыл в одном ожидании, в одной озверевшей надежде на это соловьиное, шелковое, чужое...

...Он представлял, как через две с небольшим недели придется обнять Марту. Видел руки свои, с легким механическим усилием вынимаемые из карманов и вжимающиеся по привычке в узкие Мартины плечи. Лицом к лицу, и глаз не спрятать. Закрыть можно. Он закроет глаза, и ее теплые губы измажут помадой его щеки.

С самого начала они дали ему свой ключ, но обычно он все-таки звонил снизу, чтобы не застать ее врасплох. И сейчас позвонил. Никто не ответил. Открыв дверь своим ключом, он ступил в полутемный коридор. За стеклянной закрытой дверью кухни увидел, как она сидит в качалке, щекой прижавшись к левому плечу и крест-накрест обхватив себя руками за плечи, а взъерошенный седобородый Гриша стоит над ней и говорит свистящим — громче всякого крика! — голосом — и потому не удивительно, что они не услышали его звонка.

"Если ты оставляешь за собой право жить так, как считаешь нужным, то чего же ты требуешь от меня? Да провались он пропадом, тот день, когда я..."

Все это было похоже на кадр из фильма. Он прекрасно видел их, освещенных солнцем, жестикулирующих за матовой кухонной дверью, в то время, как они его, застывшего в коридорной полутьме, не видели, не замечали, поглощенные своим гневом, своей, не известной ему, жизнью.

Она вытянула руки вперед, как слепая, и за краешек свитера осторожно потянула Гришу к себе. Левой ладонью он ударил ее по пальцам.

"Больно! — она отдернула руку от свитера. — Больно же! Как тебе не стыдно!"

Свистящий голос перекрыл ее ахнувшее робкое "о".

"Да перестань!"

"Что перестать?"

"Все это игра, клубная игра! Ты перед другими можешь выламываться, а меня оставь! Ни одному твоему слову не верю и не поверю никогда! Ты лучше вспомни, сколько на твоей совести?"

"Как у всех... — прошептала она. — Как у всех..."

Он не смел подсматривать. Но куда было уйти? И ему, подсматривающему, становилось ясно многое. Он видел, как ее движения обретали ускользающую фальшивость, напрягались. Она не лгала голосом, робким, прежним, не лгала своей закинутой шелковой головой, она лгала руками, уцепившись за край Гришиного свитера и тянущими его к себе. Подтянула и лицом уткнулась в свитер. Теперь он видел Гришу в то время, как она, зарывшаяся в свитер, его не видела и не знала, что Гришино лицо над ее головой переживало потребности в смягчении и смертельную усталость, боролось со своими подозрениями, с собственными заострившимися чертами, растопыренной от гнева седой бородкой. Боялось уступить ей, ее шелковому прикосновению, боялось сдаться, но не было уверено в своей правоте и, главное, — фальшивым рукам ее и шелковому прикосновению — верило.

И, беспомощное перед ней, светлело, успокаивалось. Жестом отпускающего грехи, смешным со стороны и невольно картинным, он положил ладони на черноволосую голову. Руки ее скользнули вверх и погладили его плечи наощупь, ибо сама она не отрывалась от свитера, вжималась в него все глубже, словно бы не хотела участвовать в собственной фальши, словно бы не имела к ней никакого отношения. А Гришины ладони в ответ, сценическим жестом оторвав ее от полосатой шерсти, обратили к себе это прячущееся лицо, на которое у него было многолетнее хозяйское право.

Не выдержав, он кашлянул. Она вскочила, залившись краской. Брат вышел к нему в коридор.

"А, это ты, — сказал он. — Проходи, я заскочил на минутку".

И неожиданно, очевидно, пряча неловкость, взял его двумя пальцами за воротничок:

"Здесь, между прочим, рубашки каждый день меняют, учти на будущее".

Он не успел возразить, что у него две одинаковые рубашки, к счастью, он успел прикусить себе язык, начавший это нелепое оправдание, как брат отпустил его воротничок, и дверь захлопнулась.

Она сидела в качалке в прежней позе: поджав ноги и щекой прижимаясь к левому плечу.

"Что у вас произошло?"

"Ничего особенного. Говорим на разных языках, не докричаться. Похоже, что нам все надоело. Дошли до черты, когда все, что у тебя есть, выглядит, как черновик. Хорошо бы переписать его набело, но писать нечем и бумага кончилась".

Она засмеялась фальшивым, не своим смехом.

"С бумагой — дефицит".

Не отдавая себе отчета, он опустился на пол рядом с качалкой, вжался в ее колени.

"Что ты? — вскрикнула она. — Что с тобой?"

"Что, что, — быстро, грубо сказал он. — Не могу без тебя, вот что!"

Он целовал колени под длинной старой бархатной юбкой, и вся его туго спеленутая жизнь, которую столько лет мяли, толкали, дразнили, пачкали теплой помадой, лежала теперь на этих коленях, легкая, освобожденная, вздрагивая от счастья и ничего не требуя.

"Подожди, — услышал он ее голос. — Помнишь, тогда в Москве, ты был так похож на Гришу, а я так любила его, что мне даже казалось иногда, что я люблю и тебя тоже. Делая тебе больно, я боялась сделать больно ему. Мне было страшно оттолкнуть тебя, а теперь..."

Колени ее были прекрасны. Тусклый бархат лежал на них своими желтыми цветами. Он сжимал его руками, чтобы почувствовать, наконец, там, под бархатом, живую кожу, которая прожигала ему ладони, он пытался оторвать от плетеной

качалки ее поджатые ноги и почти не слышал, как она произнесла:

"Зачем ты приехал? Мне кажется, что, обманывая его, я обманываю и тебя тоже..."

Он рванул на себя качалку, и на секунду она, словно бы вросшая в эти плетеные прутья, прикинула к нему, упала в его руки. Но тут же с неожиданной силой, рывком откинулась назад, вернув свою качалку в прежнее положение, и теплыми пальцами оттолкнула его лицо.

"Отпустите меня", — сказала она.

Слезы побежали по ее щекам, размазывая краску.

"Освободите меня, оставьте..."

Она вдруг заплакала громко, навзрыд, и встала с кресла. Он все еще не понимал.

"Отпустите меня, — прокричала она сквозь слезы. — Не душите меня, вы оба, я ничего не хочу, слышишь?"

Лицо ее горело. Рывком она распахнула кухонную дверь и вышла.

Ночью он увидел себя глубоким стариком. На нем была старая бархатная куртка в тусклых цветах. Несмотря на сильную духоту, он почему-то не снимал куртки, а, напротив, проверял, застегнуты ли все пуговицы. Он знал, что Гриши давно нет, что Гриша, брат, много лет как умер, и отсутствие его наполняло мир какой-то легкой, щемящей тоскливостью. Сам же он находился в странно знакомой комнате, в углу которой топилась кафельная печка, и перед ней сушились высокие материнские ботинки на пуговицах.

Вдруг брат, которого давно не было на свете, быстро вошел в эту комнату. Он был бесплотен и расплывчат. Черты лица его растекались, как акварель по бумаге, но несмотря на свою очевидную нереальность, брат притворялся, что дышит, существует, как остальные. Притворство было жалким, наивным, и, прикоснувшись к Гришиному плечу, ощутив свою погружаемость в акварельную пустую ладонь, он спросил напрямую:

"Ну что? Скажи мне: как *там*?"

Гриша смеялся тонким детским смехом и продолжал притворяться:

"Где там? Ты о чем?"

Вдруг он почувствовал, что Гришина рука, бесплотная, невесомая, дотрагивается до его руки и тянет ее к себе. Он попытался стряхнуть Гришину руку, освободиться, но расплывающаяся невесомая ладонь еще плотнее приникла к его ладони, впиваясь в нее, врастая, и он понял, что освободиться невозможно.

"Отпусти! — крикнул он, задыхаясь. — Отпусти меня!"

"Я тебя не держу, — тоненько смеялся Гриша. — Разве я держу тебя? Ты свободен".

"Мама звонила and said".

"По-русски!"

"All right. И сказала, что будет позже".

"Где она?"

"I don't know".

Ужинали вдвоем, пили коньяк из голубых стаканчиков. У Гриши было старое измученное лицо. Неужели и у него такое же?

"Завтра купим тебе "видик". Лекарства не забыть бы. Выпишу рецепт, будто это для тебя, а то прицепятся на таможне. Быстро пролетел месяц, и не заметили..."

"Да".

Говорить не хотелось. У Гриши старое измученное лицо. Неужели и у него такое же?

"Если ей станет хуже, позвони, я приеду. Визу дадут быстро. Вообще, я так и так приеду, давно пора".

"Да".

Не хотелось говорить.

"Я пойду подышу немного".

"Давай".

Гриша включил телевизор, вытянул ноги в полосатых брюках. Голову положил на диванный валик, закрыл глаза.

Господи, да что же там бурлит в небе? Бурое, черное. Как она взмолилась! "Отпустите меня!" Страшно. Кто мог по-

думать, что в этом соловьином, шелковом, столько наболело? Отпущу, конечно, радость моя. Не во мне дело. Нечем дышать. А Марта спросит: "скучал?", и губами, испачканными помадой...

В пяти-шести метрах от него, прямо под фонарем, остановился шоколадный "джип". Женщина с черноволосой, гладко причесанной головой поцеловала сидящего за рулем. Он всмотрелся невольно.

"Ну, знаете, это уж просто водевиль какой-то!"

Дурацкие, не идущие к делу слова вырвались сами собой. Смех, необъяснимый, непонятно откуда взявшийся, застрял в гортани.

Она целовала сидящего за рулем, гладила чужое лицо, которое он не мог разглядеть. Да и не хотел разглядывать! Судя по наклону черноволосой головы, она говорила что-то, торопясь, нервничая, настаивая, может быть. Похоже, что *он* не отвечал ей, смотрел в сторону. Тогда она обхватила чужие плечи, припала к ним, и руки ее, ярко выхваченные фонарным блеском, задрожали.

Так вот оно что! До чего же просто!

"Черт знает, что это меня все заносит и заносит! Хожу, как идиот, и подсматриваю! Какой же я идиот, какой же я..."

Он чувствовал, что независимо от его воли губы, растягиваясь, как резиновые, бормочут что-то бессмысленное и этим пытаются справиться с неправдоподобно сильным, прорывающим все нутро стыдом, от которого ему хотелось двигаться, говорить, жестикулировать, смеяться...

"Черт знает, как я... Какой же я идиот, какой же я..."

Повернулся и побежал к дому. Главное было — увидеть Гришу. Сесть рядом с ним, закрыть глаза, голову положить на диванный валик. Странная мысль обожгла его: только Грише он был готов уступить ее. Старому, измученному, родному. Потому что Гриша, старый и измученный, был частью его самого. До чего же просто...

Третий этаж аэропорта Кеннеди был отдан на растерзание Аэрофлота. Полные женщины в блестящих кофтах, усаые, озабоченно стреляющие глазами мужчины, старухи в белых

платочках по-деревенски, чемоданы, рюкзаки, громкие тревоги через весь зал по поводу багажа, приветы тете Нюсе — все это сотрясало солидное, ко многому привыкшее здание. Втроем они медленно продвигались сквозь гудящую, горячую толпу. Зрение застилали посторонние детали. Навстречу шел народный артист Ульянов, в синем шарфе, плотно обмотанном вокруг шеи, сосредоточенный, невыносимо провинциальный, похожий на Парфена Рогожина, идущего на именины к Настасье Филипповне. Стриженная желтоволосая девица висела на шее кудрявого молодца, мальчика лет шести посадили на обвязанный веревками чемодан перед мужским туалетом — постеречь, наверное...

Они остановились. Тугое прокуренное пространство сдавило горло. Взвесили багаж, прикрепили какие-то бирки. Она надписывала, Гриша завязывал узелки. Все, пора. Сердце его остановилось. Он раскинул руки, обнял их обоих. Гришина седая борода оказалась странно мягкой на ощупь. Как пух. Правой щекой он почувствовал ее стариковское тепло. А слева сдержанно заплакала она, зашептала что-то, чего он не смог разобрать. Прощалась? Просила прощения? Все это было счастьем. Он стоял, крепко прижимая их к себе. Еще минута, еще две. Объявили посадку.

Александр Сибилев

* * *

У одной приятельницы мама
Занимает незаметный пост.
С виду представительная дама:
Светские манеры, внешний лоск.

Кроме связей деловая жила —
Может что угодно раздобыть.
Мне и трех бы жизней не хватило
Столько виз, путевок получить.

Завтра она едет в санаторий,
Хоть здоровья ей не занимать.
Ей рюкзак бы за спину и в горы,
Ею можно поле пропахать.

Где она ногою не ступала!
Сколько стран познала и людей!
Не в кино, а в жизни увидала
Тадж-Махал, Акрополь, Колизей.

Да и здесь в Союзе отдыхала
В самых живописных уголках...
А моя нигде не побывала.
Разве только в трех концлагерях.

Михаил Бриф**В ГОСТИНИЦЕ**

В той гостинице дуло в щели,
дверь откроется — снег столбом,
за окошком метели пели,
пританцовывали притом.

Был в гостинице свет не ярок,
над одеждой летала моль.
В той гостинице, как подарок,
принимаеть любую боль.

В той гостинице я старался
быть беспечным, веселым быть.
В той гостинице я пытался
навсегда о тебе забыть.

Только сверху — вначале скрытно,
а потом едва не крича,
зарыдала о чем-то скрипка
полоумного скрипача.

Очумевшие тараканы
поводили усами — вжик...
Паганини Тьму-Таракани
нам свою выплакивал жизнь...

В той гостинице, где мышами
сон пропах и сырым бельем, —
в той гостинице что-то мешало
порасти былому бельем.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

ИЗ ПИСЕМ М. А. АЛДАНОВА А. И. КОНОВАЛОВУ

Александр Иванович Коновалов — министр торговли и промышленности в первых двух составах Временного правительства. "Политический и личный друг Керенского", как писал о Коновалове П. Н. Милюков в своих воспоминаниях, происходил из богатой купеческой семьи. В начале своей политической деятельности принадлежал к так называемой "молодой" буржуазии, во главе которой стоял П. П. Рябушинский. Будучи членом партии прогрессистов, Коновалов в октябре 1912 был избран в состав Государственной Думы. В 1915 А. И. Коновалов становится заместителем председателя Петроградского Военно-Промышленного Комитета, а после Февральской революции назначается на пост министра торговли и промышленности во Временном правительстве. Вот что пишет по этому поводу Г. Катков в своей книге "Февральская революция": "Крупный промышленник, просвещенный работодатель и благотворитель, щедрый поборник всего "прогрессивного" — эта репутация делала назначение Коновалова почти неизбежным. История его пребывания во Временном правительстве не проста. Он был одним из первых, кто восстал против политики, а вернее против отсутствия всякой политики у Временного правительства. Но потом под давлением Керенского занял место заместителя премьер-министра".

Письма А. И. Коновалова, хранящиеся в Бахметевском архиве, охватывают период с 1921 по 1949. Их можно разделить на два основных периода: годы жизни Коновалова во Франции (1918-1941) и в США (с 1941 г.), за исключением тех писем, которые были написаны им после возвращения во Францию. Заслуживают внимания письма,

написанные Коноваловым Ивану Ильичу Петрункевичу в начале 20-х годов. В них Коновалов сообщает Петрункевичу о деятельности партии Народной Свободы и создании Комитета парижской группы членов этой партии. В 1939 А. И. Коновалов состоял в переписке с Евгением Васильевичем Саблиным, которая была вызвана тем, что Коновалов был избран президентом Комитета по празднованию 80-летия П. Н. Милюкова и просил Саблина о содействии, касающемся отклика со стороны английской прессы на предстоящий юбилей. В качестве вице-президента в юбилейный Комитет входил М. А. Алданов.

Необходимо также указать на ряд событий, происшедших в последние годы жизни Александра Ивановича Коновалова, пользуясь материалами Бахметевского архива. В июне 1941 он переезжает в США, благодаря стараниям М. Алданова. В 1945 г. М. Алданов обращается к Коновалову с просьбой написать для "Нового Журнала" статью-анкету под общей рубрикой "Эмиграция и советская власть", которая была опубликована в № 11 за 1945 г.

Из писем А. И. Коновалова Александру Андреевичу Титову (1878-1961) становится известно о возвращении Александра Ивановича из США во Францию, что опровергает указание некоторых печатных источников на то, что он умер в Нью-Йорке в 1948. В подтверждение этого факта обратимся к письму, написанному Коноваловым из Ниццы в Париж Титову от 24 октября 1947: "Вот уже 2 недели как мы с Анной Фердинандовной в этих краях". А в письме от 5 апреля 1948 Коновалов сообщает: "Дорогой Александр Андреевич! Вчера я вернулся в Париж. Очень хотелось бы Вас повидать". За этим следуют еще несколько писем, в которых он сообщает Титову об ухудшающемся здоровье. И вот под письмом с датой 13 января 1949 года написано рукой Титова: "Последнее перед смертью письмо Александра Ивановича".

А. И. КОНОВАЛОВУ И Н. П. ВАКАРУ

29 января 1941

Дорогие Александр Иванович, Николай Платонович.

Не могу понять, в чем дело. Я от Вас ни одной строчки в Лиссабоне не получил, думал, что, быть может, Вы мне пишете прямо в Нью-Йорк, но, хотя мы здесь почти три недели, и здесь из По ни от кого не получил ни слова. Правда, то же происходит у меня отчасти и с родными в Ницце: они нам сообщили, что пишут нам два раза в неделю, а мы за все время получили от них четыре письма: два в Лиссабоне, два здесь. Очевидно, часть писем не доходит. Для верности поэтому сообщая Вам, что я Вам написал одно длинное письмо из Лиссабона от 29 ноября и две (если не три) открытки оттуда же и два длинных письма отсюда: от 1-го и от 20 января. Не зная, получили ли Вы все это, вкратце повторяю содержание:

Бахметев послал обязательство, которого дополнительно требовал для Вас, дорогой Александр Иванович, марсельский консул. Следовательно, по общему нашему мнению, Вы в настоящий момент уже должны иметь квотную американскую визу. Одно удивляет нас: уже, пожалуй, могло бы быть дано от Вас телеграфное сообщение, что Вы таковую получили (последнее письмо, полученное мною здесь из Ниццы, шло всего две недели!). Правда, может быть, еще и не имеете, но тогда получите в самом ближайшем будущем. Как я писал Вам и из Лиссабона, билеты для Вас и для Вашей супруги, а также для Извольских, есть в Лиссабонском отделении "Хицема" (Брамкамп 12), — по крайней мере телеграфное распоряжение об этом "Хицему" я видел своими глазами, а распорядитель там категорически меня заверил, что когда Вы приедете в Лиссабон, то они билеты Вам и Вашей супруге обеспечивают. Од-

нако это билеты третьего класса, а я подробно описал Вам в первом письме отсюда, какое это тяжелое путешествие, и советовал требовать н о м е р о в а н н о й каюты, если они не сделают для Вас исключения и не дадут Вам билета 1 класса. Другой вопрос: есть ли у Вас деньги на проезд до Лиссабона и на пребывание там (может быть, билета придется ждать до месяца, как ждали мы). Это сравнительно небольшая сумма. Если ее у Вас нет, телеграфируйте Толстой с копиями Авксентьеву и мне: мы сделаем все возможное, чтобы достать, если не все, то хоть часть, и перевести Вам. Никаких фондов д л я э т о г о нет, но есть Толстовский фонд, есть Литературный фонд (его председателем недавно избрали Авксентьева) и есть Ваши друзья. Значит опять-таки, по нашему общему мнению, Ваше личное дело в порядке. Надеемся скоро Вас здесь увидеть. Разумеется, дайте знать клипером о дне приезда: я Вас встречу на пристани.

О Вас, дорогой Николай Платонович, я, к крайнему моему огорчению, ничего нового Вам сообщить не могу. Я три дня не выхожу из дому из-за простуды, но в воскресенье видел гр. Панину; они до сих пор не получили от Окуневой сообщения, кто именно выдал Вам "аффидевит" и какой именно суммой она располагает для Вашего переезда и почему не переводит ее Вам или им. Завтра повидая Толстую: если есть что новое, то припишу к настоящему письму: клипер уходит только послезавтра (хотя это не очень регулярно). Все же полагаю, что почтенная дама эта (дочь кадета Степанова) не могла сообщить Толстой неверных или преждевременных сведений. Она написала Толстой, что виза и деньги есть. Гр. Панина предполагает, что деньги и аффидевит даются американцами, которые справедливо считают невозможным, чтобы родители оставались вдали от детей, и потому пошли Вам навстречу. Впредь до того, как я Вам тоже писал, Вы должны получить очень небольшую, к сожалению, сумму от Лит. Фонда. Надеюсь, председатель Авксентьев Вас об этом известил.

Больше, хоть убейте, ничего никому сообщить не могу. Вы уже знаете и от меня, и от других, что "эмердженси"-визы

больше никому даваться не будут: от всех требуется "квотная виза, т. е. аффидевиты. Повидимому, Вы двое, "счастливыцы", их и получите (квотные визы во всех отношениях лучше, чем эмердженси). Затем больше в общем порядке ни для кого ничего сделать нельзя: каждый должен обзавестись своими индивидуальными аффидевитами, материальным и моральным. Я бегаю, высунув язык, в поисках аффидевитов для Полонского и пока без малейшего успеха: это необычайно трудно: люди либо не хотят давать, либо не имеют достаточного дохода, либо уже выдали по нескольку. Я предполагал, что еще можно без аффидевитов получить визы для профессоров, в частности для Александра Михайловича. Написал Ростовцеву, но он н а э т о мне пока не ответил. Из письма его я вижу, что он никакого участия в общественных делах не принимает (кстати, кто это пустил вздорный слух о его кончине!?). Карпович пишет мне, что комитет Джонсона выписал Гурвича "по французской линии", а для других надежды нет, потому что "русские беженцы не актуальны!" Повторяю, в отношении Вас обоих я оптимист: у Вас есть аффидевиты, значит, будут и визы. Не могу, к сожалению, сказать того же о других. Все же маленькая, очень маленькая надежда есть и на порядок не индивидуальный, квотный или не квотный.

Если узнаю хоть что-нибудь важное для Вас, пошлю телеграмму.

Теперь новое. Я Вам писал, что Копп попал на "остров слез", так как у него была обыкновенная визиторс-виза, не квотная и не эмердженси, без обратного билета. Его оттуда адвокаты высвободили, и позавчера я его свел с Ал. Фед. Копп подтвердил то, что говорил мне в Ницце и что Вам известно. Но и сумму он назвал ту же. Между тем здесь специалисты признали, что 1) н о в у ю газету начинать нельзя, 2) что для покупки "Н. Русского Слова", его реформы и исходного капитала необходимо иметь не менее 40 тысяч, а скорее 50. У Ал. Фед. есть надежды на двух других капиталистов. Он их поводит в ближайшие дни. Дело решится очень скоро, но, думаю, ввиду новой, гораздо большей цифры, надежды не очень

много. С Ал. Фед. я опять подробно говорил, — он рад будет двойной редакции (Вы и он). Если бы, паче чаяния, капитал нашелся (т. е. если те два капиталиста дополнят то, чего не хватает при вкладе Коппа), то, вероятно, из этих тысяч будет отделена небольшая часть на подробный телеграфный запрос Вам, дорогой Александр Иванович. Подпишет его, скажем, Зензинов. Если дело создастся, то все трое будем иметь кусок хлеба, — так, по крайней мере, я думаю. Но создастся ли?

С заработком здесь пока дело плохо. У меня была только одна небольшая удача: заказали статью для газеты с продолжениями (5 статей). Если бы не это, то было бы совсем худо, некоторые другие получают субсидию из разных касс (вернее из одной); еще кое-кто — умные люди — имели сбережения. У меня ничего не было и нет. Но, получив заказ на статью, я снял с очереди доклад, который собирался прочесть: ненавижу доклады и решусь на это только, если решительно ничего в кармане не останется. Не хочу очень обнадеживать в смысле заработка и Вас. Однако главное сейчас для Вас обоих: доехать. Писать в "Новом Русском Слове" ни к чему: Осоргину они платят 2 долл. 50 за статью-подвал! Между тем прожиточный минимум здесь на двоих: сто долларов. Вишняк уверяет, что тратит 85, но я что-то не верю, — плохо считает.

Америка и Нью-Йорк нравятся мне чрезвычайно. Но впечатления "туриста" Вам не интересны. Кончаю, устал. Не сердитесь, что по бедности не телеграфировал. Но ведь вкратце нечего было и сообщать. Если что будет, протелеграфирую все же непременно. А на недостаток писем Вы пожаловаться не можете: это шестое. Не сердитесь на других: все поглощены своими нелегкими заботами. Авксентьев сказал мне, что писал Вам. Ал. Фед. говорит, что тоже писал.

Т. М. и я шлем Вам, Вашим дамам и всей "группе По" самый сердечный привет, самые лучшие пожелания.

А. И. КОНОВАЛОВУ И Н. П. ВАКАРУ

22 февраля 1941

Дорогие Александр Иванович, Николай Платонович,

Вероятно, это уже последнее мое письмо к Вам, так как, по нашим сведениям, Вы оба визы уже получили. О Вас, дорогой Николай Платонович, мне, правда, это заявили лишь "почти наверное", но с добавкой: "если еще не получил, то получит в самые ближайшие дни". Вчера я повидал Коварского, который находится в переписке с Окуневой. Он только что получил от нее письмо: "для Вакаров получены от лица, желающего остаться неизвестным, и деньги на проезд". Значит, если внешних препятствий не будет, то мы надеемся скоро Вас увидеть. Если можно, перед отъездом перешлите все мои письма Полонскому: некоторые очень огорчены сообщением о Вашем нездоровье, дорогой Александр Иванович. Не сомневаюсь, что это не опасно, но не думаете ли Вы, что даже и будучи нездоровым, Вы хорошо поступили бы, если бы тотчас переехали пока в Лиссабон? По многим причинам. Однако не решаюсь ничего Вам советовать: Вам на месте, разумеется, виднее.

Вчера у нас было (на квартире Александра Федоровича) совещание о газете, которое должно было быть "решающим", но таковым не оказалось. В дополнение к 15 тысячам Коппа, А. Ф. нашел еще 10 тысяч. Но оказалось, что этого все же недостаточно. Была представлена смета годовых расходов в случае создания н о в о й газеты: редакция и гонорары 19 тысяч (жалование двум редакторам мы предложили в 125 долларов в месяц каждому, — прожиточный минимум), контора, экспедиция, помещение, телефон и пр. от 9 до 10 тысяч, типография и бумага в лучшем случае 30 тысяч, это если союз рабочих разрешит, в виде исключения, работать не по ставкам (иначе 70 тысяч!! Наборщик получает два доллара в час!). Итого в лучшем случае около 60 тысяч в год, причем мы все

считали очень скромно. Каков был бы п р и х о д в случае новой газеты, сказать невозможно. Значит, мы были бы обеспечены на полгода. Это признано невозможным. Для покупки "Н. Р. Слова" имеющейся суммы было бы недостаточно, да и для ведения дела денег не осталось бы совершенно. Остается единственная возможная комбинация: предложить им сдать новой группе газету в аренду, с опционом на покупку. На этом совещание и остановилось. Кроме того было постановлено навести еще дополнительные справки и попытаться достать еще 10 тысяч, на что будто бы есть маленькая надежда. А. Ф. остается "оптимистом", но я больше в газету не верю: расходы оказались слишком большими, а на аренду так не пойдут. Добавлю, что и 15 тысяч и 10 тысяч даются только на е ж е д н е в н у ю газету, так что использовать их на меньшее литературное предприятие нельзя.

Не хочу поэтому Вас обоих обнадеживать в смысле возможностей заработка. Кроме газеты, я ничего пока не вижу. А. Л. Толстая проектирует создание фермы, где каждый имел бы труд и заработок. Ей что-то для этого обещано, но уж какие мы все "фермеры"! Сам я рассчитываю только на литературный труд. За мою статью об убийстве Троцкого я получаю 125 долларов. Она уже мною сдана и принята, но еще не появилась. Я получил лишь аванс в 50 долларов — чем, разумеется, подорвал свой "престиж", но выбора у меня не было, теперь эти 50 долларов и проживаем. От издателя еще ответа не имею.

Все же имею для Вас и более утешительные, если хотите, сведения. Я обратился к одному из наших приятелей, получающих здесь субсидию, с прямым вопросом, кто и как эту субсидию дает (спрашивал не для себя, а для Вас обоих [никогого не назвал] и для Полонского, если ему удастся достать аффиदेви́ты и визу). Он мне ответил, что это ничего общего ни с какими партиями не имеет. Субсидию дает особый комитет помощи всем желающим без различия партий, рас, вероисповедания при условии, что у данного лица нет "друзей и знакомых" в Америке. Они все так и заявили, что нет. На семью

из трех человек дается 70 долларов в месяц. Теоретически субсидия выплачивается в течении трех месяцев. Однако пока ее еще не лишен никто из приехавших раньше. Еще условие: просьбу надо подать *н е м е д л е н н о* после приезда. Эту субсидию и получают три четверти наших приятелей. Собственно, они должны были бы нам сообщить об этом раньше (вот я, например, уже не мог бы получить субсидию, если бы и захотел: опоздал). Поэтому я считаю себя обязанным сообщить Вам это теперь же: если кто-либо едет раньше Вас, сообщите ему. Пожалуйста, дорогой Николай Платонович, напишите об этом и Полонскому. Все же это только сообщение частного лица, да и положение может измениться, так что, разумеется, "без гарантии". На 70 долларов вдвоем здесь можно жить впроголодь или почти впроголодь. Нужно не менее ста долларов. Но это огромное подспорье.

Забыл Вам сказать. Наконец-то, уже после отправки Вам моего письма № 6, я получил Ваше письмо, дорогой Александр Иванович, и Вашу, дорогой Николай Платонович, французскую открытку, отправленные мне в декабре Вами в Лиссабон в ответ на мое письмо и открытки оттуда. Очень им обрадовался. Переправила их мне М. С. Цетлина (она приезжает сюда в начале марта)... Повторяю, билеты Лиссабон — Нью-Йорк для "Коновалова и Извольской" в лиссабонском "Хицеме" есть. Мне категорически заявили там и подтвердили здесь, что "по 2 билета Коновалову и Извольской". Сколько Вы будете ждать *м е с т а* на пароходах — это дело счастья. Мы ждали, как Вы знаете, месяц. Чаше ждут несколько меньше, реже — несколько больше. Помните, что я Вам писал отсюда в письмах №№ 4 и 5 о необходимости *н о м е р о в а н н о й* каюты, если Вы поедете в третьем классе. Впрочем, мне недавно сказали, что это нам особенно не повезло с пароходом: на других пароходах будто бы можно ехать и без номерованной каюты, и кормят лучше. Не знаю. Думаю, что Вам все же без номерованной каюты ехать нельзя. В лиссабонском "Хицеме" (Браамкамп 12) очень милый и любезный человек — Мазе (соотечественник). Советую Вам в первый же

день приезда очень настойчиво попросить его о номерованной каюте, если нельзя будет добиться первого класса. Прошу заодно передать ему и мой привет.

Теперь последнее: о деньгах. Николай Платонович, вероятно, уже получил или скоро получит через Н. С. Долгополова 15 долларов от Литературного Фонда (к сожалению, они — я в Фонд не вхожу — не включили по недостатку денег еще несколько человек, которым непременно следовало дать ту же сумму). Но деньги, идущие через Окуневу, наверное, дадут Вам возможность проделать всю поездку, — эти 15 долларов имеют целью только дать Вам возможность про-держаться в По до окончания всех формальностей. Что касается Вас, дорогой Александр Иванович, то в телеграмме о Вас говорилось о 12 тысячах франков. К их сбору здесь приступили немедленно. 75 долларов уже есть, а может быть, и сто. Толстая надеется в Чикаго достать еще. Таким образом я почти уверен, что Вы уехать сможете. Разумеется, все это сделано было совершенно частным образом. Если Вы желаете знать подробности, то тоже в частном порядке сообщу Вам, что 25 долларов ассигновал Литературный Фонд, 25 дал один из Ваших друзей (через Александра Федоровича, — я сам не знаю кто) и от 25 до 50 (в точности пока неизвестно) ассигнует нью-йоркский отдел Толстовского Фонда. Я не уверен, что вправе Вам это сообщить. Деньги Вы должны скоро получить. До Америки Вы доедете. Что будет здесь, — Бог ведает. Но это относится к нам ко всем.

Ростовцев, как я Вам уже писал, не ответил мне ничего на мою просьбу устроить приезд Александра Михайловича по профессорской линии. Так как он мне ответил на другое, то надо сделать вывод, что это невозможно. То же мне пишет о профессорах вообще Карпович. На днях одно лицо изъявило готовность дать 10 аффиदेитов. Немедленно был составлен список, куда вошли и Александр Михайлович, и Яков Борисович. Но не пойдет ли лицо на попятный, не знаю. Кроме того, я не уверен, что одно лицо (точнее, здесь д в а поручителя) может выдать столько аффидеитов. Это выяснится в бли-

жайшие дни. Для Якова Борисовича (Вы понимаете, что я о нем должен заботиться в первую очередь) мне дает аффидевит еще одно лицо: обещано твердо, а все же пока документа нет. В список 10 включено еще несколько человек из "Посл. Новостей".

Ну, вот все. Значит, повторяю, если не будет внешних препятствий (я их опасаясь и потому стою за спешку), Вы скоро будете здесь. Пошлите из Лиссабона мне клипер.

Т. М. и я шлем Вам и супругам самый сердечный привет, лучшие наши пожелания. Очень просим кланяться всей "группе По".

Если можно, перед отъездом перешлите все мои письма к Вам Полонскому: некоторые сведения могут быть ему полезны. Или то, что сочтете возможным передать.

ПРИМЕЧАНИЯ

Письма, адресованные Марком Алдановым Александру Ивановичу Коновалову (1875 - 1949) и Николаю Платоновичу Вакару (1894 - 1970), хранятся в Бахметевском архиве Колумбийского университета в фонде М. А. Алданова. Письма напечатаны на машинке по старой орфографии.

Бахметев Борис Александрович (1880 - 1951) — посол Временного правительства в Вашингтоне.

Толстая Александра Львовна (1884 - 1979) — младшая дочь Льва Толстого.

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878 - 1943) — член ЦК партии эсеров. Один из редакторов журнала "Современные Записки", выходившего в Париже.

Панина Софья Владимировна — член ЦК партии кадетов, товарищ министра государственного призрения (с мая 1917), народного просвещения (с августа 1917) Временного правительства.

Степанов Василий Александрович (род. 1871) — член партии кадетов, товарищ министра во Временном правительстве.

Полонский Яков Борисович — писатель, сотрудник газеты "Последние Новости", издававшейся в Париже.

Гурвич Георгий Давыдович (1894-1965) — член партии меньшевиков. Социолог.

Зензинов Владимир Михайлович (1880-1953) — эсер, сотрудник журнала "Современные Записки".

Осоргин Михаил Андреевич (1878-1942) — писатель.

Вишняк Марк Вениаминович (1883-1975) — эсер. Один из основателей журнала "Современные Записки".

Т. М. — Татьяна Михайловна — жена М. А. Алданова.

...всей "группе По"... — М. А. Алданов называл группу людей, в основном состоявшую из бывших сотрудников "Последних Новостей", оказавшихся после оккупации Франции фашистами в так называемой "свободной" зоне в гор. По.

"...по нашим сведениям, Вы оба визы уже получили..." — А. И. Коновалов прибыл в США в июне 1941-го года. М. А. Алданов после приезда Коновалова в Нью-Йорк сообщал ему в письме от 9-го июля 1941: "Дорогой Александр Иванович. Я только что получил клипер от Вакара из Лиссабона. Он выезжает на "Вилла де Мадрид" в Нью-Йорк и рассчитывает приехать между 7 и 10 июля"

Коварский Илья Николаевич (1880-1962) — член корпорации "Нового Журнала".

*Публикация и примечания
Андрея Любимова, Мичиган*

Марк Раев

М. М. КАРПОВИЧ РУССКИЙ ИСТОРИК В АМЕРИКЕ

Михаил Михайлович Карпович (редактор "Нового Журнала" с 1946 по 1959 г.) был преимущественно лектором¹. Обстоятельства, как и, несомненно, его наклонности, привели к тому, что он не оставил заметного наследия печатных трудов. Лектором же он был блестящим — именно лектором, а не оратором. В его выступлениях и лекциях не было ни риторики, ни пафоса; зато они были исключительно содержательными, построены ясно, логично и убедительно на основании богатого фактического материала. Они блистали элегантным стилем и изысканным словарем, будь то по-русски или по-английски. Чувствовался не только пример его учителей в Московском университете, В. О. Ключевского и М. М. Богословского, но и А. А. Кизеветтера, с кем он работал в Праге в начале 30-х годов.

С Кизеветтером, как и с П. Н. Милюковым, Карповича сближал еще и общий подход к истории императорской России, т. е. либерализм и западничество. Но и знакомство с конституционным порядком и политической жизнью США 20-х и 30-х годов привело Карповича к скептическому отношению ко всем громогласным историческим обобщениям и почитанию прагматизма и терпимости, когда дело касалось решения социальных и политических проблем², что не исключало, конечно, стойкости его этических и демократических убеждений.

В Гарвардском университете — куда он был приглашен в качестве доцента в 1927 г. — Карпович ежегодно читал курс лекций по истории Западной Европы (включая Германию и Австрию) XVI-XIX веков. Таким образом он приобрел солидное знание политических учреждений и социально-экономического развития Запада — довольно редкое явление среди русских историков. И это свое знание Карпович широко применял в своих лекциях и семинарах по истории России. По моему глубокому убеждению, компаративистский подход был самой отличительной и ценной чертой в его трактовке русской истории. В этом и заключалось его западничество: Карпович неустанно подчеркивал, что Россия часть Европы и что ее история и культура — неотъемлемый элемент в культуре и историческом развитии главных стран Западной Европы.

Например, говоря об ужасах царствования Ивана Грозного, он подчеркивал, что в то же время и на Западе свирепствовали такие жестокие деятели, как Генрих VIII в Англии, Карл IX во Франции или Филипп II в Испании — не говоря о господре Восточной Валахии Владе IV Цепеш. Карпович так же убедительно показывал, что суровое царствование Николая I не отличалось от современных ему консервативных режимов Австрии и Пруссии. Но само собой разумеется, что несмотря на "семейное сходство", Россия отличалась от Запада главным образом тем, что часто ее внешние и внутренние обстоятельства не способствовали полному расцвету общих европейских черт или учреждений. Так, например, Московская Русь знала только зачатки феодализма, но не знала его полного развития, которое подготовило на Западе победу конституционного начала. Или другой пример, Земские Соборы, в отличие от английского парламента, германских сословных Сеймов (*Ständeversammlung*) или Генеральных Штатов во Франции, не развились в выборные учреждения. Зато опять же благодаря своему "семейному сходству" с западной цивилизацией, русская послепетровская культура легко влилась в общеевропейскую и, начиная с XIX в., активно играла в ней созидательную роль.

При всем этом Карпович не забывал и не умалял традиционные, положительные особенности русской культуры —

главным образом ее религиозно-церковное наследие. Но его отталкивали всякие мифы и преувеличения мнимого превосходства русской старины. Он отрицал историческую обоснованность таких концепций, как "русская душа", "русская идея" или существование незыблемого "национального характера" любого народа. Сугубо критически он относился к таким историософским построениям, как славянофильство, панславизм, евразийство. Исключительности и терпимости по отношению к чужому он противопоставлял ту форму "национализма" (заимствованную им у Владимира Соловьева), которая выделяла и утверждала объединяющие аспекты культур и исторического развития всех западных народов.

Свободная личность была для Карповича высшей и абсолютной ценностью. Поэтому он считал, что главной целью политической организации страны или народа должна быть обеспечение прав и свободы — и что либеральная демократия наиболее подходящее ее политическое воплощение. И так как, естественно, пути должны соответствовать целям, то либеральный прагматизм, постепенность в изменении социально-экономических условий и свобода мнений наиболее желательные основы для общественной жизни страны.

В своей самой удачной статье "Два типа русского либерализма: Милюков и Маклаков" Карпович развил и обосновал свое политическое кредо³. Характерно, что, излагая политические суждения В. А. Маклакова и П. Н. Милюкова, Карпович не противопоставлял взгляды своих двух "героев", вернее он старался показать, как они дополняли друг друга. В представлении Карповича, у каждого были свои качества, необходимые для "правильного" решения социально-политических проблем последних десятилетий царского режима. Боевой темперамент Маклакова и его непримиримая вражда к царскому самодержавному правительству были необходимы, чтобы повернуть политическое развитие страны в демократическое конституционное русло. Зато своей твердой верой в приоритет правового начала Маклаков ставил необходимые пределы радикализму действий партии кадетов (конституционных демократов) и старался подготовить прочный правовой фундамент для перестройки царского режима на не-

зыблемых конституционных и демократических началах. Мне представляется, что если было бы суждено Карповичу играть активную политическую роль на родине, то он направил бы старания и энергию на практическое осуществление синтеза качеств обоих лидеров либерального движения.

На болезненный вопрос "была ли революция неизбежной?", который себе ставили все эмигранты, о судьбах России, Карпович давал ясный ответ: революция не была неизбежной — но только при условии, что самодержавие тоже пошло бы на уступки и на настоящий конституционный компромисс. Как мы знаем, по этому пути Николай II не хотел или не мог пойти. Но не будь первой мировой войны, по мнению Карповича, мирное отстранение царя от власти было бы весьма возможной альтернативой. История решила иначе.

На родине Карповичу не было суждено иметь политического влияния. Но его деятельность как профессора русской истории в самом престижном американском университете не прошла даром. Он подготовил целое поколение американских специалистов, которые усвоили и своей деятельностью развили (м. б., не всегда удачно) основной принцип своего учителя: независимо от преходящих режимов и политических условий Россия является и всегда останется составной частью Европы; она внесла и в дальнейшем будет вносить свою лепту в общеевропейскую западную цивилизацию. И поэтому немыслимо по-настоящему понять культуру и историю западного мира без знания и понимания России в ее прошлом и настоящем. Сегодня это так же верно, как и в самые тяжелые советские годы⁴.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ввиду скудости печатных и рукописных источников я использовал мои записи лекций и курсов М. М. Карповича в Гарварде в 1946 - 1950 гг.

2. См. письмо Г. В. Вернадскому от 17-27 июня 1921, "Новый Журнал", кн. 188, стр. 264 и сл.

3. Michael Karpovich, "Two Types of Russian Liberalism: Maklakov and Miliukov", in Continuity and Change in Russian and Soviet Thought, Ernest J. Simmons ed., Harvard University Press 1955, pp. 129-143.

4. Биографические сведения о М. М. Карповиче (1887-1959) в некрологах в "Новом Журнале", 58 (1959) и в статье С. А. Зеньковского "Вдумчивый историк", "Новый Журнал", 168-169 (1987). Под американским углом зрения: Philipp E. Mosely, "Professor Michael Karpovich", in Russian Thought and Politics, H. McLean, Martin E. Malia, George Fisher eds. (Harvard Slavic Studies, vol. IV, Mouton & Co., 1957, pp. 1-13).

РОМАН ГУЛЬ

Я унес Россию. Апология эмиграции

том II, Россия во Франции

Встречи с А. Гучковым. А. Керенским. И. Церетели. — Русский Париж (Церкви, учебные заведения, пресса и издательства, театры, художники, музыка). — Хоры, пыгане, Вертинский. Плевицкая — Монпарнас — В "Последних Новостях" — Кто убил генерала Романовского? — У П. Милюкова, В. Бурцева — Кто из русских были масонами? — Русские масоны в Париже — У графини Л. Воронцовой-Дашковой — Роман великого князя — Рассказы А. Нагловского — В Англии — М. Будберг — Пети Комон — Смерть матери.

Цена книги \$ 15.

Леонид Ржевский
(1905-1986)

ЗАЖМУРЯСЬ В ПРОШЛОЕ...

ОТ АВТОРА

Все "От автора" чаще всего содержат своего рода "перестраховку". "Страховкой" в сущности оказываются все авторские предисловия: мол, "не пойми меня, друг-читатель превратно, не осуди зря — я ведь вот почему не о том, а об этом, и вот зачем и отчего т а к". Страховка, пожалуй, чаще всего предваряет именно воспоминания: трусит автор не угадать, чего ждет от него читатель, какого отбора, огляда, каких откровений, психологии и подробностей. Я в этом смысле никакое не исключение и заранее скажу: все зигзаги восьми десятков своей судьбы припоминать не стану, а просто, прищурясь — ради отчетливости, выберу самые знаменательные, а то и сакраментальные, ее вымахи и повороты, распутья (направо пойдешь... налево пойдешь...) и тупики (где крюк покрепче?), отчаяния и надежды и трепет — куда тебя повернет... С одного такого, самого, может быть, крутого в жизни моей зигзага сейчас и начну.

В ШАЛАШЕ

Предвесенние дни сорок пятого года. Окошко палаты моей, предназначенной, как я тогда же узнал, для умирающих, глядит на северную звезду. Солнца в нем не показывается. В палате я один, а почему в "шалаше"? Потому — что в ней холод

собачий и, особенно оттого, если засквозит из окна или двери, мне в горле щемит, будто вбивают в него молоточками ледяные гвоздики: вот я и соорудил на постели своей на двух костылях, найденных в стенном шкафу, одеял и веревок кибитку — так дышалось теплее. Одеяла выпросил у одной из сестер, чаще других ходившей за мной. Они здесь монашки какого-то ордена в головных уборах, падающих на плечи каменно-крахмальными складками, как у сфинксов: словом, из тех монашек, которых так гнусно изобразил Маяковский в одном из известных стишат. У моей был иконописный лик в белой окантовке по лбу и вдоль щек. — "Вам нужен воздух, а вы от него прячетесь!" — сердито говорила она, уставясь на мою кибитку своими темными цвета корицы с гвоздикой глазами. Когда я смотрел на эти глаза дольше разговорной надобности, она краснела и, мне казалось, торопилась уйти, вприснув в глотку мне заряд мяты.

И мяту и ее воспринимал я тогда как помеху: занят был по горло и выше тем, что называю сейчас "укрощением страха". Когда минувшей осенью в восточнопрусской больничке открыли у меня в обоих легких процесс, я не ощутил страха: еще в лагере лагерный врач, с которым я подружился, выстукал у меня чахотку, даже, может быть, и каверны, неопределимые без неступного пленным рентгена. Теперь, год спустя, появилась еще хрипота, которая тоже меня не тревожила — мало ли от чего хрипнут горла. Страх пришел позже. Уже в санитарном поезде, куда фуксом меня воткнули: розовошекая физиономия доктора, видать из свежих выпускников, вровень с моей подпотолочной койкой:

— Печет в горле? Ладно, не говорите, не говорите... Но не отчаивайтесь. Приедем в Дрезден — все уладится. Там Kehlkorftuberkulose лечат успешно...

Kehlkorftuberkulose — горловая чахотка. Я был, помнится, очень горд тем, что хорошо притворился, будто слышу об этой своей болезни не в первый раз.

А потом пришел страх и уже не оставлял меня на разных перекатах, мыканьях моего тогдашнего лазаретного пути. В Дрездене, когда я смотрел ночью на горящий по другую сторону Эльбы несчастный город, где вместе с тысячами крыш и

несметностью человеческих жизней сгорали и мои надежды на исцеление. Тоже и в длинных, совсем уже неухоженных санитарных поездах, подолгу продиравшихся сквозь завесы из бомб на каждом почти разъезде. Холод. Вороха одеял и соломы. Я уже плевался кровью и в перебежках в укрытия по путям и перронам, одурев от жара и жажды, пил из полуоттаявших в желтых сосульках кранов, вряд ли понимая, что делаю.

В Баварии, в той лазаретной палате, о которой начал рассказ, вспомнил я, как столкнулся раз с этой болезнью еще в Москве: по путевкам лекционного бюро читал в разное время с десятков литературных лекций в Туберкулезном Институте на Божедомке в двух зданиях — бывшего Института благородных девиц и больницы, где родился Достоевский. Вспомнил, как случалось, в кольце больничных халатов, отвечать на натужные, жутко безголосые вопросы. И старичок-культурник плечом отводил от меня слишком близкие горячечные дыхания. И уже в раздевалке:

— Предупреждаю, подальше от них, не вплотную! Это горловики. Дни у них считанные — вот-вот кинется в мозг — и каюк.

Но страх достиг потолка, когда помянутая выше иконописная сестра отвела меня к главному врачу на просвещение и ощупь, а затем посадила ждать ее в его приемной.

За дверью слышен был шелк пишущей машинки — он, верно, диктовал ей свои заключения; а потом эта дверь, плотная, как у сейфа, с медной начищенной ручкой, отплыла вдруг немного вовнутрь, и я услышал разговор.

Говорили они по-баварски, но я догадался, что врач отвечал на вопрос обо мне, и главные слова были ясны на диалекте.

— Не больше двух недель, думаю, — говорил он. — Скоро не сможет уже и глотать... Да, две недели, не больше...

Тут они, вероятно, заметили щель, и дверь захлопнулась.
"Две недели!"

С этого и началось укрощение страха — мучительного бессилия о смерти не думать. Иной раз в жару и полубеспамятстве казалось, что встреча со смертью уже состоялась, она, будто дохнув холодком, заглянула в лицо мне и похлопала

по плечу: "Вот, мол, я... И чего тут бояться?" Тогда и страх отходил, укладывался, как гончая, загнавшая зайца, с высунутым дымящимся языком.

Ждать конца мне случилось и прежде: в отчаянную разведку, под грохот напoлзавшего на мой кювет немецкого танка; еще — когда одной мерзлой ночью сбитый минным осколком очнулся в лесу, у переправы через Десну, бес- сильный пошевелиться; наконец — в плену, покуда не отпустила контузия. Но таких безнадежных ночей не переживал никогда.

Утром, к рассвету, который я в своем шалаше не столько видел, сколько угадывал, сознание высветлялось тоже и удавалось ему, я думаю, повернуть мысли с того, что неизбежно, на то, что было позади. Тогда выступало и перелистывалось множество всякой всячины из минувшего — дружбы, распри, ухабы, ошибки и преступления. Все это, подогретое не отпус- кающим по утрам жаром, словно бы переживалось в шалаше заново.

И по-новому: моя недавняя, например, московских лет, позорнейшая готовность сделать смуту чьей-то темной души своею собственной смутой, чужую ложь — своей ложью, чужую волю — своей волей или своим безволием.

Нежданно-негаданно охватывало вдруг раскаяние.

Говорят, что раскаяние сладко. Да, может быть, — если в самом преступлении был "сладкий миг", расплачиваться за который слезами — закон некоего биографического равновесия. Но в преступлениях подневольных и тебе самому омерзительных — как каяться? Здесь ведь больше гнетет тебя не то, что ты сделал, а то, что не достало у тебя мужества сопротивляться.

То, о чем рассказываю сейчас, было рассказано уже в одном из моих романов. Многое в моей прозе автобиографично и "фактографично", как теперь говорят, и я вполне сознательно решаюсь на плагиат у самого себя, т. е. беру здесь и в других, весьма, впрочем, редких случаях строчки и отрывки из ранее напечатанного: неохота искать для пересказа по-новому слова точнее и выразительнее прежнего. Да и незачем.

"Кто — за то, чего он никак не думает и считает гнусным, — прошу поднять руку!"

И руки ползут вверх...

Тут уже не раскаяние, тут с т ы д, иногда такой острый, что стискиваешь зубы и впору застонать, как если кто-нибудь в полевой операционной вытаскивает у тебя из спины иззубренный гранатный осколок.

Вот один из осколков — и если б можно было вырвать его пинцетом из памяти... Два существа кристальной души: старик-профессор и дочь, совсем почти девочка... Чай с блюдечка... Старик любит — с блюдечка. А мы с ней — тоже с блюдечка, чтобы его не смущать...

Когда я сиживал у них, бывало, за чаем, мне казалось, что и я, как они, чист и светел душой.

И вдруг:

"Кто за то, чтобы просить органы нашего правосудия строго покарать — имярек, — разоблаченного как..." и т. д.

Тут бы закричать во весь голос, отчаянно: "не я... нет! Я против!..."

Но Лернейская гидра наших дней в отличие от той, которую задушил когда-то Геракл, требует непременно одобрения себе и анафемы свои жертвам.

И рука ползет вверх...

Оглушенный, спускаюсь потом в гардероб и вижу ее у вешалки: она долго не может попасть в рукав пальто дрожащей маленькой кистью: потом я узнал, что ее убеждали выступить на этом собрании с отречением от отца.

Я не подхожу к ней: потому что не смог бы поднять на нее глаза. Почему не подошла она, узнать не пришлось.

Потом долго, почти до рассвета, хожу по пустым переулкам, думая не о том, что кого-то только что предал, но о том, что предал с е б я с а м о г о — и как я буду жить, потеряв что-то самое важное, без чего я уже не я, каким привык себя знать, а другой...

И теперь, в шалаше, в тисках когтистой совести и раскаяния складываются слова неведомо к кому обращенного призыва, пожалуй, и не моего, а некоего грядущего обличителя —

протопопа Аввакума, Савонароллы ли, но п р и з ы в а не-
пременно отчаянного, во весь голос:

"Люди, братья, дорогие, хорошие! Грешите, если не можете без греха по общей нашей человеческой слабости! Творите себе кумиры, прелюбодействуйте, изрекайте на други своя свидетельства ложны! Друг простит предавшего его, предатель может раскаяться. Но бойтесь предать самих себя, свою свободную душу и волю! Предать самого себя — самое страшное преступление, потому что прощать его уже некому и раскаяться не ч е м..."

Но приходило, конечно же, и вовсе не мучительное — из совсем недавнего или совсем далекого, и это особенно отрывало от страха, создавало почти блаженные паузы примиренности и светлой печали — в духе таких вот знаменательных строк, которые считаю, может быть, лучшими в русской задумчивой медитативной лирике:

Жизнь моя, иль ты приснилась мне?
Будто я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне...

Как-то, в начале пятидесятых, в разговоре с Буниным, пренебрежительно отозвавшимся о Сергее Есенине, я прочитал ему эти строчки, и он промолчал, не найдя для них опровержения...

Но продолжу о себе.

КОНИ МОЕГО ДЕТСТВА (1)

Это — пара чугунных львов у въезда в нашу усадьбу со звонкой, если постучать, чугунной внутри пустотой — мальчишкой скакал я на них в самые фантастические далёка. За ними — дом нестройной архитектуры, с где попало прилепленными террасами и балкончиками, а внутри — бесконечными ступеньками, переходами и огромным в три света

залом. Подле полукружьем летние флигеля, кухня, конюшни, "конторка" для управляющих. В доме — шумные трапезы за долгим столом — кончавшиеся почти всегда оглушительными спорами или таким вдруг неистовым "Вихри враждебные веют над нами", что приехавший зачем-то на дрожжах урядник, примостившись на балконной ступеньке, замирал в страхе, покуда крамола не кончится.

Имение, в котором я родился (на два года раньше, чем значится во всех моих, кроме советского, паспортах), называлось Лацердовка (как и платформа верстах в трех, на Лихославльской ветке Николаевской железной дороги) и принадлежало моему деду со стороны матери Сергею Валентиновичу де Роберти-Лацерда. Этот маленький орлиноносый патриций-бунтарь, которого Наполеон Третий сажал в парижские тюрьмы, а Александр Третий грозил посадить — в отечественные, являлся мне в моих бредовых видениях особенно часто, так что, нарушая их течение, хочу о нем рассказать.

Старший его брат, Евгений Валентинович, философ-позитивист и социолог, был профессором Петербургского университета; сестра, М. В. Ватсон, подруга поэта С. Я. Надсона, сделала неплохой перевод "Дон Кихота"; на дочери другой сестры, моей двоюродной тетки Ксении, был женат шлисельбуржец Н. А. Морозов.

Сам дед был человеком редкостного своеобразия, странных противоречивостей и вполне драматичной судьбы. Ученник П. Л. Лаврова, которого любил цитировать, был он связан с "Землей и волей" и непримирим к самодержавию. "Бунтарства дух" составлял, как кажется, его главную и неистребимую черту. О его первом, отроческом и трагикомическом столкновении с "самодержцем" сохранился в моей памяти такой рассказ:

Еще кадетом Пажеского, придя в отпуск к матери (она была фрейлиной императрицы, и дело происходило в Зимнем дворце), он занялся в одной из комнат, где висела классная доска, решением какой-то математической задачи. Росту был очень мелкого, писать повыше — приходилось ему тянуться.

Вдруг вошел царь. Фигура маленького математика на цыпочках с мелом в руке показалась ему забавной.

— Какой же ты маленький! — сказал царь (Александр 2-ой, который, как известно, был роста внушительного). — Надо, братец, подрасти.

— Не беда, Ваше Величество, — отвечал кадет. — По русской поговорке: "мал золотник, да дорог, велика Федора, да дура".

Я всегда сомневался, была ли произнесена вторая половина поговорки, вполне неприложимой к этому замечательному русскому царю. Но поражала не столько дерзость, сколько то, что она осталась — я особенно, еще мальчиком, этим интересовался, — безнаказанной.

Отказавшись от воинского поприща, дед почти юношей уехал за границу, получил доктора математики в Гейдельберге и застрял в Европе на целых шесть лет, став первым в моей обширной родственной орбите "невозвращенцем".

— Были вы знакомы с Тургеневым, дедушка? — любопытствовал я, прочитав "Асю".

— Конечно, но шапочное знакомство, не больше...

Нешапочные дедовы знакомства были вполне крамольны — встречался с Бакуниным, Герценом, подружился с Джузеппе Гарибальди, что и привело его, как я упоминал выше, к конфликтам с французским правительством.

Мать выхлопотала ему амнистию, и в конце 70-х годов он вернулся в Россию с женой, которую, по его словам, похитил в Эльзасе из одной французской семьи, не желавшей отпускать дочь в страну "белых медведей". Бабушка Филиция Карловна (в девичестве баронесса де Ламке) принесла ему пятнадцать человек детей и до конца жизни не могла овладеть русским твердым "л" — разговаривали в большом доме в мои детские годы больше по-французски.

Профессорская кафедра была деду запрещена, и он не так уж часто выезжал из имения. "Бунтарство" выражалось отныне в кос-каких формах легальной общественной деятельности: Тверское земство, в архивах которого сохранилось, я думаю, немало крамольных выступлений, или устройство своеобразной "лесной адвокатуры" — с детства еще помню не-

изменную за львами вереницу крестьянских телег с бородами и бабами: дед составлял им всякого рода жалобы и прошения. Пародируя верховное титулование, заказывал себе такого рода карточки:

"Сергей Валентинович де Роберти-Лацерда. Доктор чистый математики Гейдельбергского университета, гласный Тверской думы, Старицкий предводитель дворянства, почетный мировой судья и проч. и проч. и проч."

Картезианец и атеист, он не хотел крестить своих детей, считая, что они сами должны выбрать себе религию, когда вырастут. Крещения тем не менее совершались либо тайно от него, либо по распоряжению свыше. Мать моя, Елизавета Сергеевна, например, была крещена по личному приказу Александра 3-го, восьми лет от роду; она рассказывала, что во время обряда очень смущалась священника.

Сам обряд был православным, но имена дед выбирал, пренебрегая святыми: Франсуа, Альфонс, Орельен, Элеонора... и бедному деревенскому клиру стоило немалого труда подбирать для метрик русские эквиваленты. Отказывался дед и отдавать детей в "казенные" учебные заведения "министерства народного помрачения", как он неизменно выражался. Нарушалось и это (занятый своими математическими рукописями, он вряд ли знал о нарушениях), но, как правило, набирался целый штат гувернанток и домашних учителей. "Я окончил лацердовский университет!" — дерзко пошутил один из моих дядей в разговоре с неким высокопоставленным лицом. "Лацердовский?.. Ах, да, да! Помню, конечно", — ответило высокопоставленное лицо.

Среди учителей и многочисленных гостей, живших в имении подолгу, а то и вовсе застревавших на годы, было немало "поднадзорных", имена которых стали после Октябрьской катастрофы очень известны. По словам деда, побывал в Лацердовке и А. И. Ульянов, казненный в 1887 г. за покушение на Александра 3-го.

Ближе к Октябрю, то есть уже на моей памяти, народонаселение усадьбы, летом особенно, было огромно: выросшие пережившиеся и повыходившие замуж сыновья и дочери, их дети, гости, дети гостей и гости детей. По звону

колокола на высоком столбе против главной террасы, сидилось за стол до полусотни голов...

Все это надо было содержать и оплачивать. Само же хозяйство, "экономия", велось из рук вон плохо, почти анархически — чтобы заложить коляску к поезду ли или до Ржева (12 верст), приходилось часами искать конюха, а затем — это уж помню я сам — уже не стало ни конюха, ни постоянных рабочих, и снарядить дрожки — принимались всем скопом разыскивать лошадь на каком-нибудь лесном выгоне. Средства добывались закладными и продажами леса и земли по частям. Чего хватило на четыре десятка лет. В общем, это был один из самых ярких виденных мной и пережитых примеров оскудения усадебного хозяйства.

Что еще вспомнить про деда? Был рассеян отчаянно. Рассказывали, как однажды повез кое-кого из детей в Ржев прививать оспу. Повез сам, потому что врачей не любил и не доверял им. На платформе, в ожидании поезда, пересчитывал их, теснившихся возле нянюшки Акулины. Шептал, загибая пальцы: "Элеонора, Франсуа, Орельен, Евгений... Акулина, дура ужасная". Загибал два пальца и на "дура ужасная", так что выходило больше, чем надо. Впрочем, с прислугой не по-русски был деликатен.

В моем шалаше вспомнилось мне ярче прочего, как нас, ребятишек, посылали за дедом в мансарду, звать к столу.

Он сидел, заваленный книгами, в всерах непонятно исчерченных бумажных лоскутов и полотнищ, торча поверх одной бородой. Рядом с ним, за сетчатой стальной перегородкой сквозил бронзой и блеклым маслом портретов "Храм предков", на нашем детском жаргоне называвшийся "музгаркой".

Мы очень любили, когда он впускал нас туда, и, придерживая прыть рук и ног, как бы чего не столкнуть, глазели благоговейно...

— Мы ведь, — говорил он значительно, — *descendants de saint* — Людовика Святого, это его портрет. А вот наша пра-родительница, несчастная Инеса де Кастро, посмертная португальская королева. Слышали ее историю?..

Мы слышали не раз, но слушать готовы были еще и еще,

чтобы подольше задержаться в музгарке. Думаю, я мало интересовался тогда, что был чей-то потомок. Не заинтересовался и позже, когда этот интерес стал уж очень не модным и стольким мои знакомым и близким потомкам помешали стать в свою очередь чьими-нибудь значительными предками. Меня там больше всего привлекал позеленевший медный ковчег с ногтями предков, который мне неудержимо хотелось похоронить — он был похож на гробик. Еще — красного дерева ларец с шахматами в глубоких просверленных лунках. Они были выточены из слоновой кости и черного дерева: когда я вытягивал и гладил по гриве коней — от волнения и восторга у меня прерывалось дыхание.

— Шахматы эти, — говорил дед, осторожно возвращая коня на место, — принадлежали графу Томасу де Ла Церда, графу и вице-королю Мексики, умер он, видите, тут обозначено — 22 апреля 1698 года... Больше двухсот лет!

Позже, уже после Октября, дед подарит мне эти шахматы. В самое тяжелое время отвергал я богатства и деньги, которые мне предлагали за них нувориши. Увы! их украл у меня проворный лихой жулик, залезший в окно нашего первогоэтажного жилья на Плющихе.

— Вот это Фернандо Ла Церда, зачинатель нашего рода, — смахивал он носовым платком пыль с рыжей вокруг предковой головы, — инфант и испанский гранд, сын Альфонса Десятого, короля Кастилии и Леона. Был женат на Бланш де Франс, дочери Людовика Святого. Да, мы потомки его, всегда нужно вам помнить.

В годы войны дед сам себе дал обет не стричь волос, пока не придет революция. Когда пришла — сперва как-то не собрался постричься, а потом, от изумления, может быть, что в ней не оказывалось ему места, и позабыл про обет. Году в двадцатом, когда я его навещал, длинные пряди падали на загорбок его и плечи, отсвечивая нечищенным серебром по черному ворсу бурки — он мерз и не вылезал из этой бурки и дома. Выглядел дряхло и сильно сдал памятью. "Почитай что тронулся!" — недобро говорила мне невестка его "из народа", как называли браки некоторых моих дядей. "Ночью, случится,

подыметься со своей канапы, вылезет на балкон и кричит в потемки, снеговерть: "Лошадей!"..

Умер он осенью 24-го года. Как думали мы тогда, от голода. Как думала та же невестка — отравился, съев ночью в поисках сладкого, которое обожал, целую пачку сахара.

Ржевский районный совет предложил устроить общественные похороны, но отказались и родственники, и крестьянские "ходоки". Хоронили со священником, и похороны заняли целый день до сумерек, по деревням гроб несли на руках и у каждой пятой избы останавливались на короткие отпевания.

Лет через пять-шесть — нам написали в Москву — от усадьбы осталось чистое место: постройки снесли, старый дом по дряхлости ни на что не годился, деревья повырубили, и на чугуна львов, кому достались, колхозники приспособились отбивать косы.

КОНИ МОЕГО ДЕТСТВА (2)

На этот раз — кони подлинные: гнедые, в рыжину или почернее, вороные вовсе, без проталинок — такая была масть в полку 54-ом драгунском, в котором служил мой отец, поручик, к году моего рождения. Мне было семь лет, когда подарили мне мою Машку (солдаты называли так всех кобыл, несмотря на самые роскошные табельные имена) с маленькой звездочкой под челкой и поэтому, вероятно, как думаю теперь, списанную "в ремонт". Вместе с вестовым я ездил на ней без усталости.

Полк отца стоял в Ржеве, в двенадцати верстах от Лацеровки. С ее владельцем, моим дедом, которого выше так подробно описал, отец был знаком (даже иной раз вместе покучивали) и женился на одной из дочерей, моей матери.

Об отце: вряд ли существовала для него, одаренного пианиста и дилетанта-художника, менее подходящая профессия;

но — первенец в роде (с военными в нескольких поколениях кряду) — он был крещен Денисом в честь Дениса Давыдова и отдан в кадетский корпус.

Его отец, Алексей Павлович Суражевский, в начале века был старейшим русским генералом артиллерийской службы (60 лет в офицерских чинах). Не помню его, только анекдоты о нем. Например: когда в связи с назначением почетным опекуном Ведомства императрицы Марии Федоровны он представлялся Николаю Второму, царь выразил сожаление по поводу ухода его с действительной службы.

— Стар стал, пора отдохнуть! — сказал дед. Ему в это время подбиралось уже к восьмидесяти.

— Я вас старым никак не считаю.

— Жена считает, Ваше Величество.

— Ну, тут уж я, пожалуй, ничего не могу поделать... — улыбнулся царь.

Дед был женат на родной племяннице, дочери Ф. Н. Королева, в то время директора Петровско-Разумовской академии. Жили они в Москве между Пречистенкой и Арбатом, у церкви "Успенья на Могильцах". "Дух" дома был иной, чем в семье де Роберти, более дисциплинированный, чопорнее и как бы на английский лад, более либеральный на женской половине, более консервативный — на половине деда. Среди друзей его был и Великий князь Сергей Александрович, дядя государя, убитый в 1905 году эсером Каляевым. Дед умер годом раньше, и на его похоронах, как мне рассказывали, я вцепился великому князю в бороду, к конфузу родни, когда он взял меня на руки.

Дед заказал себе при жизни два или три склепа, но похоронили его на кладбище Новодевичьего монастыря, где в конце двадцатых годов я заблудился было в поисках его могилы: ее сравнивали с землей и даже заложили дерном до неузнаваемости, как впрочем, и много других могил.

Дед написал небольшую книжечку об украинском писателе Е. Гребенке; бабушка, Любовь Филипповна, издала два занимательных сборника детских рассказов, написала статью под заголовком "Монахи в миру" — протест против предпо-

лагавшегося одно время запрещения офицерам вступать в брак — повело к знакомству с Ф. М. Достоевским.

Она любила рассказывать, как ездила однажды вместе с ним на суд (об этом было что-то в "Дневнике писателя") — защищать женщину, выбросившую в припадке исступления малолетнюю свою дочку из окна четвертого этажа. Гостей, принадлежащих к творческой элите, в бабушкином доме бывало немало — в гостиной ее играл Антон Рубинштейн...

Писательницей по призванию была старшая бабушкина сестра, Лидия Филипповна, писавшая под псевдонимом Нели-довой. Ее первая книга "Девочка Лида" привела в восторг Некрасова, и он отправился в Петровско-Разумовскую академию знакомиться с автором, которой тогда не исполнилось еще и восемнадцати лет. Курьез давно прошедшего: родители ее долго совещались, можно или нельзя принять этого "литератора и журналиста сомнительного направления" "Представь себе: так и не приняли!" — рассказывала она мне.

Прожила Л. Ф. долгую жизнь, была ума обаятельного, характера независимого и властного. Приятельница И. А. Тургенева, она вторым браком была замужем за писателем В. А. Слепцовым (1836-1878) и третьим — за профессором-окулистом А. Маклаковым, став мачехой его сыновей от первой жены: В. А. Маклакова, известного адвоката и последнего до Октября русского посла в Париже (он пишет о ней и о семье деда в книге "Из воспоминаний"), и Н. А. Маклакова, бывшего министра внутренних дел. "Вы не имеете честь быть матушкой г-на министра?" — разлетелся как-то к Л. Ф. петербургский полицмейстер, решивший встретить ее на вокзале. — "Нет, это он имеет честь быть моим пасынком!" — ответила она.

Лидию Филипповну я помяну еще раз несколько позже в своих записках.

А сейчас — еще о моем отце

Военная его служба делала нас, его семью, настоящими кочевниками. Полк стоял то в Яранске Вятской губернии (я смутно помню высоченные сугробища по сторонам узкой и кривой улочки и, почему-то, россыпи бутылочных пробок на притоптанном у "казенки" снегу), то во Влоцлавске (Польша), то, наконец, у обрывистого, в постоянных оползнях бе-

регу Хопра (городок назывался Новохоперском). Самыми, пожалуй, частыми и самыми скучными воспоминаниями моего детства были — воинские эшелоны, перемещавшие нас с насиженных уютов в неизвестность — бесконечная цепь красных теплушек с солдатским "Соловей, соловей, пташечка...", запахами конюшен и сена и полудюжиной классных вагонов для офицеров и их семейств. Все это по неделям застревало на узловых станциях и разъездах и, если не дай Бог, переезд приходился на осень, я горько вздыхал о лацердовской поздней схваченной морозом рябине и грибах, грибах... В теплушки я рвался отчаянно, норовя задержаться там и на обеденную пору, вагон-ресторан не привлекал меня нисколько. Об одном моем вагон-ресторанном пассаже, которого я не помню, няня моя рассказывала такое:

Было мне четыре или пять, когда после еды офицеры, а главным образом жены их, не сядившиеся за карточные столы, затормошили меня, прося что-нибудь спеть. "Замечательный ребенок! какой слух! Что ты знаешь? какие песенки?"

— Частушки! — сказал ребенок, польщенный вниманием.

— Частушки? Это чудесно! Спой, спой, просим! — пищали дамы.

И ребенок спел:

Как у нас на троне

Чучело в короне.

Царь, царь, Николай,

Со престола удирай!

Конфуз был всеобщий, но больше было смеха. А мне теперь как-то совестно это вспоминать.

В начале 1915 года мой отец, уже подполковником того же полка (переименованного в 17-ый уланский Новомиргородский), во время разведки на австрийском фронте был взят в плен Ю. Пилсудским, тогда, если не ошибаюсь, командовавшим польским батальоном. (Подвиг этот, рассказывал мой отец, очень помог Пилсудскому в его дальнейшей карьере, и он не раз навещал отца в лагере военнопленных в Цель ам Зее.)

В 1918 году отца отпустили из лагеря как инвалида (он там тяжело болел), но в Москве тотчас же вызвали в военкомат и отправили начальником конского запаса в 14-ую армию Буденного. Оттуда он освободился только четыре года спустя и тоже по инвалидности — после тяжелой формы сыпняка. Думаю теперь, что эта его служба решаяще охранила мать, мою сестру и меня от возможных репрессий и помогла мне поступить в университет и аспирантуру, несмотря на неблагополучное происхождение. Вернувшись от Буденного, отец до смерти своей в 1930 году работал чертежником.

Были еще и другие вполне подлинные кони моего детства — серой в яблоках серебром отливающей масти. В тихом полубреду моих лихорадочных в шалаше бессонниц я отчетливо вспоминал пару таких красавцев рысистых кровей, везущих в рессорной коляске нас с матерью сквозь пустоту осенних полей и, казалось, слышал шоколадный, как называю, его перестук восьмерки копыт по колеям проселка. Ехали мы в другое имение, километрах в десяти от Скопина Чулково, — Залесской — "Рязанские лощины, коломенская грусть", — пародировал кто-то Есенина. Но пейзаж, сквозь который мы ехали, был в самом деле уныл — чересполосица жнивья, побуревших пустырей и выгонов, все блеклое, зябкое и без единого деревца. Поместье, куда ехали, с березовой рощей, с огромным яблоневым садом, тремя ухоженными прудами и целыми аллеями розовых кустов, цветущих и в пору заморозков, было совершенной среди этой унылости неожиданностью.

В отличие от лацердовского упадка, все там процветало рекордно, как сказали бы теперь: премированные орловские бегуны, племенные буренки, птичник с цесарками и павлином, цветник с розами, о которых уже упоминал, переживающими заморозки. Мне, мальчишке, казалось бы, разлюли-малина: своя лошадь, охотничье шомпольное ружье, удочки — в один из прудов еще при царе горохе пустили ведра два карасей, и вылавливать их, размножившихся, было верхом ребячьего торжества.

Но все равно я скучал две осенних недели, которые мы с матерью там проводили вплоть до октябрьской.

Принадлежало имение второму мужу моей бабушки Александру Андреевичу Загряжскому. В прошлом его семьи было немало знаменательного родства: Н. К. Загряжская (1747-1837), фрейлина Елизаветы Петровны и Екатерины Второй, родственница Н. Н. Пушкиной; позже был — И. А. Тургенев (у меня до войны висело два его портрета — дома и на охоте — подаренных мне А. А., с автографами писателя).

Сам А. А. З., военный судья, был рыцарских, я бы сказал, понятий о долге и чести, обаятельный равно в домашнем и служебном, как рассказывали о нем, обиходе. В 1918 по делу Локкарта его приговорили к смертной казни. Помню, мы с бабушкой возили передачи в Бутырки. Чуть живая от бескормицы лошаденка чудом каким-то оставалась в распоряжении моей тетки Марии Алексеевны Суражевской, позднее ученому-бактериологу. В Бутырках бабушка, к моему нетерпению, подолгу разговаривала с Татьяной Львовной Толстой, тоже приносившей кому-то передачу (был это обер-прокурор, кажется, Святейшего Синода Головин, но не берусь утверждать).

Расстрел А. А. Загряжскому заменили десятилетней каторгой. Способствовал этому такой анекдот.

Моя названная выше тетка, в прошлом причастная к какому-то социалистическому подполью, добилась приема у Н. В. Крыленко, тогдашнего могущественного истребителя чело-веков — просить за отчима.

— Как! — кричал Крыленко и даже затопал, — рассказывала мне тетка. — Чтобы я помиловал этого судейского палача, царского генерала?

— Да ведь в генералы вы же его и произвели, — сказала М. А.

— Что за чушь вы несете!..

Но налицо была одна бумага Судебного управления Московского военного округа, извещающая, что полковник А. А. Загряжский производится в генерал-майоры, — бумага, присланная в феврале или марте после утверждения новой власти, дикие огрехи современных компьютеров осуществили тогда пережившие катастрофу последние Акакии Акакиевичи канцелярского мира.

Изумившись, Крыленко сдался.

Предки моего отца были польского происхождения и появились в России в самом начале 17-го века. О них я знал очень мало: "генеалогическое древо", говорят, в кабинете деда висело на стене и из него следовало, что Суражевские — одно из колен польского рода Мнишек, но было в начале 20-х годов сожжено вместе с другими семейными грамотами. Анекдотический отклик на эту родословную сообщил мне как-то дядя мой Дмитрий (к слову упомянуть — поэт, издавший в первые послереволюционные годы сборник стихотворений "Тишина", очень, как я теперь думаю, эпигонский, несмотря на отдельные удачи и формальные достоинства, но расхваленный Ю. И. Айхенвальдом). Дядя рассказал, что когда учился в гимназии проведаль про генеалогию и его начали было дразнить "Тушинским вором" — по имени одного из Лжедмитриев, мужей Марины Мнишек.

В общем, хоть и был я "наследник всех своих родных", от семейных реликвий с отцовской стороны достался мне только альбом с портретами и дагерротипами знакомой и незнакомой родни и с массивным серебряным гербом на крышке. В тридцатые годы, время моего первого и несладившегося брака, от герба осталось только пятно потемней на выцветшем бархате: некто отщепил его — сдать в Торгсин — дворянская корона его была позолочена...

В 19-ом, если не ошибаюсь, году мы с матерью зарыли в дряхлом погребке, уже не набивавшемся льдом, при одном теперь снесенном особнячке подле Сивцева дедово генеалогическое древо на пергаменте вместе с кипой выцветших фотографий, каких-то "опасных" бумаг и родовым гербом в красках, который, как припоминаю теперь, мне было жалко закапывать, потому что был очень красив.

Все это зарытое и сам погребок я впоследствии позабыл начисто, так что и не смог бы сейчас ничего об этих предках своих рассказать нового, если б не вполне неожиданный случай: приехав в начале шестидесятых в Нью-Йорк, встретил здесь одну из своих многих кузин Лидию Александровну Толстую (замужем за Иваном Михайловичем Толстым, внуком

писателя). Она дала мне обширную выписку из одной французской энциклопедии о роде Роберти с подробностями, которые и раньше были мне не известны¹.

В выписке говорилось о том, как в середине 50-х годов 18-го века на службу Екатерины Второй прибыло двое иностранцев; первый — граф Жак де Ла Церда де Кастро де Кабреро и т. д., испанский гранд и инфант (потомок испанского королевского дома и короля Кастилии и Леона Альфонса), ставший затем генерал-аншефом русской армии; второй приглашенный — Франсуа де Роберти был офицером франко-баварского корпуса из старинного рода провансальских дворян и позже командовал одним из петербургских полков. Сын его Шарль, ставший гвардейским офицером, в царствование Павла I был обвинен в оскорблении величества и заключен в Петропавловскую крепость, откуда освободил его Александр I. Этот Шарль де Роберти женился на дочери графа Жака де Ла Церда, Элеоноре, и после смерти тестя унаследовал для себя и потомков его имя и титулы. Графский титул, однако, опускался уже поколением моего деда, правнука этой четы, из демократизма, может быть, как я думаю.

К выписке из французского справочника приводилось и описание герба де Роберти с короной Кастильского королевского дома и тремя французскими королевскими лилиями. Прочитав это описание, я вспомнил вдруг один эпизод из детства. Было мне семь или восемь лет, когда я выпросил у деда старинный рисунок этого герба маслом на полотне или шелковой — перерисовать его цветными карандашами. В музгарке было темно, и я пристроился в большом зале, у одного из окон. Там засек меня за этим занятием один из дядей моих, Франсуа ("дядя Франтик", как мы его называли), и к предкам относившийся скептически.

— Интересуешься нашей генеалогией? А как фамилия наша, выучил?

Extrait du Dictionnaire Historique et Héraldique de la Noblesse Française, etc... par D. de Mailhol - Paris 1895 - Tome I Page 1974-1977 (Cote à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (116.555).

— Знаю давно: де Роберти де Ла Церда де Кастро де Кабреро...

— Зуза-муза-лаперуза-фонти-пonti-перепonti-граф монтоза де бутело — так мы друг друга дразнили, когда кто особенно задавался! Но ты не смущайся, во-первых (я был красен, как рак, от обиды и негодования). Во-вторых, добавь к прочему "фон дер Тан" — да, есть у нас еще такой немецкий довесок. А в общем-то (он подержал в руках мою мазню) герб у нас мировой, и у тебя неплохо получается, так что крой дальше!

Я вижу, что, собравшись рассказывать о горячечных двух неделях в шалаше на больничной койке, я застаю в воспоминаниях "вообще" и автобиографических справках. Вероятно, это почти закон жанра мемуарной болтовни, которого мудрено избежать. Все-таки попробую держаться не фактографии, а повести, и рассказать, чем кончилась данная мне госпитальным врачом двухнедельная отсрочка, в конце которой я должен был сыграть в ящик.

ПОДАРЕННАЯ ВНОВЬ

Жизнь, конечно. И как происходило (совершалось) это дарение, не изложишь вдруг. Не потому только, что шло по капле, но и потому, что совершалось не только лишь материально ("Двести грамм сегодня прибавили. Вы молодец!", "Меньше стала ваша каверна. Поздравляю!"...), но где-то в категориях воли и духа, до надреальности... И я снова заимствую у самого себя описание некоторых этапов и эпизодов, когда-то уже рассказанных в одной моей автобиографической повести.

Сроку моего оставалось меньше недели. Жар, бессонница, преодолеваемое и непреодолимое выживание конца.

Когда однажды иконописная сестра, вспрыснув в горло мне мятую, необычно замешкалась и, покраснев, присела на

стул у раструба моего шалаша, я почти раздраженно насто-рожился. Мне подумалось, что сейчас начнет она что-нибудь вроде брошюрки, которую утром оставил мне утешительный визитер-пастор, "Существует ли смерть?"

Это был первый, может быть, благодетельный шок за все время моих двух недель, когда увидел я, что ошибся. Потому что она, помолчав и покраснев еще больше, начала совсем о другом, совсем в ином направлении:

— Зачем вы сделали себе эту палатку? Почему не открываете у себя окошко? Почему боитесь свежего воздуха?

Я просипел, что от свежего воздуха у меня режет в горле. Да и жить осталось почти ничего, так не все ли равно, с воздухом или нет.

— Откуда вы знаете, сколько осталось?

— Ну, вы же помните, откуда. Я ведь слышал, что говорил вам врач.

— Врач не Бог, — сказала она, хрустнув крахмальным убором. Не он отмеряет нам жизнь. Я не знаю, верите ли вы в Бога, но...

Мысленно я закончил ее фразу по-своему: "Если вы не верите в Бога, то почему так уж верите докторам?" — в этом примерно роде.

— Почему бы вам не попробовать в парк. Там теплее сейчас, чем у вас в комнате. Солнце, апрель... В конце концов...

Солнце и апрель!

О них я позабыл совершенно; солнце не заглядывает в мое северное окошко. И что значит ее недосказанное "в конце концов"?.. Может быть, то, что если на днях все равно умирать, то что же бояться тогда выходить, вообще чего бы то ни было бояться?

Принимая молчание за упорство, она сидела, как вздох и укор, сжав руки на коленях.

Мне стало вдруг жаль ее, захотелось сказать ей приятное.

— Сестра, — сказал я, — давайте откроем окошко.

Она оглянулась на меня недоверчиво, потом, вспыхнув, пошла крупными шагами к окну.

Он был в самом деле теплый, воздух снаружи, и, должно быть, душистый — я тогда плохо различал запахи.

Сестра тут же разобрала и шалаш — сложила одеяла, вытаскила палки и унесла.

А я, оставшись один, достал из шкафа и натянул на себя давно не надеванную одежду. Спустился вниз. Придерживая дыхание, отворил парадную дверь.

За нею и в самом деле было и солнце, и апрель.

Они набросились на меня, распростерши объятия, как на близкого, выползшего из подземелья.

Слепительный воздух, щебет, ошеломление. От отвычки ходить захватило дыхание, гравий под ногами зыбок и клумба рядом кренится, как палуба.

В устье аллеи свистнул в лицо сквознячок: "Стой! Что — пропуск?"

— Пропуск, братец мой, "Жизнь".

— Неверно.

— Ладно, пусть "Смерть" — все равно, на попятный не стоит!

Еще два шага — и снова задохся... Свернул на дорожку погуще, где воздух не двигался.

Дорожка тесная, хвойная, колючая, как ёж. Кусты в почках впрозелень и какие-то уже в полную зеленую силу, в желтом медовом цвету и чириканы.

Шагал через корневища, крытые плюшевым мхом, по шишкам, топыристым в солнечных пятнах и жухлым в тени. Муравьи бисером — поперек.

Господи Боже мой, как все здесь живет!

Термометр после этой первой моей вылазки показал 39. Пренебречь! это частично от передвижения. Пренебречь!

Я, конечно, не думал в тот день, а подумал бы — побоялся поверить, что завилась вдруг ниточка счастливых сдвигов, совпадений, даров и просто чудес в тогдашней моей судьбе.

Я зачастил в парк. Он разбит щедро — с одного краю обрывается над рельсами, бегущими в Альпы, на другом переходит в лес. Все не по-немецки запущено — дорожки, скамьи губчатого от старости дерева на увязнувших в хвое

расшатанных стойках. Я бродил там, как Робинзон, делая разные открытия.

В можжевельниках — заброшенный кегельбан. Доски сопрели, пропустив в щели мох и какую-то бледно-оливкового цвета молодую щетину. Оказалось — черника. Умилившись, я даже не подумал, как обычно, что не увижу, когда завяжутся ягоды.

В парке мне как-то удавалось не думать. Только слушать: шорохи, свисты в кустах, перипатетика-дятла, кукушку... Эту кукушку, которую уж и не надеялся когда-нибудь услышать — первую весеннюю кукушку из сквозистодымчатого, всегда чуть мистического далёка, слушал, понятное дело, растроганно и с восторгом: она наобещала мне с три короба жизни!

Парк со своими шумами, клейкой вязью веток и горьковатым льющимся в горло вздохом прели и хвои, входил в меня, как наркотик. Я таскался туда по несколько раз в день, как пьяница к стойке, пропуская звонки на обеды и ужины, и, забывая свою обреченность, дышал вместе с ним.

Словом (ближе к теме этих моих строк, которые пишу): может ли приговоренный к смерти позабыть день, когда приговор должен быть приведен в исполнение?

А вот я непонятным образом позабыл! День, в который истек отпущенный мне главврачом срок жизни, мои две недели.

Напомнила сестра.

После обычной своей процедуры с мятой, уже уходя: вдруг обернулась ко мне с порога. В легком и словно бы радостном румянце — замешательство: заговорить или нет, строгие губы то трогает, то отпускает улыбка.

Ушла, не заговорив, но я прочел то, что хотела сказать и такой разговор:

— Ну — как? Вот и прошли две недели?

— Прошли, сестра.

— Живы ведь!

— Жив...

Еще эпизод. В середине, примерно, апреля в самом конце

парка долго смотрел на движение по шоссе железнодорожного пути. Судорожно, как расклеванная гусеница, ползла по нему дулами к югу вереница брони и орудий Третьего Райха! Впервые за последние дни я вдруг представил себе огромность этого конца, вот-вот близкой победы и совершенную ничтожность собственной моей судьбы.

Потом вдруг пошел серый снег, плавясь в воздухе, и я почувствовал, что продрог.

— Доктор запретил вам подниматься с кровати, — сказала утром сестра. — Весна, вы знаете, не так уж для вас хорошо. Я могу поискать вам что-нибудь в библиотеке.

Лазаретная библиотека из вымороченных книг — настоящий переполох авторов и названий: Гёте и "Тарзан", "Анна Каренина" в переводе, кончающемся сценой самоубийства, Ясперс и тридцатипфенниковые романы; позже я прочитаю многое из этого перечня, но сейчас за чтивом не сумел отвлечься от самого себя.

— Читать не могу, сестра. Вот если бы бумаги!..

И она, благодетельница, принесла мне стопку исписанных закорючками листов (врач диктовал ей в потемках при просвечивании больных), но чистых на обороте. Принесла и нагрудный столик-пюпитр. Так я начал свои записки (читать, как говорил выше, не мог, а вот же, если не в сильном жару, писалось!..). Вспоминаю потому, что кое-что из записанного тогда повторяю теперь, в этой заглядке в прошлое.

Такое, например, когда снова начал вылазки в парк.

Незнакомая одна тропинка споткнулась вдруг о забор, точнее в то место, где из него выломали (вероятно, больные, для отлучек по-черному) две планки, так что получился пролаз. За ним, через канаву, которую я с трудом одолел, — развилка лесных дорог, похожих от нависавшей зелени на туннель.

В развилке — часовенка, алебастровая коробочка с крышей коньком и створчатой, в чугунных витках решеткой, за которой — красками с золотом сквожение.

После сырой тени парка здесь, как в плавильне — каленое солнце, обжигающий лицо воздух, натянутый, как струна. Все в буйном напряжении цвета, соков и мускулов, и коротко-

ногие маргаритки на уже пыльных обочинах, и белый щебень дороги, и лес, и небо...

По контрасту, должно быть, я вдруг тяжело ощутил свое собственное бессилие и как слаба во мне жизнь. Нет, наши северные вёсны добрее. Есть и в них буйство, но больше — томление, ошеломленность первой вспушившейся вербы, сухих почек, просыхающего суглинка. И солнце не грозит тебя сжечь.

Я вошел в синюю трапецию тени, которую бросала на щебень часовня.

Это была Богородица — за чугунными створками — раскрашенная деревянная скульптура очень искусного резца. Потом я узнал, что сделал ее полвека назад один больной резчик-художник в благодарность за свое выздоровление; но и без справки чувствовался талант. Лицо в наклоне — наклонено над Младенцем, видна только прядка бровей под выпуклым лбом, похожая на брови моей иконописной сестры-заботницы. В этом наклоне, в легкой бережности прижимающих рук, в плавности складки, открывающей у подножия только едва обозначенную резцом ступню — торжественная и внятная, как рифма, гармония...

Над цементным полом и фаянсовой пустой вазочкой кружит плюшевый шмель, этакий маленький черный в золотистых подпалинах связной между двумя мирами — по ту и по эту сторону решетки. Он ошалело стучается об известковую стенку и, свалившись, расправляет мохнатыми лапками смятые шелковые подкрылья. Когда обрывается его валторновый гуд — смыкаются, как кажется мне, две тишины: летаргическая за решеткой и обманная — снаружи: если прислушаться, слышно, как где-то над головой сладким грудным тенорком бурлит лесной голубь.

За спиной топоток: девочка с косичками и голубой авоськой в руках подошла к часовенке, нерешительно замедляя шаг и косясь на меня. Поставила авоську на щебень, присела, болтнув косичками, взялась за решетку маленькими кистями.

Я смотрел на ее мелкий профиль с шевелящимися губами и вскинутыми ресницами.

Отняв руки, она перекрестилась ладошкой, снова присела,

повернувшись ко мне, сказала "Grüß Gott" и, подхватив голубую авоську, побежала вприпрыжку.

Очень милая девочка, щербатая — когда она мне улыбнулась, я увидел, что у нее нехватает молочного резца. Какую просьбу выговаривала она с такой великолепной наивностью?

Просьба к Неведомому, может быть, и должна быть наивна. Просьба о жизни, пожалуй, наивнее всех других. Или — как?..

Я тоже наподобие ей, подойдя к решетке вплотную, взялся за нее обеими руками. Лбом — в чугунную грань завитка. Шмель смятенно кружил у подножья и гудел, гудел...

Тут я делаю пропуск, потому что, мне кажется, дальше нельзя и не нужно рассказывать. Да вряд ли и смог бы я рассказать.

Дальше было ощущение рези во лбу и глухой неотпускающей боли во всем теле, словно вытащили из него на минуту костяк и все опирается на одни только хрящи и мускулы. Я протатился несколько шагов, весь обмокнутый в эту боль, как свалившийся в воду пудель, бессильный встряхнуться.

Но — такой феномен — буйство солнца и света вдруг перестало быть в тягость. Какая-то вроде короста отвалилась с души, и стало ее прогревать и вздывать грудь легким дыханием — удивительно легким и смелым, как мысль, которая всего несколько секунд назад казалась невероятной и неистовой: что если б у д у ж и т ь?

Домой я пошел не в обход, а по главной аллее, которую избегал прежде из-за сквозняка.

Навстречу попался почтальон с волосатыми икрами изпод коротких баварских штаников и тоже сказал "Grüß Gott". Почта, значит, еще все-таки действует. Кто-то из паникеров говорил, будто нет, и почему, спрашивается, я ему так охотно поверил?..

В ранней юности был я почти что воинствующим безбожником — со стыдом вспоминаю. Чуть позже, к университетским годам, в итоге пристального, а то и мучающего чтения, сделался просто безрелигиозным. Условно, как многие полумыслители в тогдашнем моем окружении, свободные

от предвзятостей, но настороженные в части отрицания или утверждения надреального мира.

Когда 1 июля 41-го уезжал на фронт, одна из теток моих (та самая, о которой вспоминал выше в анекдоте с Крыленко) надела мне на шею полумедальон с образком Христа Спасителя — и как же часто в смертных страхах своих нащупывал я его под гимнастеркой и крестился петитом! А в шалаше в полубредовом забытии вспомнилось мне вдруг множество молитвенных и псалмопевных строк, которые и не подозревал, что знаю, которые закрепились во мне с отроческих, верно, лет, когда водили с угла Фуркасовского, где была гимназия, в маленькую церковку напротив, в устье Кузнецкого моста.

И я повторял, повторял их, вряд ли молясь, но вполне сперва бессознательно. Нет, и после — не по-церковному, но прежний безбожник иссох во мне без следа, и Небо стало мне ближе.

Небо стало мне ближе, и об этом я записывал на листках, принесенных сестрой. Что-то вроде надежды стало просквживать в этих записках.

Роман Гуль

МОЯ КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Роман Гуль, писатель, родился в Киеве 1 августа 1896 года. В 1917-18 гг., будучи офицером, участвовал в гражданской войне в России, на стороне антибольшевиков. В декабре 1918 года в Киеве во время гражданской войны я в числе прочих офицеров и солдат был взят в плен украинскими войсками атамана Петлюры и заключен под арест в Педагогический музей, на Владимирской улице. 30 декабря 1918 года по инициативе немецкого командования всех нас, остававшихся в заключении, погрузили в вагоны и под охраной немецкого и украинского караулов вывезли в Германию. 2-го января 1919 года мы переехали германскую границу. С 2-го января 1919 года по 3 сентября 1933 года я безвыездно жил в Германии.

По приезде в Германию я жил сначала в лагерях военнопленных: Дебриц под Берлином, Альтенау, Клаусталь, Нейштадт — в Гарце и последний лагерь — Гельмштедт (Брауншвейг). Из лагерей Клаусталь и Гельмштедт у меня до сих пор есть лагерные удостоверения. В 1920 году я переехал в Берлин, где жил до 1930 года, занимаясь литературным трудом. В 1921 году из Советской России бежала моя мать, которая с этого времени жила со мной в Германии. В 1927 году в Берлине я женился на моей теперешней жене, Ольге Новохацкой.

Печатается с любезного разрешения Бахметевского Архива при Колумбийском университете (Нью-Йорк).

В Берлине я сотрудничал в русских эмигрантских и немецких журналах и газетах. А также выпустил за это время в Берлине семь книг на русском языке (изд-ва С. А. Эфрон, "Манфред", "Петрополис"). В 1925-1926 гг. я состоял директором немецко-русского издательства "Таурус Ферляг", Берлин-В8, Моренштрассе 13-14. Свои книги по-русски я издавал главным образом в изд-ве "Петрополис", где вышли мои четыре книги (из них два двухтомных романа). Многие из моих книг переведены на все главные европейские языки. В 1930 году на немецком языке вышел мой большой двухтомный роман "Савинков. Роман ейнес Террористен" в известном немецком издательстве Пауль Чольнай Ферляг (Берлин - Вена).

В 1929 году я купил участок земли в деревне Фридрихсталь бай Ораниенбург и выстроил там дом в четыре комнаты, где с 1930 года жил с семьей.

По приходе Гитлера к власти мой роман "Савинков. Роман ейнес Террористен" вместе со всеми книгами издательства Пауль Чольнай в Берлине был конфискован Гестапо. А 13 июня 1933 года из-за этого романа я был арестован и помещен в концентрационный лагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). О моем аресте было сообщено в распространенной демократической газете "Последние Новости", выходившей в Париже под редакцией профессора Милюкова. Фотостат прилагается. Из Парижа обо мне стали хлопотать известные русские демократы-антикоммунисты — профессор Милюков, В. Л. Бурцев, Б. И. Николаевский и др., так как я как бесподданный находился под покровительством Лиги Наций. В лагере я пробыл три недели. По освобождении я вынужден был уехать с женой во Францию, где прожил до 1950 года. В 1937 году в Париже я опубликовал книгу на русском языке "Ораниенбург. Что я видел в гитлеровском концлагере". Благодаря этому во время войны я вынужден был скрываться на юге Франции и зарабатывать средства к существованию в качестве сельскохозяйственного батрака (Метейе). Соответствующие документы прилагаю. Эта жизнь вызвала тяжелое заболевание жены и полную потерю ее трудоспособности (соответствующее врачебное удостоверение того времени прилагаю).

В 1950 году я переехал в Америку.

Роман Гуль

ПИСЬМА ПИСАТЕЛЯМ-ЭМИГРАНТАМ

Р. Б. Гуль — М. А. Алданову

13. 7. 53

Дорогой Марк Александрович,
хочу обратиться к Вам с небольшой просьбой. Дело в том, что, работая для радиостанции "Освобождение" — для передач на "ту сторону", — я даю серию коротких "скриптов" на тему "Россия на Западе". Даю я скрипты о русск. литературе на Западе, о науке, искусстве, а также и об отдельных писателях, ученых, музыкантах. Я уже дал о многих — о Бунине, Зайцеве, Шмелеве, Ипатьеве¹, Васильеве², Ростовцеве³, Стравинском, Метнере⁴, Рахманинове, Карповиче, Якобсоне и др. Мне очень хотелось бы дать скрипт о Вас. Если Вы остаетесь в Нью-Йорке (я приеду 20-го июля) — тогда проще всего нам с Вами встретиться, поговорить и скрипт готов. Эти скрипты должны быть коротки — 1½ - 2 стр. (maximum) с большими полями. Если же Вас не будет в Нью-Йорке, то не были ли бы

Все четырнадцать писем, представленных в этой подборке, хранятся в Бахметевском Архиве при Колумбийском университете (Нью-Йорк). Редакция НЖ благодарит работников архива и в особенности куратора Бахметевского Архива госпожу Эллен Скаруффи за содействие в публикации этих писем.

Вы так любезны, не написали бы Вы мне о себе то, что для скрипта нужно: Когда родился, где, какое образование, что написано, издано в России, с какого года на Западе (о том, что вы делали на Западе, я, конечно, знаю), с какого года в Америке и над чем сейчас работаете и что выпускаете. Чтобы сделать эти скрипты интересными (а не сухими), я обычно даю к. н. очень небольшой отрывок (цитату) из к. н. произведения, иногда из интервью и пр. Так вот м. б. Вы бы указали мне, из какого-нибудь В/произведения хорошую цитату — о России (ее судьбе), или о русской культуре, или о большевизме и его судьбе. Хорошо бывает начать скрипт с к. н. лестной цитаты — из отзыва иностр. журнала, газеты. Кроме того, — я знаю, что Ваша книга (не помню какая) была приобретена одним из клубов в Америке — это надо обязательно упомянуть. И еще: — помню, что кто-то в СССР украл один из В./романов ("и пойман был, и уличен") — мне помнится — фамилия этого писателя-плагиатора была Алексеев — об этом тоже интересно сказать.

Видите, сколько у меня к Вам вопросов. Но ежели Вы — в Нью-Йорке — и не уедете в 20-х числах июля, то лучше бы нам встретиться (я и помимо этого оч. хотел бы с Вами повидаться). А если Вас не будет — будьте ласковы — ответьте мне на мои вопросы.

Искренне Вам преданный

Роман Гуль

Р. Б. Гуль — В. В. Вейдле

4-го декабря 1965 года

Дорогой Владимир Васильевич, итак, — чудно, шлите Равенну⁵, буду рад ее напечатать, и именно так, как Ваш очерк о Петербурге⁶, в этом отделе, который в журнале "самый узкий". Чем ни раньше пришлете — тем будет лучше. Но не тороплю, ибо декабрьский выйдет на след. неделе, и тогда я примусь за мартовский.

А Вашу статью в дополнение к "Смыслу стихов"⁷ и статью

о Гумилеве (по поводу) будем ждать е. б. ж. О Гумилеве — о том, что Вам издание второго тома⁸ понравилось, мне написал Струве, т. ч. он был бы оч. рад, если бы Вы написали. Но — подождем.

Болезнь моя меня как будто отпустила, но все-таки я хочу осуществить свое давнее желание — сократить работу (во-первых, на станции. Вы знаете, сколь это утомительно и сколь это малоинтересно), а потом и по НЖ, но тут события против меня. НЖ за последнее время расходится невероятно бурно — продается все до последней книги, у нас нет совершенно последних книг, несмотря на то, что я увеличил тираж на 100 и больше (в посл. раз) экземпляров. И американские друзья журнала настаивают категорически, чтоб я его вел, и хотят еще получить от меня гарантии, что НЖ будет продолжаться и после моей смерти, чего, увы, при всем желании дать не могу. Но пока "живу и дышу" — надо тащить, а найти даже помощника (дельного) — увы, не представляется возможным. Оскудели мы людьми и в дальнейшем еще сильнее оскудевать будем. Но на все — воля Божья. Увы. Варшавскому⁹ сказал, и он согласен на такой "джентльмен агримент" (шучу), ведь это я так подписываю его вещи, кот. он дает для радиостанции, обдeldываю их и даю (кстати, перевод писем Паст[ернака] Мюнхен забраковал, сказали, что "никто ничего не поймет" — и м. б. они правы?) Теперь я буду добавлять "ий", а Вы будете добавлять "ле". Чудно.

Сердечный привет, искренне Ваш

Роман Гуть

10 июня 1966 года

Дорогой Владимир Васильевич,
получил Ваше письмо — и как видите — стремительно отвечаю. Я звонил сейчас секретарше и просил Вам сегодня же выслать обе Ваши статьи из №№ 33 и 35 Н. Ж. "О религ. корне русск. искусства". Стало быть, это пойдет одновременно с этим письмом. Статьи пойдут пар авьон, письмом. Вуаля. (Это

будут вырезанные из книги статьи, для ясности.) Счастье Ваше, что эти №№ у нас еще есть. А последние номера — 70-е и 80-е почти сплошь разошлись, и мы сами их ищем у подписчиков и покупателей, не собирающих комплекты. Вот как мы разворачиваемся!

Ваша "Равенна" имеет большой успех у всех любящих Италию. Варшавский первое, что прочел — ее. И в восторге. А один большой любитель Италии и хорошо ее знающий, сказал мне: "Знаете, Равенну Вейдле я читал прямо-таки с дрожью! Как хорошо!" Так и сказал — "с дрожью". Видите, значит не зря мы существуем. И не зря Вы нам присылаете.

Вообще кн. 83 считают лучшей из всех 83-х книг "Н. Ж." Я готов согласиться. Правда, получилось оч. удачно все. Там есть чудесная повесть Чуковской (дочери Корн. Ив.) и потрясающая стенограмма речей об исключении Пастернака. Это такое историческое "табло"! Впрочем, это Вы могли читать, ибо рукопись была на радиостанции "Свобода" тоже (но там на нее не обратили должного внимания, что и понятно). Я же за нее сразу ухватился...

Очень прошу Вас прислать **ОБЯЗАТЕЛЬНО** и "Гоголь в Риме" и "Разговоры о бахвальстве"¹⁰ (эта тема мне очень нравится, это нужная тема для того, "дабы дурость многих была явлена", перефразируя Петра Великого). Если Вы пришлете даже в июле — это не будет поздно. А лучше, если Вы пришлете **ОБЕ** рукописи. Если Гоголь готов — шлите сейчас. А ту, как закончите. Шлите мне на дом: 506 West 113th St. N. Y. N. Y. 10025.

С 20 июня нас не будет в Нью-Йорке, и тогда надо слать по оч. простому адресу: R. Goul. Petersham, Mass. U. S. A.

Но если пошлете на нью-йоркский адрес — мне перешлют. Мы уедем в Канаду в конце августа на некоторое время. Еду в Канаду, а хотелось бы в Равенну (только один раз там был) или в мою любимую Грецию, в которой был дважды, а хотелось бы быть двести раз. Даже м. б. просто там поселиться, благо я вышел в отставку с 1 апреля со всеми чинами, пенсиями и орденами, которые — в расчете — оказались довольно мизерными. Но не в них дело.

Я люблю всякие "писчие принадлежности" — откуда у Вас

такие чудесные чернила (черные), словно тушь — очень приятные.

Всего Вам хорошего, жду рукописей. И стихов тоже, хоть это единственный жанр литературы, где предложение превышает спрос, но стихи я уже распределяю на два номера — на сентябрьский и декабрьский. Если пришлете — тоже буду рад.

Всего Вам лучшего
Ваш Роман Гуть

24 февр. 1969 г.

Дорогой Владимир Васильевич, большое спасибо за Вашу прекрасную книгу и за надпись (в отношении "моих позиций" совершенно правильную). Жалею, что книга пришла слишком поздно: кн. 94 уже была готова. Организую отзывы о В/книге в июньском номере¹¹. В частности, я ввел некое отступление от "правил" — об одной книге, если она того заслуживает, давать не один отзыв, а — больше. Два. К тому же можно и — "по поводу". В июньском отзовемся. Всего Вам лучшего. И спасибо за книгу и от меня, и вообще...

Искренне Ваш
Роман Гуть

2 января 1970 года

Дорогой Владимир Васильевич, получил Ваше письмо, большое спасибо. И спасибо за "Трепет естества", ибо действительно Ваша пауза появления в Н. Ж. была очень глубока. Стало быть, статью Вашу я очень жду. Но если она придет в феврале, то это может оказаться поздновато для мартовского номера, тогда ее придется дать в следующем. Я ведь завишу в смысле техническом от типогра-

фии, а они, собаки, долго печатают и переплетают, — поэтому всегда просят дать им большой срок, чтобы выйти вовремя. Если б Вы прислали в конце января, скажем, — это было бы наверняка и чудесно! Во всяком случае я буду ждать эту Вашу статью для этой книги и если надо будет оттянуть — в пределах фактически возможного — оттяну, конечно. Только держите меня в курсе дел. М. б. Вы сможете раньше прислать? Напишите, когда примерно?

Очень хочу узнать, как человек чувствует себя в 75 лет? Когда Вам "стукнет" — сообщите. А то мне всего-навсего 74. Не ропщу и никакому Фаусту не завидую. Только хотелось бы как-то "приготовиться", "внутренне быть готовым", "собраться с мыслями и чувствами". И вот этого всего нет — жизни мышья беготня продолжается и продолжается без конца. И это плохо, очень плохо. Американцы, которые и раньше помогали журналу, но с трудом и вразвалку, вдруг с некоторых пор возрадовались ему необыкновенно и оценили "по заслугам". Когда я высказал одному из них, милому человеку, что устал, не могу так тащить и пр., он прямо руками замахал — "Что Вы, что Вы, м-р Гуль, Вы даже не представляете, какое Вы делаете дело для Америки, я уж не говорю о России". Вот Вам и запоздалое признание. "Ты опоздал на 10 лет и все-таки тебе я рада". Теперь положение журнала — стало, по-моему, гораздо прочнее. Помогают этому, конечно, и Кочетов, рекламирующий меня в своих романах, и С. Михалков, на весь Союз называющий Н. Ж. "эмигрантским литературным вертепом". На мне лично эта твердость положения журнала отражается, конечно, мало, очень мало, почти никак. Но журнал, слава Богу, становится на какую-то постоянную базу при помощи всяких фондейшенс, по крайней мере, — обещают. И думаю, что обещания сдержат. Хотя мы привыкли и ко всяким разочарованиям.

Теперь хочу сказать Вам вот о чем. Я — е. б. ж. — хочу выпустить 100 книгу (сентябрьскую) к. н. торжественно: т. е. больше страниц, можно дать лучшую бумагу, обложку, чтоб вышел такой хороший "кирпич" — и чтоб подобралось содержание интересное. С этой целью я уже сейчас кое-что откладываю для этого "небывалого" в эмиграции — сотого

номера периодического, "толстого" журнала. Я на днях хотел как раз Вам писать просьбу ч. н. уготовить — для сей торжественной книги. Напишу целому ряду писателей эту просьбу. Надо хоть и на старости лет, но как-то показать товар лицом. Буду стараться. Подумайте, пожалуйста, и Вы о к. н. Вашем опусе — время "бугры" — и я надеюсь, что Вы ч. н. дадите обязательно¹². Как-никак все-таки "всероссийское" дело.

Буду рад встретиться с Вами осенью. Принстон — вещь весьма неплохая. Всего Вам лучшего. Искренне Ваш

Роман Гуть

6 апреля 1971 года, Сарасота.

Дорогой Владимир Васильевич,

простите, не мог раньше ответить. В Нью Йорке был очень замотан перед отъездом, а приехав сюда — всякие произошли осложнения — и вот только сейчас отвечаю.

Конечно, 45 Ваших рукописных страниц — это многовато, ибо Вы пишете оч. убористо. Но что ж — в конце концов — можно "поразить мир злодейством" и дать такую статью в кн. 104-й. Попробуйте, хотя бы немного, сократить уже машинописную рукопись. Вероятно, Вы найдете к. н. повторения того, что Вы уже высказывали в Ваших других статьях на эту тему. Но если "сокращению не поддается" — шлите, выпихнем этой статьей к. н. ДВУХ авторов (бедняги!), но они должны понять, что культура строится на костях. Если Вы можете уже сейчас выслать, то шлите сюда или на адрес Нов. Журн., но не на квартиру (это сейчас будет хуже, ибо пересыльщик уедет на некоторое время из Н. Й.). А как статья о Толстом¹³ — я ее очень жду — если она будет короче, м. б., ее дать сначала, но вижу, что Вы считаете, что "Еще раз..." надо дать раньше. Самое страшное, это — принять решение, говаривал, кажется, Наполеон, ну, так вот я его принял. И жду статью и дам ее в 104-й. Меня кроме всего подзадоривает в этом еще и то, что "формалисты" — гnevаются, а я хочу их бить, бить и бить. В

Америке с бедными студентами они учинили Бог знает что: пишется какое-то несусветное перекобыльство и все в — "научных" терминах формализма, структурализма. Ужас, какая чепуха! Нанесем еще один, м. б., даже "ку де грас" Якобсону. Жду.

Да, действительно, Вы "перехитрили". Супруги Вейдле, супруги Гули — это все вполне хорошо, а вот единственное число — что-то страшное. Я как-то писал Адамовичу об аллергии к некоторым словам и привел, что у Карповича была страшная аллергия к слову "ботинки" (у меня никакой). Адамович ответил, что, оказывается, и у него к "ботинкам" аллергия, и привел, кстати, "и помню узкие ботинки", причем сказал, что у Блока вообще было неладно с обувью: "так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук". Я ответил, что ни то, ни другое меня не шокирует. Эти самые "ботинки" я всегда представлял себе — высокими, зашнурованными, как тогда носили кафешантанские дивы. А каблук в сердце Александра Александровича вонзается даже довольно мило. Чем же заменяются эти "ботинки"? Штиблеты (как говорили, когда я был гимназистом) устарели и умерли, сапоги — это не совсем то, туфли — тоже не то. Нет другого. Помню, у моей покойной матери была аллергия, когда в некоторых словах произносили вместо о — а. Напр., рАяль вместо рОяль. Она любила подчеркнутое "о": ревОлюция, а не реваЛюция и пр. Ну, кончаю и жду статью "Эх раз, еще раз..."

На острове нашем чудно, но ветрено. И я, как русский дурак, приехав, попер против ветра (несмотря на отговоры "супруги" и на запрещение врача) и немного себе повредил. Но сейчас отошел, как будто. Ветер, собака, был северный и в 30 миль. Действительно, было глупое гулянье. Но теперь я с ветром заключил соглашение о сосуществовании: я не иду против него, если он силен. Ждем безветренных дней. Они, конечно, скоро придут...

Искренне Ваш Р. Гуль

28 января 1974 г.

Дорогой Владимир Васильевич!

Нет, к сожалению, двух статей я напечатать в одном номере никак не смогу. Помимо всего прочего, этот номер (из-за экономии) будет в 272 стр. Я буду рад, и очень рад, напечатать Ваши "Полемические заметки"¹⁴ в 115-й книге. Напишите их заранее, Вы же много пишете, много печатаете. Если бы Вы прислали эту статью к 15-20 февраля, то это было бы уже поздно. Поэтому очень Вас прошу написать и прислать заранее к 115-й книге. С гонорарами у нас дело обстоит так, что я явочным порядком их просто не плачу. Платим — славой и почетом. Ничего не поделаешь.

Общее положение (финансовое) Нового Журнала еще не выяснено. Есть надежды, как будто какие-то тузы зашевелились, но все это пока в тумане.

Искренне Ваш
Роман Гуль

9 июня 1974 года

Дорогой Владимир Васильевич, спасибо за Ваше письмо. Насчет издания книгой Ваших статей: конечно, это было бы очень хорошо и очень нужно, но изд-в, которые нормально взяли бы книгу и издали, увы, теперь нет. Вы спрашивает о Клейн? Не думаю, они вообще существуют как-то "очень эфемерно". Вдруг что-то издадут, потом опять умрут. Это не-серьезное предприятие. И там у них гл. образом беллетристика и политический материал. Не думаю, чтоб можно было бы его заинтересовать. К тому же Бедфорд и это изд-во, это в сущности, одно и то же. Если б у Н. Ж. были хоть к. н. издательские возможности, но их нет и не было, живем по-прежнему из руки в рот. От высоких американцев пока что ничего не слышу. Но уж в этот раз я никак не останусь, хоть озолоти меня: ужас как устаю от этой работы. Питэрсхэм наш "умер" навеки, ибо умерла наша милая миссис Хапгуд. Этим все кон-

чено с Питэрсхэмом. Мы поедем 29-го июня (на два месяца) совсем в другую сторону — на океан, в Нью-Джерси (чудеснейшее место! — Лавалетт). И не к. н. там курорт с буржуями, а тихое прекрасное место на самом берегу океана (там эйркондишенеров не знают, зато отопление есть везде, ибо ночи холодные бывают даже летом). Пробудем там до 1 сентября, а м. б. и дольше. Писать и все слать надо на редакцию "Нового Журнала", мне все будут пересылать. Книга 115 сверстана и скоро должна выйти. Перечитал я в наборе, все-таки Вы их здорово и поделом "критикнули". Но и я давно чувствовал и видел, что у всех этих (не у всех, нет, были и со слухом) Виноградовых, Тарановских, Лотманов, Якобсонов (тоже!)) нет слуха к словесной музыке, к поэзии. Держу в библиотеке своей книгу Виноградова о творчестве Ахматовой, с моей точки зрения, это нечто просто ПОЗОРНОЕ по непониманию и псевдонаучности. Поделом Вы их высекли. Пусть бы ответили в Н. Ж. Было бы интересно. Но едва ли, едва ли...

Всего Вам и Вашей жене хорошего.

Искренне Ваш Р. Гуль

22 августа, 1976 года

Дорогой Владимир Васильевич,

простите, что отвечаю с таким опозданием. Но моя жизнь теперь идет — как телега едет с одним колесом. Трудно. Большое спасибо за Ваш прекрасный рассказ, я им открою 124-ю кн. Н. Ж.¹⁵, которая уже набрана и корректируется. Нет, нет, Ваше критическое чувство вовсе не притупилось. Рассказ написан чудесно, и несколько ниже я приведу Вам неопровержимое доказательство. Скажу честно, начал я его читать с некоторым недоверием — на 82 году, первый рассказ и пр. Но уверен, что Бунин оценил бы этот Ваш рассказ так же, как и я. Как — прекрасный. Что-то меня сначала чуть-чуть кольнуло и насторожило, так это "эстетизм" Вашего героя, когда Даша спрашивает его — любит ли он Апухтина? Но это разность натур, я бы на месте Вашего героя, конечно бы,

"искренне соврал", что люблю, обожаю, "ночи безумные, ночи бессонные" и тут же постарался бы сделать из этой небольшой "лжи" соответствующие выводы. Но когда я уже кончал рассказ, я увидел, как хорошо, как ловко и как правильно Вы обошли этот "эстетизм" настоящим чувством. Все скрепили. Ну, а теперь вот Вам — истинное доказательство: когда я кончал Ваш рассказ — я заплакал. И это — лучшая "рецензия" — стало быть, дошло до самого нутра. Вуаля. Спасибо. И за рассказ. И за слезы (это вовсе не плохо, наоборот!).

А — "Мнимые вымыслы"¹⁶ присылайте к декабрьской. Не знаю, будет ли существовать Н. Ж. дальше. Все это — в тумане. Но думаю, что будет. Сейчас у меня завелся неплохой помощник из недавно приехавших. Посмотрим, что будет. Но декабрьский-то выйдет, конечно.

Искренне и душевно Ваш Р. Гуть

П. С. "Прогулки хама с Пушкиным"¹⁷ тоже пойдут в кн. 124 (но на далеком от Вас расстоянии), причем я захватываю тему широко — вообще об охамлении людей в Сов. России — об охамлении чувств, характеров, нравов и литературы, конечно. И вот — иллюстрация. Думаю, что "охамленным" Ваш рассказ не подойдет, до них не дойдет. Они все берут "с другого конца".

29 сентября 1977 г.

Дорогой Владимир Васильевич!

Получил Ваше письмо, но, к сожалению, грустное. Очень сочувствую Вашему несчастью, но думаю, что это все скоро срастется, и Вы будете в полном порядке.

С "Белым платьем" произошли некоторые перемены, но, я думаю, к лучшему. Дело в том, что 128 (сентябрьская книга) никак не могла вместить половину рассказа. И вдруг подумал, что это к лучшему: дам полностью в декабрьском. Тогда и полный текст можно будет сделать отдельным оттиском, ибо при

разрыве обязательно ворвались бы какие-нибудь стихи или страницы чужой статьи. А так будет все в порядке. И ждать недолго. Декабрьский номер у нас выйдет рано. Уже сейчас две трети его набрано.

Там же пойдет и о Набокове, ибо некролог пришел с опозданием, когда уже был набран некролог, написанный Иваском. Так что ждите декабрьский номер. Он будет "сильно Ваш".

Операция моя назначена на 10 ноября, после нее будет видно — на каком я свете.

Дружески и искренне Ваш
Р. Гуль

Р. Б. Гуль — А. В. Бахраху

27 августа 1977 г.

Дорогой Александр Васильевич!

Был очень рад Вашему письму. "Минувшее" на старости лет встает передо мной. Из всех упомянутых Вами тем, я думаю, что самыми интересными были бы Ваши записи разговоров с Буниным (конечно, без всяких цензурных прикрас!) и воспоминания о Ходасевиче, причем, разумеется, никаких крылышек ему приклеивать не надо. Я мало его встречал, но мне о нем очень много рассказывали Нина Петровская ("Рената" из "Огненного Ангела")¹⁸ и Вишняк¹⁹, и я знаю, что он далеко был не ангел, так что макировать покойника, я думаю, не след. Пишите так, как Вам хочется. Но я думаю, что быстрее всего Вы можете прислать разговоры с Буниным, и это было бы прекрасно. О Берлине 20-х гг., конечно, тоже стоит написать. В частности, я наговорил сейчас на пленку свою новую большую книгу²⁰ о литературно-общественной жизни эмиграции, начиная с 1920-х гг. до 1970 гг. — Германия, Франция, Америка. Когда перепишут, буду отделявать. Там тоже будет и о Доме Искусств, и о Нов. русск. книге, и проч. Но Ваши воспоминания были бы мне очень интересны и полезны. Помните ли Вы пивную фрау Утэш, где совершались

пьяные буйства с битьем посуды и прочей широтой русских душ? По-моему, Вы там тоже бывали.

Я вернулся в Нью-Йорк и теперь буду тут (е. б. ж., конечно). Буду рад Вашему письму. В частности, с Геннадием Андреевичем²¹ мы вчера разошлись, "как в море корабли", и он больше не соредактор. Так что все шлите на меня.

Искренне Ваш

Роман Гуть

29 сентября 1977 г.

Дорогой Александр Васильевич!

Получил Ваше письмо. Спасибо. Был рад ему. Присылайте в Новый Журнал все, что хотите. Начинайте с того, о чем Вы можете быстрее написать. Вы правы, в Клубе писателей я не бывал. Там все были маститые. Но о Доме искусств, о Новой русской книге, о Накануне, о журнале Жизнь²² и многом другом я уже наговорил на пленку, и сейчас это переписывается. Думаю, что из старых берлинцев только и остались Вы да я. И мы должны все-таки рассказать то, чего другие рассказать не могут. Пивная фрау Утэш была недалеко от Студенческого Союза на Штутгартен Платц. Это было наше место "пьянств и буйств". Участники этих пиршеств все перемерли. Об Иванове²³ я вспоминаю с жалостью, ибо это был очень несчастный человек. И умер он страшно. Челишев²⁴ же, напротив, — несчастным никогда, вероятно, не был. Кстати, мне как-то прислали для отзыва толстенную книгу о нем (по-английски) с множеством фотографий. И там есть Ваши фотографии (кажется, в Херингсдорфе). Но Вас автор называет именем какого-то американца. Автор книги — по-моему, Форд. Я ее отдал одному приятелю-художнику (С. Голлербаху), ибо она мне была ни к чему.

Через месяц мне будут делать операцию катаракта. Надеюсь получить "новые глаза".

Сейчас я твердо в Нью-Йорке. Так что писать и посылать рукопись можно сюда. Желаю Вам всего хорошего

дружески Ваш

Роман Гуть

28 октября 1977 г.

Дорогой Александр Васильевич!

Получил Ваше письмо. Спасибо. Увы, Вы не правы. обвиняя нас в небрежении: Вы поставлены в картотеку и должны получать все выходящие Новые Журналы. Если Вы не получили, это вина почт (и американская, и французская работают безобразно). Я просил нашу секретаршу выслать Вам эту книгу воздушном. Вы, наверное, ее получили. Теперь вот вышла 128 кн., ее надо бы рассылать, но бастуют грузчики и за границу посылок не принимают. Видите, как это все не-просто. Может быть, я Вам вышлю и эту книгу воздушном, дабы показать расположение Нового Журнала к А. В. Бахраху. Хотя мы и нищие, в противоположность богатому "Континенту", но широкие, как всегда. "Славянские души как степи..."

Очень сочувствую Вашим домашним неприятностям, о которых я слышал. Пишите для Нового Журнала, и если не он, то потомство вознаградит Вас сторицею.

Дружески Ваш

Роман Гуль

10 окт. 1980 года

Дорогой Александр Васильевич, получил Ваше письмо. Вам около 80-ти. Мне около 85-ти. Вуаля. Есть все причины для писания совершенно откровенно, без всяких дипломатий. Так я и напишу это письмо. Почему Вы пишете опять насчет "обида насчет блох". Это же совершенный вздор! Как я могу "обижаться" на то, что люди ПОМОГАЮТ мне, находя ошибки в воспоминаниях. Я за это всем СТРАШНО БЛАГОДАРЕН, ибо исправлю в книге. И Вам благодарен, хотя некоторые Ваши "блохи" оказывались совсем не "блохами". Но многие были "блохами", и я их исправляю, конечно. В таких "протяженных" мемуарах ошибки неминуемы и если у меня их будет меньше — тем лучше для меня. Я получал исправления и от других лиц. И им благодарен. А почему наша переписка прервалась — вот Вам напрямик скажу.

В своем предпоследнем письме (даже, кажется, в двух!) я вдруг ощутил весьма неприятный для меня (и даже просто непереносимый мной!) запах. Вот какой "запах". Вы возмущались (тихо), что я называю Богомолова²⁵ — чекистом. Да, называю, потому что он и есть чекист! Так же, как Малик, как Зорин и тутти кванти. И всякий посол — чекист (советский посол), и в этом нет ничего сверхъестественного или обидного, ибо великий Ленин и несколько менее великий Дзержинский, оба говорили, что "всякий коммунист должен быть чекистом". Есть на эту тему много прекрасных цитат. И то, что все дипломаты в ОН и сов. посольствах — чекисты — или получекисты, известно всем, кроме Вас, оказывается. Из какого "патриотизма" Вы вдруг "возмущались"? Когда после войны Вы писали в Сов. патриоте и потом в Русск. Нов., сие было понимаемо. Но, если Вы до сих пор сохраняете такое настроение ("патриотическое!"), увы, я с Вами, ну, просто не могу поддерживать дружескую переписку. Потому что ИХ я ненавижу самой лютой ненавистью, как евреи ненавидят Гитлера. Для меня — что Гитлер, что Ленин — одно и то же. С точки зрения "изяшно-либеральной", это, конечно, "ненаучно", "упрощенно" и пр. Но я и этих "изяшных либералов" пятой колонны (и не пятой, а просто дураков) ненавижу. Это м. б. не по-петербургски. Адамовичу бы это не подошло. Для него и подобных ему — это "примитивно", "провинциально". Я все это хорошо знаю и... презираю эту "немошь", хотя она и рядится в одежды "культуры". Но не только Богомолов меня "удивил". Вы и о сов. милиции выразились очень оригинально. Всему миру известно, что сов. милиция это "первый круг" КГБ. И эта "милиция" выполняет задания КГБ по "первому кругу". Напр., с Сахаровым, убийство Богатырева и пр., всего не перечислишь, но Вы мне сообщаете, что сов. милиция, оказывается, только метет улицы и следит за правильностью движения. Вуаля! Какая "необразованность", какое незнание примитивных вещей с Вашей стороны. И я невольно спросил себя ПОЧЕМУ ОН ЗАЩИЩАЕТ И ЧЕКИСТОВ, И МИЛИЦИЮ? Зачем это? Чем это объясняется? И решил, что послевоенный дух из Вас, оказывается, не ушел. Вы даже раздраженно спрашиваете, откуда у меня такая цитата из

Пастернака — о Бриках? Она из воспоминаний А. Гладкова, вышедших у Вас в Париже и, вероятно, попадавших Вам в руки. И о Бриках (этих последних — и кровавых! — сволочах) у Вас находятся какие-то "теплые" оттенки! У МЕНЯ ЭТОГО ВСЕГО НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. И по предпоследнему Вашему письму я понял (почувствовал, вернее), что у нас — к сожалению — общего дружеского разговора быть не может, потому что Вы всё еще любите "родину". А я — нет, не люблю, даже ненавижу всю эту красную сволочь, убийц, мерзавцев, которые ввергают на наших глазах **ВСЬ МИР** — в **КАТАСТРОФУ**, которая ничем, кроме ядерной войны, кончиться не может. Вуаля, затрудняюсь объяснить более толково — мою паузу в нашей переписке. Был бы рад, если б я ошибался, но что написано пером, не вырубишь топором.

За всем тем, жму Вашу руку и желаю Вам всего хорошего в этом прекрасном из миров.

Искренне

Ваш Роман Гуль

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Ипатьев Владимир Николаевич (1867 - ?) — известный химик, профессор, мемуарист, автор НЖ.
2. Васильев Александр Александрович (1867 - 1953) — историк, один из видных специалистов по истории Византии, профессор Петербургского университета в 1917 - 1925 гг. С 1925 жил в США, преподавал в ун-те штата Висконсин. В 1939 был приглашен в институт византологии Гарвардского ун-та.
3. Ростовцев Михаил Иванович (1870 - 1952) — один из крупнейших историков XX в., профессор Петербургского университета, член Российской Академии наук (1916). С 1920 жил в США, преподавал в Висконсинском и позднее в Йельском ун-те.
4. Метнер Николай Карлович — композитор, автор НЖ.
5. Очерк В. Вейдле "Равенна" напечатан в НЖ, 1966, 83.
6. Имеется в виду очерк В. Вейдле "Бессмертная ошибка", НЖ, 1964, 75.

7. Статья "О смысле стихов" напечатана в НЖ, 1964, 77.
8. Имеется в виду четырехтомное "Собрание сочинений" Н. С. Гумилева под ред. Г. П. Струве и Б. А. Филиппова, второй том вышел в Вашингтоне в 1964 году.
9. Варшавский Владимир Сергеевич (1906 - 1978) — писатель, публицист, автор НЖ.
10. "Разговор о бахвальстве" В. Вейдле был напечатан в 1966 г. в "Вестнике русского студенческого христианского движения".
11. Говорится о книге В. Вейдле "Безымянная страна", на которую Р. Гуль написал рецензию (НЖ, 1969, 96), назвав эту книгу "событием в нашей зарубежной литературе". Статья вошла также в кн. Р. Гуля "Одвуконь", Нью-Йорк, 1973.
12. В юбилейный сотый номер В. Вейдле прислал свой очерк "О двух искусствах: вымысла и слова".
13. Статья "Толстой об искусстве" была напечатана в НЖ, 1971, 105.
14. Эта статья напечатана под названием "Критические заметки об истолковании стихотворений, по преимуществу касающихся трудов Якобсона, Лотмана и Тарановского".
15. Рассказ Вейдле "Четыре дня".
16. Рассказ Вейдле "Мнимые вымыслы" напечатан в НЖ, 1976, 125.
17. "Прогулки хама с Пушкиным" — статья Р. Гуля, представляющая собой разбор книги Абрама Терца (Синявского) "Прогулки с Пушкиным".
18. Петровская Нина Ивановна (1884-1928) — писательница, колоритная личность, вдохновительница нескольких поэтов, героиня ряда мемуаров. Брюсов ее вывел под именем Ренаты в романе "Огненный ангел" (1909). А. Белый посвятил ей одно из известнейших своих стихотворений "Друзьям" (1907): "Золотому блеску верил, / А умер от солнечных стрел. / Думой века измерил, / А жизни прожить не сумел". Петровской посвящено также стихотворение в первом сборнике В. Ходасевича "Молодость". В 1911 Петровская навсегда уехала из России. После ее смерти В. Ходасевич написал о ней очерк "Конец Ренаты", вошедший в его книгу "Некрополь". О своих встречах с Петровской Р. Гуль рассказал в мемуарной книге "Я унес Россию".

19. Вишняк Марк Вениаминович (1883-1975) — эсер, секретарь Учредительного Собрания, публицист, один из редакторов "Современных записок", автор ряда книг и множества статей, мемуарист, сотрудник НЖ, печатавшийся в журнале с первого номера.

20. Новая большая книга — это трехтомные воспоминания "Я унес Россию".

21. Андреев (Хомяков) Геннадий Андреевич — писатель, соредактор Гуля по НЖ в 1975 — 1977 (№№ 118 - 127).

22. Журнал "Жизнь" выходил под ред. В. Б. Станкевича в Берлине, с апреля по октябрь 1920 г. Одним из сотрудников был Р. Гуль.

23. Иванов Федор Владимирович (? - 7. 8. 1923) — сотрудник берлинского журнала "Жизнь", эссеист, беллетрист, автор книги "Красный парнас" и "Узор старинный"; автор многочисленных рецензий в русских берлинских журналах "Сполохи", "Русская книга", "Новая русская книга".

24. Челищев Виктор Николаевич (1870 - 1952) — беллетрист, эссеист, мемуарист. Окончил юридический факультет Московского ун-та, двадцать лет служил мировым судьей, был председателем Мирового съезда, сотрудничал в дореволюционных юридических журналах, преподавал в Московском ун-те. После Февральской революции был председателем Московской судебной палаты. В эмиграции жил в Югославии, Чехословакии, Франции, с 1946 г. в США (Сан-Франциско). В 1988 в НЖ были напечатаны его воспоминания.

25. Богомолов Александр Ефремович (1900 - 1969) — сов. посол во Франции (1944 - 1955). Деятельно заманивал русских эмигрантов в Гулаг. Его позиция в отношении русского зарубежья была неприкрыто сформулирована им на приеме группы эмигрантов (В. А. Маклаков и др.) в феврале 1945: "Эмигранты, любя Россию, д о л ж н ы принять все те коренные изменения, которые в ней произошли".

Публикация В. Крейда

ПИСЬМА ПИСАТЕЛЕЙ К Р. ГУЛЮ

Приехав в Нью-Йорк в конце 1975 г., я буквально на второй день позвонил Р. Б. Гулю и передал ему привет от Е. Е. Марголиной, вдовы его берлинского приятеля, автора знаменитого "Путешествия в страну Зека". Роман Борисович расспросил меня о жизни в Израиле, где я прожил два года, и о моем длительном пребывании в Мюнхене и пригласил меня в гости. Приглашением я воспользовался почти через год, передав ему при встрече много самиздатовских и других материалов, хранившихся у меня. Изредка бывая в Колумбийском университете, я всегда старался не миновать 113-ой улицы и встретиться с Романом Борисовичем.

Организовав в 1978 г. свое издательство, я известил об этом Р. Б. Он дружески отнесся к этому сообщению и обещал рецензировать все мои издания, и свое обещание пунктуально выполнял. Зная, что у меня довольно неплохая библиотека, он иногда звонил за какой-нибудь справкой во время работы над мемуарами "Я унес Россию".

Весной 1979 года я приступил к подготовке первых номеров альманаха "Часть речи" и обратился с просьбой к Роману Борисовичу принять участие. Он ответил согласием; сейчас специально ничего не может, сказал он, но из своего архива что-нибудь подберет. И вот летом, незадолго до своего отъезда на дачу в Питерсхем, он вручил мне довольно большую папку материалов, включавшую воспоминания о дореволюционной юности ("Отрочество"), напечатанную в тридцатые годы в какой-то газете, и письма

Публикуемые ниже письма печатаются по копиям из архива издательства "Серебряный век".

разных писателей к нему, по несколько от каждого, с условием, что я их приведу в порядок, перепечатаю, а он потом посмотрит и все "лишнее" вычеркнет. Под "лишним" он подразумевал какие-либо крепкие слова авторов писем в адрес своих коллег. Эту работу я с удовольствием проделал и вручил Роману Борисовичу вместе с первым номером альманаха. Он одобрительно оценил внешний вид альманаха и стал читать, и когда дошел до публикации Н. Берберовой, он почти сквозь зубы процедил: "С Б... под одной обложкой — никогда..." Я не мог предположить такой реакции. С Ниной Николаевной Берберовой я познакомился почти в то же время, что и с Романом Борисовичем, и о "подводных камнях" в их взаимоотношениях не подзревал. И хотя изредка встречая Романа Борисовича на каких-либо эмигрантских собраниях, я неизменно подходил к нему и здоровался, но некоторого его охлаждения преодолеть не смог. Так эти материалы и остались у меня ненапечатанными.

Потом Юрий Кашкаров, ставший редактором "Нового журнала", пытался объяснить Гулю, что мой "поступок" явился следствием незнания внутренней жизни первой эмиграции. И после нескольких таких бесед, как рассказывал мне потом Кашкаров, Роман Борисович значительно ко мне "помягчал".

После смерти Р. Б. Гуля некоторая часть его личных бумаг перешла к Ю. Д. Кашкарову. А он, в свою очередь, передал их мне еще за несколько лет до своей кончины. Эти бумаги представляют собой подготовительные материалы ко второму и третьему томам его воспоминаний — это письма Б. Зайцева, М. Алданова, Г. Адамовича, Г. Иванова и др. Основной корпус его переписки хранится в архиве Йельского университета.

В моей личной библиотеке имеются почти все книги Романа Борисовича Гуля, некоторые из них он подарил мне лично. На своей автобиографической книге "Конь рыжий" (2-е изд., Нью-Йорк 1975) он написал: "Григорию Давидовичу Поляку дружески. Роман Гуль, 1980, NY". Поэтому продолжаю с ним дружить — теперь уже через его книги.

Григорий Поляк

М. А. Алданов — Р. Б. Гулю

11 октября 1954

Дорогой Роман Борисович.

Только что получил ваше письмо — спасибо. Сегодня или, самое позднее, завтра утром выпшлю Вам заказным "папье д-аффэр" по воздушной почте продолжение¹. Вы увидите, что на стр. 110-ой я поставил строку точек. За ней идет разговор, — продолжение главы 8-ой. Его можно и опустить. Без него, по моему расчету, отрывок составит 42 страницы, а с ним 49 или даже 50 (имею в виду страницы "Нового Журнала"). Если Вы этот разговор (мои страницы 110 - 118) решите оставить, в чем необходимости, думаю, нет, то, конечно, зачеркните на стр. 110 эту строку точек; а если нет, оставьте ее. На странице же 128-ой обозначение пропущенных глав и точки надо во всяком случае оставить: этих глав я Вам не посылаю. Рад, что будут помещены четыре отрывка. И еще гораздо больше рад тому, что "Новый Журнал" "умирать" не собирается.

Ваши литературные новости очень интересны. Причины ухода Гринберга² и Пастухова³ мне не известны, — верно, не ужились с издательницей. Хотя я и не имею никакого отношения к "Опытam"⁴ (к нашему удивлению, в свое время, когда журнал затеялся, Гринберг чрезвычайно любезно и даже настойчиво звал в сотрудники покойного Ивана Алексеевича⁵ и меня — мы оба отклонили), я все-таки рад, что "Опыты" не прекращаются окончательно, — "Дай Бог, поболее журналов, — Плодят читателей они". Впрочем, не очень плодят. Я тоже заинтригован "Нивой", — неужели дали объявление и не указали ни издателя, ни редактора?!

Если я выпшлю Вам продолжение "Бреда" только завтра, то по следующей причине. Т е п е р ь получил от госпожи Далиной просьбу прислать хоть небольшое слово к вечеру памяти В. М. Зензинова⁶. А вечер — 17 октября! Пришлось в несколько часов что-то коротенькое и неинтересное написать.

Шлю Вам самый сердечный привет.

Ваш М. Алданов

1. Речь идет о повести Алданова "Бред", печатавшейся в НЖ в 1954 — 1955 гг. (кн. 38 — 42).
2. Гринберг Роман Николаевич (1897 — ?) — один из редакторов журнала "Опыты". В 1960-е гг. под редакцией Гринберга вышло пять выпусков альманаха "Воздушные пути".
3. Пастухов Всеволод Леонидович (1894 - 1967) — пианист, поэт, соредактор "Опытов".
4. "Опыты" — нью-йоркский журнал; выходил нерегулярно в 1953 — 1958 гг. Всего вышло девять номеров.
5. Иван Алексеевич — Бунин.
6. Зензинов Владимир Михайлович (1880 — 1953) — общественный деятель, эсер, входил в нью-йоркскую группу эсеров, в общество "Надежда", в Лигу борьбы за народную свободу. Издатель эсеровского журнала "За свободу". Печатался в "Новом Журнале". Мемуарист, автор нескольких книг, в том числе воспоминаний "Пережитое". Бунин говорил о нем как о человеке, который загубил свое художественное дарование политикой.

24 декабря 1956

Дорогой Роман Борисович.

Не так давно я получил письмо от Михаила Михайловича¹: он выразил желание получить от меня что-либо новое для "Нового Журнала". В связи с этим хочу предложить Вам и ему следующее:

Как Вы помните, я из "Бреда" выпустил в журнале довольно много. Считал, что этот роман скоро выпустит Чеховское издательство. Между тем, оно прекратило существование, других издательств за границей больше нет, и "Бред" по-русски, верно, никогда книгой не выйдет, как, впрочем, и другие книги писателей-эмигрантов. Разумеется, это меня чрезвычайно огорчает. По-английски "Бред" выйдет в Нью-Йорке поздней весной наступающего года. Перевод, сделанный Кармаклем, уже просмотрен и возвращен мною Дюэллю.

В числе выпущенных мною в "Новом Журнале" глав есть одна длинная и совершенно самостоятельная, только несколькими словами связанная внешне со всем остальным романом: это б р е д главного действующего лица Шелля. Если Вы помните, Шелль принимает нередко снадобье Ололеукви (действительно существующее и подробно, с его действием, описанное в медицинских книгах). Шеллю американский разведчик, "полковник № 1", предлагает поручение: вывезти из Москвы ученого Майкова. На Капри Шелль, колеблющийся, принять ли опасное поручение или нет, — на ночь глотает это снадобье и в вызванном им бреде мысленно переносится в нынешнюю Москву, в комнату Майкова и в Кремль. Эти бредовые сцены у него чередуются с другими, где перед ним проходят воспоминания о гражданской войне в Испании, а также написанный им рассказ о том, как он (воображая себя графом Сен-Жермэном, — такова в романе и его кличка разведчика) оказывается в гареме Людовика XV (в рассказе Шелля изложен подлинный, почти никому не известный, эпизод из жизни т о г о графа Сен-Жермэна, кратко изложенный в документе французской полиции 18-го века). Одним словом, композиция сложная, как и полагается бреду. Кончается эта глава, естественно, тем, что Шелль приходит в себя. В ней страниц 45 "Нового Журнала".

Склонна ли была бы редакция поместить эте главу?² Если да, то я предпослал бы ей строчек пятнадцать пояснения и прислал бы Вам по воздушной почте. Трудность, если это можно назвать трудностью, в том, что по-английски "Бред", повторяю, выйдет поздней весной. Хотя едва ли кто из читателей "Нового Журнала" будет читать меня по-английски, но редакции, да и мне, было бы удобнее, чтобы эта глава появилась ДО выхода американского издания (разумеется, я продал Дюэллю только права на английский перевод, а русским оригиналом могу располагать как угодно). Не пишу обо всем этом Михаилу Михайловичу, так как он, верно, на Рождество и Новый Год уехал их Кэмбриджа? Я ему ответил толь-

ко согласиём дать что-либо "Новому Журналу". Не прочтете ли Вы ему по телефону это письмо? Если он принципиально согласен, сообщите мне, и я дня через три пришлю Вам главу. Еще проще было бы теперь же ее послать редакции, но у меня тут есть только не вполне отделанная копия того, что я в свое время вместе со всем романом отдал переводчику, и не хочется тратить три дня на отделку в предположении, что дело ведь может показаться Вам и неудобным. Нисколько не обижусь, если таковым и покажется.

Шлю Вам и журналу самый сердечный привет и самые лучшие пожелания к Новому Году.

Ваш М. Алданов

1. Михаил Михайлович — Карпович.

2. Эта глава под названием "Бред Шелля" была напечатана в НЖ, 1957, 48.

Георгий Иванов — Р. Гулю

10 мая [1955]

Beau-Sejour
Hyeres (Var.)

Дорогой Роман Борисович,

Я выждал три дня после получения от Вас ледерплакса, т. е. надеялся, что за ним последует, наконец, долгожданное письмо от Вас. Убедившись, что Ваше (двухмесячное) молчание продолжается — пишу*. Прежде всего, конечно, очень благодарю за лекарство. Не знаю, по Вашему ли лично почину или М. М. Карповича, послана такая роскошная порция, благодарим вас обоих (или Вас одного, если М. М. тут ни причем) — очень прошу помнить, что при ближайшем гонораре стоимость пересылки обязательно должна быть вычтена. Если уж подвернулось горячее под руку, то делаю заявку через номер, т. е. на № 42, для которого собираю роскошный "Дневник" и такой [же] роскошный отрывок прозы¹. И то и другое получите

в непривычно отшлифованном виде, "лучшие слова в лучшем порядке". Конечно, если Мандельштам² выйдет до верстки рецензий № 41, то, прислав мне по воздуху экземпляр, — получите рецензию вроде как с обратной почтой: перо мое теперь разгулялось, и о Мандельштаме я знаю, что хочу сказать.

Перо разгулялось над воспоминаниями. Но главным образом я страстно пишу (покуда во всех смыслах "еще есть" время) то, чего никогда не мог написать в суете парижского существования и для немедленной печати. То есть записываю то, что умрет со мной. "Не врал, не стеснясь"**. Не свожу никаких счетов (разве с самим собой), но и не начищаю никаких самоваров. Пишу документ с примесью потустороннего. Не думайте, что спятил или чересчур занесся. Во всяком случае это, по возможности, будет "чистая монета". Смеялись ли Вы, читая душу Ульянова, умилившегося над беспристрастным Ходасевичем³. Я смеялся и грустил. Вот как, на глазах, меняется перспектива. Сплошная желчь, интриги, кумовство (и вранье в поддержку этого), каким, как я думаю, Вам известно, был покойник [и] стал (и для такой умницы, как Ульянов) таким "аршинным беспристрастием"!

Я опять расписался, между тем как будто пишу в трубу — Вы же два месяца не отвечаете, а м. б. — кто Вас знает — Вы человек загадочный и не читаете. Возможно, что Вы опять за что-то (что?) на меня вознегодовали? Уж не ознакомились ли впервые с "Распадом атома" и стошнили. Тогда Вы не единственный. Между прочим это действительно лучшее, что мне удалось написать.

Рецензия Юрасова⁴ хороша во всех отношениях. Огоньку только не хватает. Вы бы, к примеру сказать, написали бы лучше. Но выходит, что я к Вам подъезжаю со статьей о себе, с которой получилось как будто "я к Вам всей душой, в Вы меня мордой об стол". И. В.⁵ кланяется и благодарит за Юрасова. У нас райская весна, но скоро, увы, должна ударить жарища. Но пока рай: "Вишняк во цвету соловейчиком так и заливается".

* *Приписка на полях 1* : Последнее Ваше почтенное письмо, на которое было быстро, обстоятельно и нежно отвечено, от 28 февраля!

**** Приписка на полях 2 :** Умоляю, не забудьте написать, что с Чеховским издательством. Кровно заинтересован в смысле создаваемой мною книги.

1. В № 42 НЖ напечатана подборка из 11 стихотворений Г. Иванова под общим названием "Дневник (1955)". Прозы Г. Иванова в этом номере опубликовано не было.

2. Статья Г. Иванова "Осип Мандельштам" появилась в НЖ, № 43. Она написана как отклик на вышедшее в том же (1955) году "Собрание сочинений" О. Мандельштама под ред. Г. Струве и Б. Филиппова. Статья Г. Иванова более интересна своими мемуарными страницами, нежели критическим разбором указанного издания.

3. Речь идет об очерке Н. Ульянова "Застигнутый ночью" (НЖ, 1954, 39), поводом для которого послужил вышедший в издательстве им. Чехова сборник литературных статей и воспоминаний Ходасевича.

4. В том же № 39 напечатана была рецензия писателя-прозаика С. Юрасова (Владимир Иванович Жабинский) на роман Ирины Одоевцевой "Оставь надежду навсегда" (Нью-Йорк, изд. им. Чехова, 1954).

5. И. В. — Ирина Владимировна Одоевцева, жена Г. Иванова.

[июль 1955]

Beau-Sejour
Hyers (Var.)

Дорогой Роман Борисович,

вижу Ваши сердитые глаза. Ну, пожалуйста, не дуйтесь: здесь уже две недели как 40-42 в тени. Не только писать невозможно, но даже дышать. Чтобы, насколько это в моих силах, смягчить Ваш гнев, посылаю маленький "дневник"¹. Сообщите, пожалуйста, до какого срока можно дослать несколько штук стихов, чтобы попало с этими в ближайшую книжку (но так, чтобы иметь корректуру и того и этого). Скажите Ваше откровенное мнение о присланном — Вы, на опыте, знаете, что я им дорожу. Ах, ох, пот течет по морде. Какой чертов климат. Радом, в Каннах или Ницце, 30, 35 — просто ледники, но мы — т. н. климатическая станция, все закупорено от ветра

горами. Ох, ох и вообразите, всего до сентября никакого облегчения уже не будет. Даже графский костюм стал гнусен, как зипун. Посылаю, чтобы Вы показали графу при случае его на своих плечах. Костюм, кстати, чудный, как и все прочее. Еще раз благодарю.

Единственное, что я делаю, это обливаюсь холодным душем и ложусь читать уголовный роман. "Литературный современник" Яковлева² слишком тяжелая умственная пища. А Вы читали ли этот Ноев ковчег? Что скажете? Ульянов-то прав — троглодит так и прет со всех сторон.

И. В. нежно кланяется Вам обоим. Ей очень досадно, что пришлось начисто прервать работу над переводом на русский язык ее отрывка. Но ей-то работать по такой жаре — уж абсолютно невозможно. Ее здоровье после всех наших мытарств расстроено вконец, и всякое напряжение ей попросту опасно. Когда температура станет более человеческой, она снова возьмется за дело. Съезд, как Вы, конечно, знаете, лопнул. (Но возможно, с другой стороны, что он опять начнет возрождаться.) А мы очень рассчитывали, что Вы приедете в ноябре на этот съезд, и мы с Вами повеселимся и наговоримся. То, что личного контакта нет, ощущаю как катастрофическое свинство. Денег за "дневник" не посылайте. Подержите, пришлем дополнение, отрывок и т. д., тогда и пришлете более существенную сумму. Вычитите ледерплаксы, а "за верность, за безумный тост" — 27 строк — прибавьте — этот опус, присланный позже, никогда не был оплачиваем, для Вашего уважаемого сведения. Обратили ли Вы внимание на стишки Адамовича в "Опытах"? С требованиями его к поэзии рядышком в его же статье³ — "либо снимите крест, либо наденьте трусики" — получается неувязка.

Ну вот, будьте душкой, напишите мне ответ подлиннее, ведь Вы в деревне. Ваши письма — когда Вы не злитесь — доставляют нам обоим "физическое наслаждение" (не истолкуйте двусмысленно). И я их — ей Богу — аккуратно прячу, их жалко было бы потерять.

Ваш Жорж.

Приписка рукой Ирины Одоевцевой:

Ради Бога, ради Бога, ради Бога извините. Но я — "больная рыба на песке. Рот открыт в предсмертной тоске" — от адской жары и от стыда, что не могу переписать написанного. Надеюсь, Вы войдете в мое положение и не лишите меня Вашего высокого расположения. И примите мой скорбный привет. Ирина Одоевцева. Собравшись с последними силами, кланяюсь Ольге Андреевне — довольно, больше не могу. Ни гу-гу.

1. "Дневник" — посланная вместе с этим письмом подборка стихотворений Г. Иванова, опубликованная в НЖ, 1956, 44.

2. "Литературный современник" — журнал литературы и критики, выходивший в Мюнхене в 1951-1952 гг. (вышло 4 номера). В 1954 г. под тем же названием вышел уже не журнал, а альманах. Редактор этого альманаха — Борис Александрович Яковлев.

3. "Стихи Адамовича" — подборка стихотворений Г. В. Адамовича в "Опытах", 1955, 4. В том же номере "Опытов" напечатана статья Адамовича "Поэзия в эмиграции".

Вера Муромцева-Бунина — Р. Гулю

Париж, 27 VIII 60

Дорогой Роман Борисович,

я получила письмо от П. Р. Тэйлор, в котором она советует "обратить внимание на некоторые замечания, содержащиеся в рецензии о предыдущем номере Н. Ж. в Н. Р. С. ...в общем я разделяю мнение рецензента: «Читателю хотелось бы несколько чаще встречаться на страницах Ваших воспоминаний с самим Иваном Алексеевичем». Это мне представляется вполне осуществимым, при этом без особенного труда. Надо будет только одни места уметь посократить, а в другие вставить выдержки из стихотворений И. А." И она предлагает редактора. "Я приглашу человека, уважающего и любящего одинаково и Вас и покойного И. А."

На это письмо я ответила, что на редактора я не согласна; что у нас с ней разные цели, что у меня цель дать образ И. А. и среду, где он жил; что длинноты только я могу сократить и только по окончании книги. Сообщаю, что Иван Алексеевич считал автора — лучшим критиком. Вывод: "Я твердо решила возвратить Вам 150 д., их передадут Вам наши друзья Кодрянские"¹, и прошу передать мою "машинопись" Р. Б. Гулю. Постарайтесь у нее отобрать, видимо, она [нрзб.].

Да еще: "Считаю, что я неправильно поступила, запродав свои "Беседы"² "на корню".

Ясно, что за "редактор" стоит у нее за спиной. Она очень наивный человек, раз Аронсон³ на нее имеет влияние.

Если хотите, печатайте дальше "Беседы", а если не хотите, то передайте их Кодрянским. Если возьмете, продолжение того, что в 60 книге, — можно озаглавить "Палестина, или Святая Земля, полвека назад"⁴. Но об этом можно еще списаться.

Я все же "Чайке" благодарна: она заставила меня войти в "Беседы", и мне теперь даже приятно, что книга не выйдет до конца моей работы, хотя бы до эмиграции. Тэйлор ограничила меня 250 стран! Как в них уместить не только 46 лет жизни, но и даже 13, если книгу кончить эвакуацией из Одессы или даже 10 лет, если до революции.

Иван Алексеевич любил поговорку: "Дурак камень в воду бросит, десять умных не достанут". Аронсон написал, что я мало говорю об Иване Алексеевиче, вот и результат, на неискушенных людей печатное слово действует, по нас судить нельзя.

Как вы провели конец вашего отдыха? Отдохнули ли вплотную?

Л. Ф.⁵ сейчас у Конюс в Сенаре, на берегу Фирвальдштетского озера. Вероятно, скоро вернется домой.

Я все время в Париже, временами хорошо работала, а сегодня все утро ушло на письма.

Желаю Вам и Вашей милой жене всего наилучшего. А Вам еще творческой работы.

Ваша В. Бунина

1. Кодрянская Наталья Владимировна — писательница, автор книг "Золотой дар", "Глобусный человек", "Сказки", "Алексей Ремизов". Печаталась в НЖ.

2. "Беседы" — имеются в виду мемуарные очерки "Беседы с памятью", печатавшиеся в НЖ в 1960 — 1961 гг.

3. Аронсон Григорий Яковлевич (1887-1967) — публицист, мемуарист, поэт. В 1922 г. был выслан из Сов. России. Автор нескольких книг: "На заре красного террора", "Россия накануне революции", "Россия в эпоху революции" и др. Много печатался в НЖ.

4. В НЖ, 1960, 60 напечатан очерк Муромцевой-Буниной "Беседы с памятью", в котором речь идет о поездке Буниных в Палестину в 1907 г.

5. Л. Ф. — Леонид Федорович Зуров (1902-1971) — писатель-прозаик, личный секретарь Бунина. Печатался в НЖ.

Париж, 12 сентября 1960 г.

Дорогой Роман Борисович,

сегодня утром получила Ваше письмо от 9 сентября. Спасибо.

Посылаю Вам продолжение нашего странствия (до Святой Земли). Этот отрывок шел бы в книге под заглавием "Новая жизнь", но если ее разбивать на кусочки, то мне кажется, лучше озаглавить: предлагаю "Наш путь до Святой Земли". Если этот кусок опоздает в следующую книгу, то мы можем списаться. А если попадет, то озаглавьте так.

На днях пришлю Вам остальное, сегодня не успею просмотреть наше странствие по Иудее, Галилее и Сирии. Посылаемый кусок, мне кажется, лучше дать в отдельной книге.

Сейчас бегу на почту.

Раз г-жа Тэйлор обещала послать Вам мой манускрипт, значит, она согласилась, и Вы можете теперь печатать все без ее разрешения. Мне она ничего не ответила. Молчание — знак согласия.

Видела вчера Володю Варшавского с его прелестной женой,

обедали в ресторане с Кодрянскими. Бедная Наталья Владимировна, у нее опять обострилась язва в желудке. Ее книга¹ имеет большой успех у русских литераторов и писателей. Паустовский ей написал лестное письмо.

Жду завтра Леонида Федоровича. Надеюсь, что он пошлет в "Новый Журнал" что-нибудь. Он хорошо отдохнул.

Еще раз спасибо за письмо. Передайте мой сердечный привет Вашей милой жене и самому себе.

Дружески Ваша В. Бунина

1. Ее книга... — книга Н. В. Кодрянской "Алексей Ремизов" (Париж, 1959); отрывки печатались в НЖ, 1958, 52.

Париж, 23 сентября 1960 г.

Дорогой Роман Борисович,

сегодня утренняя почта принесла мне Ваше письмо. Я тороплюсь ответить Вам на Ваши вопросы.

Из моих фельетонов-портретов — Андреев, Юшкевич и другие — я беру, так сказать, хронологически то, что там было в целом, поэтому мне кажется, что это не будет напоминать мои фельетоны и можно их ставить в "Беседы с памятью" без сокращений. Многое из того, что я послала (события 1907-1909 годов), не было совсем нигде напечатано, как, например, вечер у Ростовцевых, болезнь сестры Ивана Алексеевича, где много характерного отмечено в семье Буниных и в нем самом. Сплошь напечатано только "Первое лето в Васильевском" и напечатано в "Н. Р. Слове".

Что же касается нашего пребывания в Италии и на Капри, это нигде не было напечатано, я только что написала эти главы. Я пошлю Вам с Кодрянскими эту главу: наше странствие или пребывание в Италии. Я внесла некоторые сокращения и поправки, да и бумага лучше, легче будет с нее

набирать. Меня вся эта глупая история с газетой выбила из колеи, и я перестала работать, но чувствую, что теперь опять засяду. Кое-что у меня уже сделано. Во всяком случае все будет подано по-новому.

К слову сказать, Наталья Владимировна сейчас в американском госпитале — делают все исследования. У нее сильные боли не то в желудке, не то в области печени. Вчера ее очень измучили всякими манипуляциями, все это тревожит. Надеюсь, что все же до операции дело не дойдет. Вид у нее не очень плохой.

Она получила очень хорошее письмо от Паустовского. Это ее немного утешило, вообще пресса у нее хорошая.

А у нас все дерутся: последняя битва была между Терапиано¹ и Пиотровским²: друг друга обвиняют в незнании русского языка.

На днях пошлем Вам материал из наследства Бунина.

Если можно будет втиснуть в одну книгу все наше странствие по Ближнему Востоку, то это будет хорошо, а затем печатайте по Вашему усмотрению. Я буду Вам присылать и дальнейший материал, оставляя у себя копии.

Леонид Федорович шлет Вам и Вашей жене сердечный привет. Я присоединяюсь.

С дружеским чувством
Ваша В. Бунина

1. Терапиано Юрий Константинович (1892-1980) — поэт, критик, эссеист, мемуарист, автор шести поэтических сборников и нескольких др. книг, в том числе блестящей мемуарной книги "Встречи". Много печатался в НЖ.

2. Пиотровский (Корвин-Пиотровский) Владимир Львович (1891-1966) — поэт, автор книг "Полынь и звезды", "Святогор-скит", "Каменная любовь", "Беатриче", "Воздушный змей", "Поражение", "Поздний гость" (тг. 1 и 2). Печатался в НЖ.

Б. К. Зайцев — Р. Гулю

25. VI. 52

Дорогой Роман Борисович, спасибо за быстрый ответ. Думаю, что "Древо жизни"¹ получено уже теперь в Нью-Йорке — буду очень признателен, если до отъезда в деревню выясните это, а также — если успеете — и вопрос о печатании у Вас (и предположения о времени выхода кн. в Чех. Изд-ве)². — Понимаю, что болезнь А. и Ваш отъезд не способствуют такому выяснению, поэтому беру все в "условном наклонении". Все же меня это интересует, Вы понимаете.

29-ю кн. "Н. Ж." отправьте, пожалуйста, в Париж — к 12-13 июля я уже вернусь туда.

Вот, кажется, и все, жму руку, сердечный привет Вам и Ольге Андреевне.

Ваш Бор. Зайцев.

1. "Древо жизни", четвертая часть тетралогии Б. К. Зайцева, опубл. в "Новом Журнале" в 1952 г.

2. Отдельным изданием "Древо жизни" вышло в Нью-Йорке в 1953 г.

*Публикация Г. Поляка,
примечания В. К.*

БУЛГАКОВ — ШЕСТОВУ, ШЕСТОВ — БУЛГАКОВУ

Публикуемые два письма находятся в фонде М. М. Карповича в Бахметевском архиве при Библиотеке Колумбийского университета. Письмо о. Булгакова — рукописная копия; ответное письмо Л. Шестова — машинописная копия. Нам не известно, когда и каким образом эти две копии попали к профессору Карповичу. По нашим сведениям, эпистолярное наследие о. Булгакова не было опубликовано; фрагменты переписки Шестова появлялись в разных журнальных публикациях. Письма печатаются с любезного разрешения Библиотеки Колумбийского университета и г-жи Э. Скаруффи, куратора Бахметевского архива, за что "Новый Журнал" приносит искреннюю благодарность.

* * *

22. X. 1938

Дорогой Лев Исаакович!

Сегодня я прочитал Вашу статью о Н. А. Бердяеве в "Современных Записках"¹ и мне хочется Вас приветствовать, позжать Вашу руку. Мы почти не видаемся лично, так как развели нас пути жизни, но через эту статью я услышал Ваш голос и как бы с Вами увиделся. Порадовался я, что Вы сохранили такую умственную свежесть; статья эта принадлежит, на мой взгляд (хотя я за последние годы уже отстал от Ваших писаний, как, конечно, и Вы от моих), к числу наиболее интересных и блестящих Ваших вещей. При этом неожиданно обнаружились интересные точки соприкосновения

между нами, по крайней мере, в отдельных пунктах. Само собой разумеется, что не существует большой противоположности — как между философией положительного ничто — свободы-противобога у Н. А. и моей софиологией как философией бытия (оказывается тоже — "экзистенциальной" философией, и я здесь, подобно мольеровскому мещанину узнаю, что говорю прозой, а не стихами). Но в понимании тварной свободы, а иной не существует, я нахожу в Вас союзника. Очевидно дальше в "философии откровения" мы разойдемся, поскольку Вы философию веры поворачиваете в сторону а- или даже антидогматизма. Однако я вижу с новой очевидностью, как Ваш исходный постулат неразумной веры уже включает, хотя бы в качестве постулата, догматический минимум послания к Евреям гл. XI. 1. 6: веровать подобает, что Бог есть. Говорю это не для полемики, а лишь затем, чтобы Вас приветствовать. Я всегда знал, а здесь определенно почувствовал, что Ваш апофеоз беспочвенности таит в себе абсолютную почву ветхозаветного откровения, которое в сознании Вашем, конечно, давно уже стало новозаветным. На склоне дней отраднее почувствовать именно это чрез индивидуальную идеологию и вопреки ей.

Любящий Вас прот. С. Булгаков

Булонь, 26. X. 38

Дорогой Сергей Николаевич,
от всей души благодарю Вас за письмо Ваше. Радостно и отратно встретить сочувствие своим заветным мыслям в человеке, который, как Вы, всю жизнь свою отдал служению религиозному делу. Если я до сих пор не посылал Вам писаний своих, то единственно лишь потому, что мне казалось, что Вы слишком заняты, чтобы еще читать и мои книги, и что моя проблематика Вас не занимает. Но Вы пишете сами, что экзистенц. философия Вам близка и что Вы, не отдавая себе отчета, и сами всегда говорили прозой. Я поэтому теперь

охотно посылаю Вам свою последнюю книгу "Афины и Иерусалим"², над которой я работал больше десяти лет. Статья моя о Н. А. [Николае Александровиче Бердяеве] есть только применение того, что в названной книге мне представляется основоположным. Я очень люблю и ценю Н. А. — думаю, это из статьи видно; но его уклон к Афинам (влияние немецкой школы философии) и уклон в вопросах решающих, самых важных, был всегда предметом горячих споров между нами. Ему представляется, что в истории наблюдается раскрытие возведенной в Писании истины, а это раскрытие он понимает как истолкование Писания в смысле символическом, как это сделал Филон, т. е. в смысле, не оскорбляющем мудрость и знание эллинов. Это естественно: современная теологическая мысль в Германии — Отто, Терлер и др. тоже так думают. А философская мысль — Гейдеггер, Ясперс, Шеллер, Гар, (*неразб.*) прямо уже сдают Писание в архив. По моему, конечно, религиозные преследования в Европе приняли ужасный характер, но опасность "духовная" — от представителей современной мысли — гораздо больше: бойтесь не убивающих тело, а убивающих душу. Н. А. этого не то не видит, не то не признает и не верит, что дерево "познания" — угроза тому, что живому человеку дороже всего. Между прочим, если Вы прочтете "Афины и Иерусалим", в частности I-ую и III-ью части ("Скованный Парменид" и "Средневековая философия"), может быть, Вы согласитесь с тем, что "скованный Парменид" всецело овладел схоластикой, а через схоластику и современной мыслью. По авторитетному признанию такого историка, как Жильсон³, средневековые теологи, читая Писание, невольно вспоминали аристотелевское "много лгут певцы". Отсюда уже рукой подать до ницшевского "мы убили Бога". И, по-моему, сейчас нужны величайшие усилия духа, чтобы освободиться от кошмара безбожия и неверия, овладевших человечеством.

Для меня противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми. Когда Христа спросили (Марк, 12. 29), какая первая из всех заповедей, он ответил: "слушай Израиль, и т. д.", а в Апокалипсисе (2. 7): "побеждающему даю вкушать от древа жизни". — "Знание"

преодолевается, откровенная истина — "Господь Бог наш есть Бог единый" — в обоих Заветах возвещается эта благая весть, которая одна только и дает силы глядеть в глаза ужасам жизни. Это предмет книги "Афины и Иерусалим": очень хотелось бы об этом побеседовать с Вами. Может быть, Вы, когда будете в Булони, завернете ко мне: порадовали бы меня — я ведь так редко и мало Вас вижу, а в письме — что скажешь?

Обнимаю Вас от всей души и еще раз благодарю. Сердечный привет Елене Ивановне⁴.

Ваш Ш.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См. Л. Шестов, "Николай Бердяев — гнозис и экзистенциальная философия", *Современные Записки*, т. 67 (1938), стр. 196-229 — по поводу книги Н. Бердяева, *Дух и реальность*, Париж 1938.

2. *Афины и Иерусалим*. Сборник статей, по-немецки: Вена 1938; по-французски: Париж, июнь 1938; по-русски: только в 1951.

3. Этьен Жильсон (Etienne Gilson) — католический историк средневековой философии.

4. Жена С. Н. Булгакова.

Публикация Марка Раева

Ларисса Андерсен

ЛАРИССА ВСПОМИНАЕТ

Евгений Евтушенко в составленной им антологии "Строфы века" рассказал о случае, произошедшем с ним на Таити. На этом экзотическом острове он познакомился не только с сыном Поля Гогена, но и с русской поэтессой Лариссой Николаевной Андерсен, "некогда блиставшей на литературном поприще в Харбине, а позже в Шанхае..."

Вертинский в газете "Шанхайская звезда" 21 апреля 1940 г., говоря о сборнике стихов поэтессы, констатировал: "Она монолитна. Ее вещи как бы вырезаны из одного целого куска материала. Из них ничего не уберешь, к ним ничего не добавишь..."

Участница литературной жизни русского Китая, Ю. В. Крузенштерн-Петерс, вспоминала: "Трудно себе представить группу более разнородную по характерам, вкусам, воззрениям, чем чурьевский Цех Поэтов... А над всем этим царила как всеобщая муза, как маяк, как ось, приводившая в движение молодую творческую энергию — Ларисса Андерсен..."

Во французской глубинке, в маленьком виноградно-виновом городке Иссанжо, что в департаменте Верхняя Луара, живет замечательная русская поэтесса, человек исключительной души, Ларисса Андерсен.

Лет десять тому назад мне посчастливилось погостить у поэтессы: был тогда прозрачный воздух, шуршание осенних листьев под ногами, терпкое вино и стихи, стихи. Наша дружба даже приобрела форму книги: практически мы совместно составили антологию поэзии дальневосточников — "Остров Лариссы", в которую вошли

стихи 18 эмигрантских поэтов, посвященные их Музе, их Сольвейг — Лариссе Андерсен.

Моя переписка с поэтессой в последнее время дает сбои: Лариссе все тяжелее писать — уход многих близких подкосил ее. Недавно, вместо письма, она прислала воистину царский подарок: магнитофонную запись своих мини-воспоминаний. С тех пор довольно часто в моем доме звучит голос Лариссы...

* * *

Мои родители и я приехали в Харбин из Владивостока. Это были двадцатые годы, когда русские в Харбине еще не потеряли бодрого настроения, старались верить в будущее, а пока не унывать. Это было время фокстрота, чарльстона, коротких платьев и короткой стрижки, не для меня, конечно. У меня были две толстые косички, и проектировалось гимназическое платье с высоким воротничком. Мои родители тоже не могли принять участие в знаменитом расцвете Харбина: надо было искать, где жить, где работать. Папа, военный человек, перепробовав все, что он не умел делать, устроился в управление КВЖД — Китайской Восточной железной дороги. И, вместо каморок и общежитий, мы переехали в маленький домик, в большом саду на тенистой садовой улице, где наконец-то получился некоторый уют, несмотря на пропажу всех наших вещей во Владивостоке, кроме, конечно, самовара — его мы привезли.

Я уже достаточно выросла, чтобы утереть слезы по оставленной кукле, и достаточно, чтобы сожалеть о мебели и украшениях, к тому же и до Харбина мы долго жили на ящиках. Чего мне не хватало, так это моря, той дикой бухты, у которой мы раньше жили. Мне даже казалось странным, что дальше не надо никуда ехать. Харбин — этот особенный город, это сочетание провинциального уюта с культурными возможностями, я оценила позднее, когда из него уехала. И не только потому, что там осталось мое детство, ранняя юность. В Харбине было все, что надо для молодежи: спорт, купания, яхты, поездки на железнодорожные станции, ютившиеся сре-

ди зелени сопок с прозрачными речками и ручьями в долинах. Зимой — коньки, сани, салазки и переезды через реку по льду в специальных двухместных санях, которые китайцы оттачивали шестом. А на другом берегу — маленькие теплые рестораны с пельменями, с пирожками. А университетские балы, маскарады — впрямь как в книжках о старой русской жизни. И не только забавы и не только для молодежи — опера, оперетта, драма, концерты, лекции, библиотеки, прекрасный оркестр. А какие встречались люди: профессора, писатели, художники, архитекторы — все ведь были выброшены событиями на тот же берег, что и мы. Мы не отдавали себе отчета, как нам повезло в культурном отношении. И все это ведь было доступно, и все мы говорили по-русски, и все мы были равны. Именно там, в эмиграции, особенно среди молодежи, в гимназиях, на спортплощадках бесклассовое общество получилось само собой. И мы могли учиться — было у кого и было чему: на все вкусы. Например, шитью — у соседки или древним премудростям инков — у соседа, можно было закончить университет и получить диплом. Вот Леночка закончила юридический, а работает кельнершей в ресторане, а Павлик теперь инженер, а продает билеты на автобусе, но это пока, может быть, все устроится, а потом поедет в Россию.

Все жили "на пока", особенно старшее поколение. Что-то же должно случиться, и тогда вернемся домой, а пока не так плохо — на хлеб насущный хватает. Служба кончается в два часа, можно отдохнуть, пойти к знакомым поговорить или в кино, а то и просто уютно посидеть на скамейке возле (неразб. — Э. Ш.). Это был большой магазин, у которого в хорошие летние вечера разгуливала молодежь, а пожилые сидели и посматривали: кто как одет, как себя ведет и вообще. Вот так и жили, прячась от большого и подчас угрожающего мира. Пока, а там Бог даст.

На нашей мирной садовой улице, действительно мирной, даже чьи-то коровы проходили утром и вечером мимо нашего сада; говорили, что это бывший офицер завел молочную ферму и научил коров поворачиваться и равняться по команде. Так вот, на этой улице, только ближе к центру, находился ХСМЛ — Христианский Союз Молодых Людей, где в свобод-

ные дни можно было заниматься спортом, а вечерами уютно сидеть в маленькой дружной компании с рукоделием и слушать чтение вслух. Это Алексей Алексеевич Ачаир (Грызов) — бывший казак, поэт, служивший в ХСМЛ, привлекал блуждающую молодежь к свету зеленой лампы. После прочтения книги "Братья Чураевы" Гребенщикова, сибиряка и земляка Ачаира, кружок стал называться "Чураевкой". Он разрастался и превратился в настоящую и даже очень требовательную литературную студию. Раз в неделю устраивались открытые вечера, чтение стихов, рояль, пение с эстрады в большом зале. И публика охотно наполняла его. Это был наш незабываемый мирок, убежище от тревог о будущем. Мы становились поэтами, писателями, художниками, нас начали печатать. Нельзя сказать, чтобы стихи нашего кружка отражали окружающее — ни особенностей нашего города, ни эмигрантской ностальгии в них почти не было. У нас не могло быть много воспоминаний, мы жили теперь и писали о своих переживаниях и чувствах, которые, как и мы сами, росли, требовали выхода. Не находя его, мы ждали. Более бурные из нас изводились:

Над тобой расстилается небо весеннее,
Ты, наверное, ждал, а быть может, и ждешь.
Как сегодня, вчера, как и позавчера,
Что придет, налетит золотое спасение.

Это писал девятнадцатилетний Георгий Гранин.

Я всегда витала в облаках, не отдавая отчета в зависимости от обстоятельств. Ждала тоже какой-то счастливой перемены, утешаясь привычным сказочным миром воображения. Одно из моих первых стихотворений, имевшее успех у публики, вероятно, такой же мечтательной, как и я, могло быть написано какой-нибудь романтической девушкой прошлого века в благополучном уединении поместья:

Месяц выплывает, золотея,
Парус разворачивает свой,
Разговор таинственный затеял
Ветер с потемневшею листвою.

Ведь совсем недавно я мечтала,
Что как будут яблони цвести,
Приподнимет мрачное забрало
Рыцарь счастья на моем пути.
Говорят, что если ждать и верить,
То достигнешь, вот и я ждала:
Сердце словно распахнуло двери
В ожиданьи света и тепла.
Все как прежде: шевелятся тени,
Платье зря пошитое лежит.
Только май, верхушки яблонь вспенив,
Лепестками белыми кружит.
Месяц по стеклу оранжереи
Расплескал, разбрызгал облик свой.
Призрачные (неразб. — Э. Ш.) пляшут, рея,
В дымке над росистой травой.
Надо быть всегда и всем довольной.
Месяц — челн, а небо — звездный пруд.
И никто не знает, как мне больно
Оттого, что яблони цветут.

Здесь, конечно, не обязательно видеть эмигрантскую трагедию: может быть, девушку просто не пригласили на бал. Жажда перемены и разочарование свойственны юности вообще, и, может быть, наше занятие поэзией и собственными мечтаниями и переживаниями вместе с радостью приносили и боль... Мы становились чувствительны и легко ранимы, мы теряли равновесие. Я думаю: правильно сказал Николай Петерек, один из поэтов нашего кружка, что Гранина погубила поэзия. И недаром Валерий Перелешин, более всех нас успевший на поэтическом поприще, еще совсем недавно напомнил мне фразу, сказанную мною когда-то: "Больно жалит красота!". Не все из нас соглашались ждать счастья в виде рыцаря, протягивающего руку спасения, и, если рыцарь не приходил, уговаривать себя быть всегда и всем довольной, как я в моих стихах. Нарастало беспокойство, требовалось действие, борьба, но с кем? Требовалось что-то крупное. "Нет настоящего друга и врага настоящего нет", — писал наш Ни-

колай Щеголев. Начинались разговоры о каких-то политических партиях, спасительных движениях. Споры, грызня между друзьями. Вера наших уже усталых родителей в возвращение на Родину покрывалась туманом, и на смену пришли фантастические идеи ехать в разные Парагвай, Уругвай — чем дальше, тем лучше, туда, где ждет новая жизнь, возможность применить накопленные силы, может быть, где-то возле Огненной Земли, как пел Вертинский. И все же... В одном стихотворении Георгий Гранин догадывается:

А может быть — все это — неудачные встречи,
Неудачные будни — просто кляксы в письме?
Это только начало, это раненый крик,
Трепыхаясь в болоте, ожидает нелепую смерть.

А быть может — совсем и не стоит стремиться
И метаться, и глохнуть обескрыленной птицей,
И, когтями цепляясь, мертветь на весу?

А быть может, в сущности равноценен России
Схваченный, стиснутый, обдираемый сук?

Валерий Перелешин, уже много позднее, после скитаний по белу свету, писал в своих бесподобных "Аргонавтах":

А теперь, словно голос долга,
Голос дома поет во мне.
Вольное слово — Волга
На эфирной плывет волне.
Оттого, что при всей нагрузке
Вер, девизов, стягов и правд
Я — до костного мозга русский
Заблудившийся аргонавт.

Это было написано уже в 60-х годах, а тогда, в Харбине, одно становилось ясным: из Харбина надо куда-то уезжать. Политическое положение явно менялось, и петля стягивалась все туже. Напрасно я беспокоилась, что мы давно не бежим ни

от кого. Теперь бежать опять было необходимо. По крайней мере молодым, потому что в милом Харбине, где было все, что угодно для души, как говорилось в русской детской игре, не было для нас будущего. Как сказал Юра Гранин — мы висели в воздухе, цепляясь за сучок, а он уже обрывался.

В 1934 году Георгий Гранин и Сергей Сергин, оба очень талатливые и совсем молодые, покончили с собой, запершись в номере одного из отелей Харбина. Алексея Ачаира увезли в Гулаг, после которого он, хоть и вышел на волю, но прожил недолго. Я получила весточку от него: в той звериной жизни было не до стихов.

Большая часть "чураевцев", включая меня, была уже в Шанхае. Зарабатывали мы, кто чем мог. Было тяжелее жить без денег, чем в Харбине. Я приехала в Шанхай через Корею, где провела чудесное лето и с морем, и с лесами, и с поэзией разного сорта в семье поэтессы Виктории Янковской, навещавшей раньше "Чураевку" и пригласившей меня. В Шанхае меня приютила тетушка Виктории, незабвенная Ангелина Михайловна Кичигина, в своем бордингхаузе. Я сразу же стала чем-то вроде секретарши в журнале "Прожектор". Летом я вернулась на время и в Корею, и в Харбин. Я с болью вспоминаю, как, разговаривая и с Граниным, и с Сергиным, именно с ними двумя, сказала, что это только нам кажется, что быть поэтом — это что-то нужное, а в большом городе видно, что мы никому не нужны. Как знать: быть может, это была еще одна капля... Я больше никогда не увидела их. Потом война и перемена власти отрезали нас в Шанхае от Харбина окончательно. Мой "Прожектор" закрылся, и я зарабатывала танцами (и этому я научилась в Харбине).

Часть "чураевцев": Николай Петерц, Юстина Владимировна Крузенштерн, ставшая его женой, Валерий Перелешин, Николай Щеголев, Владимир Померанцев, Лидия Хаиндрова и я, с прибавлением Варвары Николаевны Иевлевой и Марии Павловны Коростовец, которых я раньше не знала, основали новый кружок, который назывался "Остров". Мы собирались раз в неделю, в гараже, с затемненным на случай бомбежки окном, при свете веревочки в масле, и эти вечера были самым дорогим временем за годы войны. "Островом" назывался и

сборник наших стихов, который вышел впоследствии. Не успел порадоваться этому главный зачинщик кружка Николай Петерец. И смерть этого всегда деятельного и жизнерадостного и совсем молодого человека словно предсказала развал наших общих планов и надежд.

После окончания войны опять встал вопрос: оставаться на пока или ехать куда-то и куда? Будем ли мы дома в нашей бывшей стране? Объявление о репатриации встрепонуло и взбодоражило всех. Решились: Иевлева, Лидия Хаиндрова, Николай Щеголев, Владимир Померанцев и наш помощник в прозаических делах, сам не писавший, Виталий Серебряков. Мария Коростовец уехала в Австралию, Юстина Кузенштерн в Бразилию, а впоследствии в Сан-Франциско, где работала по специальности в газетах и журналах. Валерий Перелешин после долгих и мучительных перипетий попал в Рио-де-Жанейро, где продолжал писать и оттачивать свое блестящее мастерство, несмотря на отсутствие атмосферы и компании, необходимых многим другим.

Я долго металась в нерешительности, вспоминая о которой впоследствии написала:

Там стынут и хмурятся темные ели
И, ежась от ветра, мигает звезда,
Там стынут улыбки, и стонут метели,
Нет, я не дойду, не дойду никогда.
Я буду стоять, озираясь с тоскою
На сторону эту, на сторону ту...

Вот так я и озираюсь до сих пор... Ну, в общем тогда я узнала, что никуда не поеду, пока не вытащу из Харбина моего отца, от которого я несколько лет не могла получать даже писем. Я уехала позже всех нас.

Теперь, уже после многих переездов, но не бегства, по разным странам, судьба оставила меня во Франции, в маленьком горном городке, среди чудесных лесов; не хватает только моря и не хватает старых друзей. Даже тех, с которыми дружба была довольно колкой, дружба-вражда. Мы слишком связаны, чтобы забыть друг о друге. Мы переписывались, уз-

навали, что с кем случилось. Долго не было сведений о Владимире Померанцеве, и по единственному письму, что он мне написал, мы узнали, что он стал художником, что он потерял жену и что если он не ответит на следующее письмо, значит, он уже по ту сторону добра и зла. На следующее письмо он не ответил. Лидия Хаиндрова, очень преданная поэзии, успела выпустить еще один, небольшой, сборник стихов. Николай Щеголев сказал, что больше делает то, что нужно, а не то, что хочется, или вроде этого. Валерий Перелешин, самый плодовитый и самый выработанный, выпустил не меньше семи сборников и скорее других отвечал на письма. Он два раза навещал меня в мосм "Пропадинске", как он называл мое новое местожительство. И, даже умирая около двух лет тому назад, он бредил "Чураевкой". Приехал как-то и Мура Лапиксн, завсегдатай "Чураевки", и Юстина Крузенштерн, и эти посещения всегда были праздниками для меня.

Сама я ездила повидать Викторию Янковскую, которая живет недалеко от Сан-Франциско. Недавно она и ее брат, теперь писатель в России, были приглашены во Владивосток на торжественное открытие памятника их деду — пионеру Дальнего Востока. Это все же знаменательное событие, если вспомнить, что и отец, и два брата Виктории были увезены в Гулаг. Там отец и умер.

Бродя по здешним полям, я думала: как хорошо было бы всех повидать, и написалось:

Я едва пробираюсь тропинкою узкой;
Меж полями пшеницы, пшеницы французской,
Как в России синеют, смеясь, васильки,
Васильки — васильками, друзья далеки.
Если правда, что можно летать после смерти,
Просто так: обо всем позаботятся черти —
Ни билетов, ни виз, да куда бы сперва?
Закружится, боюсь, у чертей голова...
Так нас всех разметало по свету,
Что не хватит бумаги заполнить анкету.
На Харбин, на Шанхай, на Мадрас, на Джибути,
На Сайгон, на Таити, Москву не забудьте,

Сидней, Рио, Гонконг, Сан-Франциско, Канаду,
Тель-Авив, Парагвай и Полтаву мне надо,
А еще Соловки, Колыму, Магадан —
На метле я готова — тащи чемодан!

Это было уже несколько лет назад, и я успела повеселить нашего бывшего редактора "Рубежа", где мы печатались когда-то, со вздохами подсчитывая крохотные построчные, милого Михаила Сергеевича Рокотова, теперь уже тоже опочившего. Он просил меня приехать в гости, пока что не на метле, но я не успела. Теперь же чертям не будет много работы, большинство друзей уже не в этом, столь сложном для переездов мире. Из "Островитян" осталась я одна, Владимир Слободчиков — в России и Нина Мокринская, всегдашняя посетительница "Чураевки", когда-то писавшая в детской страничке, а теперь выпустившая книгу своих воспоминаний, — здесь, во Франции. Но даже если мы редко видимся и не переписываемся, мы не можем забыть ни друг друга, ни время нашей юности. Я знаю: никто из нас не забыл тот чудесный час, что когда-то сгорел до тла.

Так прекрасна печаль была,
Так звенела в ночной тиши,
Так светилась на дне души...

И я бы хотела, чтобы это маленькое сообщение хотя бы на некоторое время напомнило тем, кто знал русский Харбин тех лет, и тем, кто его не знал, о нашей молодой "Чураевке" и о нашем давно затонувшем в буре житейской острове — Шанхае.

ПРИМЕЧАНИЯ

Алексей Алексеевич *Ачаир* (настоящая фамилия Грызлов) родился 5 сентября 1896 г. под Омском, в станице Ачаир. Скончался 16 декабря 1960 г. в Новосибирске. Ачаир издал в Харбине пять книг своих стихов. Всемигрантскую славу принесло ему стихотворение "По странам рассеяния".

Георгий *Гранин* — псевдоним поэта и прозаика Георгия Сапрыкина. Он выступал на страницах литературной газеты "Чураевка" и в харбинском журнале "Рубеж". О Георгии Гранине и его бессмысленном конце (совместное самоубийство с Сергеем Сергиным в харбинском отеле "Нанкин") писал Валерий Перелешин в воспоминаниях "Два полустанка" (Амстердам, 1987). Стихи Георгия Гранина были включены в антологию дальневосточной поэзии — "Остров Лариссы" (Орандж, США, 1988).

Николай *Петерец* — литературный критик, фельетонист, поэт. Скончался в Шанхае 11 декабря 1944 г. Участник ура-патриотического сборника "Стихи о Родине" (Шанхай, 1941). Стихи Николая Петерца были включены в антологии "Остров Лариссы" и "Песни с Востока" (Австралия, 1989).

Сергей *Сергин* — псевдоним поэта Сергея Федоровича Петрова. Стихи Сергея Сергина печатались в харбинском журнале "Рубеж" и в литературной газете "Чураевка". В последний раз стихи поэта появились в печати в 1935 г. в антологии "Излучины", вышедшей в Харбине мизерным тиражом в 200 экземпляров. Последнее стихотворение С. Сергина — "Молитва":

В пустынной церкви, днем, одна
Ты поднимаешься на хоры,
И вздрагивает тишина
При взлете шелковых оборок.

Задумчиво проходишь ты
По медленно скрипящим доскам...
Вон там, внизу, — ряды святых
Молчат, закапанные воском.

И прямо пред тобой — алтарь,
Подальше, чуть правей, — распятие,
А руки рвут с груди янтарь,
И мнется шелковое платье.

Как на коленях, с высоты,
Прильнув к расшатанным перилам,
Не дрогнув пред лицом святых,
Ты шепчешь — Господи, помилуй...

Виктория *Янковская* — прозаик и поэтесса, родилась в семье пионеров-первопроходцев Дальнего Востока. Десятилетия провела в Северной Корее и в маньчжурской тайге. В 1935 г. в Харбине выпускает книгу стихов и прозы "Это было в Корее". В 1977 г. выпускает в США сборник стихотворений — "По странам рассеяния". Живет на Русской речке в Калифорнии.

Юстина Владимировна *Крузеништерн-Петерец* переводчица, романистка, литературный критик, поэтесса, родилась во Владивостоке 19

июня 1903 г., скончалась 8 июня 1983 г. в Калифорнии (о ней см. в антологии "Остров Лариссы"). Андерсен, рассказывая о Ю. В., опускает одну деталь из биографии своей подруги: Ю. Крузенигерн-Петерс почти двадцать лет проработала редактором в русской секции радиостанции "Голос Америки", а в Сан-Франциско она редактировала газету "Русская жизнь".

Утверждение Лариссы Андерсен, что она единственная, оставшаяся в живых из "Островитян" нуждается в уточнении: в Москве здравствует известный джазист Олег Лундстрем, в чьем шанхайском гараже и собирались члены литературного кружка — "Остров".

*Публикация, вступление и примечания
Эдуарда Штейна, Коннектикут*

РОМАН ГУЛЬ "Россия в Америке"

Об эмиграции — Великий исход — На стекольной фабрике — У мадам Почст — Шато Нозэ — Мсье Ле Рва Дюпрэ — Сережа и граф — Меринов-Шпенер из Тулузы — Ротмистр Рвстанович — Пэнес — Париж — Мой уход из масонства — Совпатриоты и коллаборанты — В. А. Лазаревский — С. П. Мельгунов — Виктор Кравченко — Н. В. Вольский — Б. И. Николаевский — «Народная Правда» — Лига Борьбы за Народную Свободу — «Новый Журнал» — Переписка через океан Георгия Иванова и Романа Гуля — Томас Витни — Джордж Кеннан — Д. Шуб — Юлий Марголин — Полет в Израиль — К вопросу об «автокефалии» — С. Аллилueva — Переписка Р. Гуля и С. Аллилueвой.

Цена книги \$18.50 + \$1.50 за пересылку в США и \$2.50 за границу.
От заграничных покупателей плата принимается только в междо-
народных чеках. Заказы посылатъ по адресу "Нового Журнала".

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

ПОСТСКРИПТУМ

Тот, кто до конца дочитал в НЖ № 198-199 мое свидетельство, очевидно, понял: главной фигурой, приведшей меня к Вере, был Владыка Лука Войно-Ясенецкий. Именно его жизнь, его чувство к Господу побудили меня по-новому взглянуть на окружающий мир, на самого себя. Личность Владыки Луки оказались таким образом одной из самых важных в моей жизни. Неудивительно, что мне, жителю Нью-Йорка, доставило искреннюю радость известие, что в Москве вышла "Автобиография" Войно. Я несколько раз просил знакомых москвичей разыскать и прислать мне это издание. Они отвечали, что выпущенные 15.000 экземпляров стремительно разошлись, и найти книгу не удастся. И вдруг счастливый случай: жена пошла в православный храм в Манхеттене и обнаружила, что там продается книга, за которой я охочусь уже несколько месяцев. Теперь она передо мной, эта "Автобиография", которую покойный Владыка, уже будучи слепым, продиктовал своей секретарше. Надо ли говорить, как порадовало меня появление еще одного свидетельства о моем любимом человеке.

Но чтение книги принесло не только радостные, но и кое-какие грустные размышления. Текст первых 85 страниц тома действительно является жизнеописанием покойного Владыки, им продиктованным. Но следующие 115 страниц, с подзаголовком "Примечания", *полностью* состоят из текстов, взятых из моей книги "Жизнь и житие..." Хотя издатели большую часть книги заполнили моим материалом, у меня нет к ним никаких претензий. То, что мне удалось в свое время собрать за тринадцать лет, объехав двенадцать городов и сел и взяв интервью у ста пятидесяти свидетелей, разыскать теперь было бы невозможно. Я рад, что мой труд помог еще раз напомнить соотечественникам о замечательном

человеке, жившем в нашей стране и так много сделавшем для нее. Удивило лишь то место в Предисловии от редакции, где единственный раз упоминается моя фамилия. Звучит этот абзац так:

"Мы пользовались также книгой М. Поповского "Жизнь и житие Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга" (УМСА-PRESS, Париж, 1979 г.). Хотя автор этой книги, по всей видимости, человек, далекий от религии и Церкви, многие приведенные им документы уникальны, поэтому мы опубликовали их в Примечаниях к "Автобиографии".

Что можно сказать об этом странном тексте? Оказывается, в Крымском епархиальном управлении (Украина, 333023 Симферополь, ул. Одесская, 12) лучше, чем где бы то ни было, знают, что за человек М. Поповский, во что он верит и во что нет. До таких разоблачительных глубин не добрались даже вытолкнувшие меня в эмиграцию сотрудники московского ГБ.

Марк Поповский
Апрель 1996

ОБ И. К. АКИМОВЕ И ЕГО СТИХАХ

Моя встреча с Иваном Константиновичем Акимовым-Перетц состоялась довольно неожиданно. Я получил приглашение приехать к нему в гости еще до нашего очного знакомства. "У нас тут все очень *смирные*", — шутил потом Иван Константинович об их маленькой русской колонии в нескольких милях от атлантического побережья. (В Нью-Смирне, к слову сказать, живет праправнучка Льва Николаевича Толстого Вера Ильинична Толстая.)

А потом была поездка в этот выбеленный слепящим флоридским солнцем городок, укрытый жесткой зеленью магнолий, пальм и поросших вечными мхами дубов; был увитый зеленью маленький домик, чем-то похожий на белую крымскую мазанку (вероятно, Коктебель в истории русской поэзии — имя не собственное, а нарицательное).

Хозяин встречал нас на пороге. "Ну, милости просим!" То, что нас окружило, казалось окном в иной мир — давно и навсегда

разрушенный. Старые фотографии на стенах, картины, пейзажи, портрет Павла Первого с безумными глазами (все — работы Ивана Константиновича), мольберт на светлой веранде, французские книги — все в этом доме говорило об оригинальности хозяина.

Мы провели у него два дня, много говорили о России, русской истории, литературе Запада, политике и многом другом. Прощаясь, он перекрестил нас с порога: "Да хранит вас Господь!"

И только примерно через месяц я получил от него пакет с рукописью стихов, написанных — до сих пор трудно поверить — дореволюционной орфографией. Стихов, поражающих — помимо их поэтического содержания — совершенно иной, полностью, очевидно, утраченной *стихией языка*. Именно языка — не поэзии (оставим в стороне цветаевские размышления о родстве стихов и стихий). Развиваясь по своим, тайным законам, язык способен перерастать окружающую действительность, и ностальгические вздохи о его разрушении — по меньшей степени не оригинальны.

"Сложены они неплохо, но по существу дурные, темные, смутительные. Но судите сами", — написал мне Иван Константинович о своих стихах. — "...Не знаю, прав я или нет, но за восемьдесят шесть лет все еще держусь того мнения, что только через уродство можно узреть красоту, через грехи просветиться светом Божиим..."

Стихи Ивана Акимова действительно страшные, волнующие, глубокие и прекрасные. Их мнимая или явная "чернота" — не надсоновские песни о смерти мотылька в пламени свечи. Здесь — истинно русский психологизм и масштаб страстей, неограниченное никаким рациональным смыслом опустошительное страдание, необъясненное и необъяснимое ощущение вселенской апокалиптической бездны.

Мотивы стихов И. Акимова достаточно однородны. Это смерть, грехопадение, страдание "неуспокоенной души", осквернение святынь любви и веры:

А потом будешь бить поклоны
У забрызганной кровью стены,
Где на месте разбитой иконы
Плесневеет печать сатаны.

Поруганный образ, запоздало-бесполезное покаяние, кровавая

печать рока — это ли не болезненно знакомые образы российской истории, прошлой и будущей?

Но, несмотря на уничтожающее бремя "первородного страха", в этих стихах звучит еще один извечный русский мотив — испепеляющая молитва, предсмертная по накалу исповедь:

И у восходного собора
Тя проклинающих прости...
Свет Твой, Господи, в небе ярок,
Но у нас-то тут, на земле,
Ярче светит сальный огарок
Ночью зимней во мгле.

Поэтическое слово стихов Ивана Акимовича поражает весомостью, силой, неотъемлемой для большой поэзии *энергетикой строки* — волевым, требовательным, едва ли не библейским по звучанию Глаголом. Прибегая к достаточно несложным образам и метафорам, автор создает многоплановое словесное полотно, в ткани которого явно присутствует тот непременный элемент поэзии, который был точно сформулирован Владиславом Ходасевичем:

Дар тайнослышанья тяжелый...

Итак, "тайнослышанье". Вдумываясь, точнее — вслушиваясь в созданные поэтом созвучия знакомых, на первый взгляд, слов, невольно становишься соучастником этого мистического процесса.

При чтении стихов Ивана Акимовича часто возникает желание прослушать ту или иную строфу еще раз, попытаться "простучать" ее звуковую основу, как простукивает древнюю стену искатель замурованных в ее глубине сокровищ, и понять, как, откуда, столкновением каких аллитераций и рифм достигается пронзительный эффект.

И эхо, ударяясь о гранит
Подземных скал, бездушно повторяет:
"Кто душу потеряет — сохранит.
Кто душу сохранит — тот потеряет".

Но, подобно скорбному органному многоголосию, эти стихи

производят в душе читателя таинственное светлое "очищение". Хочет или не хочет этого автор, но из *антимира* читатель невольно возвращается в *мир*. Быть может, именно в масштабе трагедии, вернее — в подлинности ее философских основ, скрыт секрет этого возвращения. Сам автор, вольно или невольно, в одном из первых стихотворений намечает своеобразный "посыл" своего обращения к поэзии:

Печать лежит на всех моих трудах,
Чтоб охранить от темной зимней стужи
Весенним солнцем взрощенные души,
Чтоб их не тронул первородный страх.

Есть в этом стихотворении и еще одно важнейшее обращение:

Но, если можно, сохрани в ушах
Твоих, мой друг, всю красоту созвучий,
Что на лету своей звезды падучей
Отпавший ангел мне напел в стихах.

27 апреля 1993 года Иван Константинович Акимов-Перетц написал в адресованном мне письме: "Вот мои избранные стихи... Пора им на Родину. О деталях поговорим, когда вернусь".

Поэтическое творчество Ивана Константиновича Акимова является неизвестной частью русской литературы. Хочется верить, что публикация его стихов в этом номере "Нового Журнала" приблизит неизбежное возвращение поэта на родину.

* * *

Иван Константинович Акимов-Перетц родился в Петербурге в 1907 году в семье доктора медицины Константина Яковлевича Акимова-Перетца, главного врача больницы Евгеньевской Общины Сестер Милосердия, и его супруги Екатерины Адольфовны, урожденной Эльманн. Учился в Третьем Реальном училище до 5 класса. После ареста всей семьи, смерти отца, расстрела брата Николая и его жены Веры в 1921 году бежал с матерью в Финляндию, где его старший брат Михаил состоял на американской консульской службе в Выборге. После того, как брат был переведен в американское

посольство в Риге, Иван Акимов переехал туда вместе с матерью. С 1924 работал сотрудником русских газет и журналов в Риге. В том же году несколько его стихотворений были напечатаны в Париже А. Куприным. В тридцатых годах был избран председателем рижского клуба "На струге слова" — общества молодых русских писателей и поэтов. До 1939 года работал в американском посольстве в качестве "репортера по политическим делам" и библиотекаря. После закрытия посольства вместе с женой и дочерью переехал в Соединенные Штаты Америки и поселился в городе Ричмонд, штат Вирджиния. В 1945 году работал переводчиком Американской миссии в Лиге Наций. Печатал статьи на английском языке в американских газетах и журналах, но стал особенно известен как мастер карикатуры и шаржа. Неоднократно публиковал карикатуры в "Лос-Анжелес Таймс", "Херальд Трибюн" и других газетах. Стал известен и в Вашингтоне как "The Capitol Hill Caricaturist", рисовал шаржи на многих политических деятелей Конгресса. В 1959 году был приглашен Обществом американских газетных редакторов (ASNE) на ежегодный конгресс, где рисовал карикатуры на Фиделя Кастро и его сподвижников. В настоящее время Иван Константинович Акимов проживает под своим американским именем John C. Perts в городе Нью-Смирна, штат Флорида и публикует в местной прессе статьи на английском языке.

А. Л. Белый, Флорида

ЕЩЕ ОБ А. С. ЛУРЬЕ

Тайна личности Артура Сергеевича Лурье заключается в строфах Пушкина об Овидии в "Цыганах":

Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной —

Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.

У него были вещи предчувствия, касавшиеся музыки, и он часто повторял слова Гоголя: "Что будет с нашим миром, если музыка нас покинет?" И музыка покинула его после болезни. Я с ужасом помню, как принесла ему ноты "Симфонических этюдов" Шумана, которые он так любил. Он сел за рояль, открыл ноты и заиграл какую-то жуткую какафонию, какой-то безумный набор нот. Я спросила его, что он играет? "Как что? Тут так написано!" И, рассердившись, перестал играть. Через какое-то время, чуть-чуть поправившись, он снова сел за рояль и открыл записи "Золотого осла", но играть не смог, ничего не получилось; он понял это и страшно зарыдал, уронив голову на клавиши. Я утешала его, уверяя, что музыка вернется. Это было ужасно. Все же через какое-то время он опять попробовал играть, и попытка его была гораздо более удачной; оба мы окрылились надеждой. Но в январе 1966 года у него был рецидив, и это было началом конца.

* * *

Он был любимцем матери. На Рождество ему подарили волшебный фонарь, и впечатление было "потрясающее", как он говорил. В то же Рождество он играл в какой-то пьеске вместе с другими детишками; пьеска была о гномах, и маленький Артур пел соло:

Много сокровищ закопано в земле,
Дивно сверкают они в глубине,
Дружно, братцы, за кладом пойдем,
Пока его там мы не найдем.

Я запомнила мотив этой песенки и интонацию А. С.

* * *

Однажды семья уезжала с квартиры, и маленькие Артур с сестрой Беатой видели в уже пустых комнатах какие-то колеблющиеся, туманные фигуры.

Сергей Львович, нежно любя старшего сына, все же никак не мог понять, зачем нужно писать музыку, если ее уже всю написал Чайковский.

Во время революции маму (Анну Яковлевну) поздно вечером схватили на улице (она шла без пропуска) патрулировавшие милиционеры. Посадили ее в милицию, там же сидел прославленный епископ, и они очень оживленно переговаривались. Утром к А. С. прибежали из комиссариата: "Ваша мать арестована". Он поехал в милицию: "Что же, товарищи, отчего арестовали мою мать?" Милиционеры были весьма сконфужены.

* * *

Его младшая сестра, Клара, красавица, молодая девушка, приехала в Петербург из Одессы, только что окончив гимназию. А. С. водил ее повсюду за собой, знакомил с друзьями; она краснела и опускала длинные ресницы.

* * *

Он женился очень молодым, в 21 год, на Ядвиге Цыбульской*, очаровательной девушке, великолепной пианистке; они познакомились в консерватории. Летом ездили в имение ее родителей в Волынской губернии. Но Ахматова все разбила вдребезги, и А. С. горько упрекал себя за то, что "сбил с пути". благодаря встрече с Судейкиным, Ольгой и др. Ядвига не боролась с Ахматовой и даже свою дочку назвала в ее честь. Дочку, в кружевах, приносили утром молодому папе, и он играл с ней часами. После своего отъезда и после смерти Ядвиги А. С. звал девочку в Париж, умоляя ее приехать, но она не соглашалась и писала: "Нет, папочка, если ты меня любишь, то вернешься сюда". Он не знал, что случилось с его Анночкой, т. к. не получал никаких вестей из России.

Роман с Ахматовой начался в 1913-ом году и оборвался из-за войны и связанных с ней эмоций Ахматовой. Вторая встреча произошла, когда Ахматова была женою Шилейко. Он держал Ахматову в ежовых рукавицах и даже запирали на ключ ворота, за которыми они жили. Но Ахматова, в те годы "самая худая женщина в Петербурге", вылезала из подворотни, "как змея" (по словам А. С.), на улицу, где ее ждали Артур и Ольга. Затем они все поселились

* Сестра Николая Карловича Цыбульского, описанного в "Петербургских зимах" Георгия Иванова.

вместе. У Ахматовой ничего не было, ни платьев, ни пальто; она ходила в военной шинели Артура. Сшили ей синее шелковое платье, которое она никогда не снимала. Ахматова получала академический паек, он был устроен Горьким. Развозили паек на лошади. Ахматова, стоя у окна и завидев лошадь, везущую паек, говорила: "Вот идет Горькая лошадь". А. С. ездил в командировку в Москву и там связался с какой-то девчонкой. Вернулся, и Ахматова все поняла, сказав: "Я, кажется, опоздала?" Она ревновала его, сердилась, кричала и даже визжала: "Супостат! Тебе нужна не женщина, а тигрица!" Как-то, на литературном вечере, она читала стихи, посвященные ею Артуру; по дороге домой он страшно злился, упрекая Ахматову за то, что она посвящает толпу в их интимные отношения. "Ну, не сердись, милый", — просила Ахматова трогательным голосом.

* * *

Когда А. С. поступил в консерваторию, то повсюду носил с собой партитуру "Прометея" Скрябина.

* * *

Стравинский, увидев у А. С. Библию, раскрыл ее, стал читать и объявил: "А знаете, это интересно!" С этого началось "обращение" Стравинского: он заставил всех своих детей ходить в церковь, прикладываться к иконам и т. д. Я видела в библиотеке Линколы Сентер письма А. С. к Стравинскому; теперь они находятся в Швейцарии; кажется, в Цюрихе.

* * *

Асафьев был очень робким человеком. Он умирал от страха, когда Юденич подходил к Петербургу. По словам А. С., Асафьев был совершенно бездарный композитор, но великолепный музыковед. А. С. смеялся над некоторыми словообразованиями Асафьева, напр., "мелодия залегает в ухо".

* * *

Помимо культа Моцарта, А. С. очень любил Шуберта, восхищался его 9-ой симфонией. Любил Бартока. Покупал пьесы Шен-

берга, и Веберна, и Берга. В шутку называл экспрессионистов "бешеными". Когда он начинал их играть, я уходила наверх, в свою квартиру, и он негодовал, говоря, что я не понимаю современной музыки (что было сущей правдой). Он иронизировал над моей любовью к Верди, хотя и уважал его, говоря, что музыка "Фальстафа" — шампанское. Он очень любил "Богему" Пуччини, говоря, что он ВОТ ТАК хотел бы написать оперу.

Как-то я упростила его дать мне урок музыки. Мы уселись за фортепиано, и он объявил: "Вот видишь, это ДО. Ты это знаешь отлично. Но на ф-п это ДО, а на гобое не ДО (не помню, какую ноту он назвал), а на тромбоне (радостно улыбаясь) это (не помню что). "Зачем мне знать, где оно ДО, а где не ДО? Научи меня играть!" — "Нет, нет, тебе нужно все знать, ты музыкант, тебе это необходимо". На этом уроке наши занятия прекратились.

* * *

Саломея Андронникова стала переписываться с А. С. после его переезда в Принстон, "от скуки", как мне говорил А. С. Андронникова вообразила, что А. С. в нее влюблен, мечтала о свидании и была потрясена, узнав обо мне: по просьбе А. С. я написала ей о том, что он заболел. На это последовало письмо Саломеи А. С-чу, в котором она спрашивала с негодованием — кто я? Смеясь, я говорила: "Кто эта Дульская?" Я стала с ней переписываться, уведомляя ее о состоянии А. С., но вскоре она раскритиковала статью А. С. об О. А. Судейкиной, и я прекратила ей писать. За это она описала меня как "помешанную".

* * *

Мы слушали по радио "Бориса" в исполнении Митропулоса. А. С. сказал: "Сухо! Скучно! Звучит, как начищенный самовар, только пар не идет". Но ему нравился Митропулос как дирижер. Они встретились, и Митропулос просил послать ему партитуру "Кормчей", но А. С. почему-то не послал.

* * *

В Нью-Йорке, когда я оставалась без работы, то жила в отеле, находившемся в двух кварталах от квартиры А. С. Он мне звонил

по утрам и просил, чтобы я пришла к нему поскорее и не забыла бы купить газету. Как-то я сказала ему в ответ: "Торопит зверь пришествие блудницы" — строчку из сонета Вяч. Иванова в сборнике "Человек".

Я приехала на викенд в Принстон. Он показал мне свои ужасные рисунки. В них было что-то демоническое. Он уверял меня, что они замечательны и что он соединяет музыку с этой "живописью" каким-то непонятным для меня образом. Утром, выйдя, чтобы купить сливки и булочки к кофе, я остановилась посреди дороги и сказала вслух: "Он помешался. Что мы теперь будем делать?". Я поняла, что А. С. находится на пороге страшной катастрофы: он был серый, с опухшими ногами, сидел по ночам и рисовал эти ужасные фантомы. Мы стали пить кофе, и я заметила, что А. С. хочет взять кусочек сахара из сахарницы, но рука его не слушается. Я поняла, что у него или удар, или тромбоз, и закричала: "Элла! Скорей вызывай амбуланс, ему дурно!" — "Что ты, что ты, — говорил А. С. полным голосом и вполне отчетливо, — что тебе померещилось?" Боясь, что он встанет и повалится, я обхватила его обеими руками, не давая подняться. Прибежала Элла, и я кричала: "Немедленно вызывай амбуланс!" Она тоже испугалась; приехал амбуланс; врач в госпитале сказал, что дело плохо. Его уложили. Вызвали священника. Потом он задремал, ему стало лучше. Проснувшись, потребовал меня; я пришла, и он спросил: "Мурзилка, я выскочил?" — "Да, дорогой, конечно! Ты выскочил!" Я ходила в госпиталь каждый вечер, ездила в Принстон из Нью-Йорка. Ему давали наркоз, и он от него "обалдевал", по его словам. Вот его бред: "Мне дана полная свобода. Я изобрел перпетуум мобиле. У нас скоро будет много денег, и мы уедем с тобой, сможем путешествовать. Знаешь, есть такие чеки, на них можно все купить".

Он вернулся из госпиталя и постепенно стал поправляться. Я водила его гулять, брала с собой складной стульчик, чтобы А. С. мог сесть и отдохнуть. Мы уходили "к ивам", как он говорил, растущим вокруг Вестминстерской школы хорового пения. А. С. шел и крепко держал меня за руку, говоря: "Ты меня водишь, как Антигона водила Эдипа". Осень 1965 года, у него был дурной день

— мы отправились "к ивам" в последний раз. Был яркий осенний день, открылись дали, небо было синее, золотились деревья. Он смотрел на этот пейзаж — Вестминстерская школа с ее белыми колоннами, ивы, золото деревьев, безоблачное небо. Он сидел молча, с какой-то МРАЧНОЙ МЫСЛЬЮ, с потухшим взглядом. Я спрашивала его в тревоге: что с ним? Он молчал. И вдруг сказал: "Красиво. Странно. Как смерть". Я решила, что его лучше увести; он поднялся, мы пошли прочь; он сказал, что знает, что скоро умрет. Я закричала: "Я тебя не пушу! Не пушу!" Он молчал, не утешая меня. Он знал, что все потеряно, что его погубили. Потом, к Рождеству, он стал хорошо поправляться; мы стали строить планы, сели за рояль; я присылала ему множество книг. И вот 4-го января случился второй приступ уремии. И страшная сцена с пьяной в стельку "мадам".

Она запретила мне приезжать. И позволила только в августе, когда он был безнадежно болен. Я приезжала на один час, каждое воскресенье. Мы сидели в палисаднике, за домом; он держал меня за руку и говорил: "Спасибо тебе". — "За что?" Он отвечал, дрожащим от слез голосом: "За твою доброту". Напившись, она его колотила: он показывал мне синяки и царапины. Я говорила ему, что у меня перед ней мистический ужас. "Что ты, она слишком ничтожна, чтобы вызывать мистический ужас". — "Да, вошь ничтожна, но укусы ее смертельны".

* * *

Кажется, летом 1959 или 60-го года, еще до переезда А. С. в Принстон, в Америку приезжал Жан Лалуа. Он не сообщил об этом А. С., и тот узнал о его приезде от Раисы Маритэн, позвонившей ему по телефону и сказавшей, по его словам, "хихикая", что Жан был у них. После этого разговора, оскорбленный поступком Лалуа, бывшим его учеником и близким другом, А. С. заплакал, бросился мне на шею как к последнему прибежищу и сказал, плача, с глазами, полными ужаса и боли: "Увези меня отсюда, Мурзилка! Увези меня от всех этих страшных людей!" Но как я могла увезти моего бедняжку, когда сама билась в борьбе за существование и служила кухаркой в богатых домах?

* * *

А. С. об "Арапе": "Получается что-то совсем неожиданное; за видимостью "веселья" какая-то мистерия о России, которой никогда не было, но только снилась такая, как в "Арапе".

* * *

Было третье Рождество без А. С. Моя тоска и отчаяние были невыносимы, и я сказала себе: "Нет ничего, ни вечной жизни, ни воскресения, — ни одной вести "оттуда", ни одной. Нет и не будет". Тут я включила радио, и сразу раздалась музыка Бартока, его фортепианная пьеса, одна из его "колядок", которую очень любил А. С., часто играл и хотел оркестрировать. Скажут: "Совпадение. На Рождество всегда передают колядки". Но почему она послышалась именно в том момент, когда мне было так тяжело? И я никогда больше не слышала этой пьесы за все прошедшие годы, ни разу.

Ирина Грэм, Нью-Йорк

АЛЬБОМ ШАРЖЕЙ В. СОРОКИНА

Процесс возвращения на родину литературы Зарубежья можно считать в основном законченным: кому-то было позволено вернуться стихами, кому прозой, кому публицистикой, но, к сожалению, далеко не всем. Все еще не получил право на жительство целый пласт литературы изгнания — словесность лагерей ДИ-ПИ. Дождется ли своего принца эта "Золушка", можно лишь гадать.

Великая Россия до сих пор не удосужилась обратить внимание на уникальный дипийский феномен твердости российского духа. Западные слависты не посвятили ни минуты на многочасовых своих конференциях этому литературно-социальному явлению.

В 1993 я выпустил в свет книгу — "Русская печать лагерей ДИ-ПИ", первый опыт библиографического переосмысления неповторимой страницы отечественной литературы. В своей библиографии я указал, что в каталоге № 77 антикварного отдела издательства "Посев" была указана книга В. Сорокина — "Альбом шаржей..."

"Живой" мне эту книгу увидеть не удавалось, как я ни старался. И только сейчас, чисто случайно, я стал ее счастливым обладателем.

Для меня альбом В. Сорокина оказался сплошной загадкой: на книге не было никаких выходных данных. Я мог лишь определить приблизительную дату издания: ведь лагерь Менхегоф просуществовал с 16 июня 1945 по 12 апреля 1949. Пагинация в альбоме отсутствует, имен нет, кроме одного — самого автора, художника В. Сорокина. Предстояла изнурительная работа: определить, кто есть кто, кто изображен на 36 шаржах.

Мне удалось "расшифровать" один шарж. Это был рисунок Константина Васильевича Болдырева (на четвертой по счету странице альбома). Этот легендарный человек, недавно скончавшийся в старческом доме на Толстовской ферме, заслуживает романов, кинолент в стиле Джеймса Бонда, но без аляповатостей английского боевика. Если бы в России додумались до того, что осуществлено в Иерусалимском Яд-Вашеме, где цветет оливковая поросль, посаженная теми, кто в годы гитлеровского геноцида спасал евреев — создать музей мужества, музей праведников, кто в годы войны и сразу после ее окончания спасал русских, то Константину Васильевичу Болдыреву там должен был бы быть вознесен монумент и в честь его памяти посажен целый сад.

Мои поиски начались с переписки с Олегом Марутой, редактором регенсбургской еженедельной газеты "Эхо", комплект которой он мне недавно подарил. От него "нити" повели к Борису Витальевичу Прянишникову, первому редактору журнала "Посев", а от него к бывшему секретарю той же редакции С. Трибуху.

Представитель первой волны российского исхода, С. Трибух написал воспоминания исключительной значимости — "Менхегоф — лагерь русских ДИ-ПИ" (существуют три экземпляра этих мемуаров — один находится в библиотеке Солженицына, второй — в архиве автора, а третий — у меня). В своих мемуарах С. Трибух приводит четыре шаржа: доктора-гинеколога Б. А. Микитюка с шестьюдесятью за ним молодыми мамами; Б. В. Прянишникова; дирижера хора и оркестра — Е. Евеца и недавно скончавшегося певца Бориса Степановича Брюно, любимца лагеря Менхегоф.

Открывает альбом шарж на начальника 505-го отдела ЮНРРА, мистера Кольта, который, по словам Б. В. Прянишникова, не любил дипийцев и симпатизировал СССР. Далее следует шарж на

Дамар-Лежен, француженку, которая, наоборот, симпатизировала дипийцам и негативно относилась к советчикам.

После шаржа на Болдырева следует на одной странице три шаржа: на обрусевшего немецкого колониста Николая Федоровича Шютца, на Серафима Павловича Рождественского, многолетнего сотрудника НРС, и на И. И. Виноградова, эмигранта из Польши. По утверждению Б. В. Прянишникова — все они покойные.

Еще одна страница альбома и еще два шаржа: один — это Евгений Романович Островский-Романов, многолетний руководитель НТС. Жив ли он сейчас, мне не известно. Тут же шарж на Степана Яковлевича Абрацкого, бухгалтера "Посева".

Среди представленных в альбоме и Александр Николаевич Неймирок, талантливый лектор и поэт, и Михаил Алексеевич Тамарцев, популярный писатель, известный впоследствии в Буэнос-Айресе под псевдонимом Борис Башилов, и генерал-майор Булюбаш, и художник Ростислав Дмитриевич Сазонов, и некоторые другие дипийцы.

Неоценимую помощь в расшифровке оказал мне Борис Витальевич Прянишников, чья цепкая память многое сохранила.

Эдуард Штейн, Коннектикут

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Приветствие из Парижа

Впервые я увидел "Новый Журнал" лет тридцать пять назад. Было это на юге Франции, в Мужене, у моего доброго друга, поэта Екатерины Таубер, долголетней сотрудницы этого журнала. С тех пор у меня к этому прекрасному изданию, куда меня 20 лет назад привлек сотрудничать незабвенный Роман Гуль, особые чувства. Сколько моих друзей, ныне ушедших, были авторами "Нового журнала"! Отсюда — и мое столь теплое и приятное отношение к этому литературному "толстому" журналу — наследнику лучших традиций довоенных парижских "Современных записок". Не стану перечислять заслуг "НЖ" перед русской культурой в деле сохра-

нения и приумножения культурного наследия "Серебряного века" и литературы русского зарубежья — позволю себе лишь порадоваться, что, невзирая на житейские трудности и неурядицы, "Новый журнал" выпускает свой, уже двухсотый, номер. И, подобно парижскому Новому мосту — самому старому в столице Франции, "Новый журнал" ныне — старейший журнал Русского Зарубежья.

Многая лета!

Рене Герра,

Париж, май 1996

For Hungarian scholars such as myself, Новый Журнал has always been the basic primary source of information on Russian culture and literature. For the many years that the paper was banned in Hungary, specialists travelled to Prague expressly to read it and glean the most up-to-date information in the field. Likewise when travelling to Western Europe it was considered a duty to bring back a copy for later research and circulation at home.

The Новый Журнал remains a source of inestimable value today. Despite the fact that there are currently a number of literary journals published in Russia, this is still the basic source of critical studies, bibliographical information and contemporary writing. Its cessation would be an unthinkable loss.

I ask you therefore, on behalf of all foreign scholars of Russian literature and culture, to reconsider your decision in this matter, and to maintain the significant role you have had in allowing the continuance of its magnificent tradition.

Yours faithfully,

Dr. Lena Szilard

Professor of Russian Literature

Head of the PhD programme at ELTE University, Budapest, Hungary,

*Member of the editorial board of *Studia Slavica Hungarica* and of *Russica Romana**

...Думается мне, что "Новый журнал" является своеобразным живым памятником, свидетельствующим о жизни и духе русской

эмиграции. Этот журнал, продолжая жизнь "Современных записок", издается свыше полувека в США. В нем отражена "в рассеянии сущая" русская мысль. Вдали от Родины журнал сумел сохранить красоту и самобытность русского языка, не запятнав его современными вульгаризмами.

Благодаря обширности и многогранности содержания журнал отражает прошлую и настоящую Россию, ее поэзию, литературу, исторические и политические события, художественную, театральную культуру, библиографию. "Новый журнал" — самый солидный из всех издающихся за рубежом русских журналов, с очень серьезным и глубоко продуманным содержанием каждого номера, что показывает чрезвычайную жизнеспособность русской мысли в изгнании. Это особенно ощутимо нам, новым эмигрантам, не прожившим еще и десяти лет в США. Одна из самых больших национальных общин Соединенных Штатов — русская, несомненно, должна иметь такой журнал, в котором отражается вся полнота ее духовной и интеллектуальной жизни.

*С уважением, Валентина Ткачук,
Доктор медицинских наук, профессор*

Многоуважаемый Вадим Прокопьевич,

Сердечно поздравляем Вас и Ваших сотрудников с юбилейным двухсотым номером "Нового журнала".

Это большое и радостное событие в русской эмигрантской периодике, которое, мы уверены, станет под Вашим редакторством основой для дальнейшего процветания "Нового Журнала".

С глубоким уважением,
Н. А. Жернакова
*Председатель Русской Академической Группы
в США, Редактор "Записок"*

Письмо в редакцию

По поводу публикации воспоминаний В. В. Вейдле "О тех, кого уже нет" в "Новом Журнале" № 192-193, сентябрь 1993 г.

В конце 1989 года Юрий Кашкаров, бывший тогда редактором "Нового Журнала", обратился ко мне с просьбой подготовить журнальный вариант воспоминаний В. В. Вейдле, и в начале 1990 года я эту работу сдал с небольшим предисловием, в котором выразил благодарность Бахметевскому Архиву, редакциям радио "Свобода" и "Нового Русского Слова", но по не зависящим от меня техническим причинам это предисловие напечатано не было. Юрий Кашкаров собирался напечатать его в одном из последующих номеров. Смерть помешала ему выполнить свое намерение.

Поэтому мне хотелось бы сейчас, с большим опозданием, выразить благодарность за помощь в работе над воспоминаниями Вейдле следующим лицам: профессору Марку Раеву и доктору Эллен Скарuffи, сотрудникам Бахметевского фонда Колумбийского университета, директору русской службы радиостанции "Свобода" Юрию Гендлеру и заведующей архивом нью-йоркской редакции Ирине Дутиковой, издателю газеты "Новое Русское Слово" Валерию Вайнбергу. Кроме того, я бесконечно благодарен ныне покойному Андрею Седых, много способствовавшему этой работе.

Григорий Поляк

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПОЭТ ИГОРЬ ЧИННОВ

Он прожил долгую жизнь, пережил свою эпоху и тех, с кем общался, с кем дружил, кого ценил, о ком вспоминал в своих очерках, беседах, выступлениях, интервью. Казалось, что всю эмигрантскую литературу знал он лично: Адамовича, Г. Иванова, Одоевцеву, Газданова, Белоцветова, Гингера, Присманову, Смоленского, Оцупа, Г. Раевского, Злобина, Иваска и еще многих. Он начал печататься почти семьдесят лет назад, сначала в рижских журналах, например, в "Мансарде", издаваемой кружком "На струге слова". Вскоре он входит в круг авторов знаменитых "Чисел", выходивших в Париже в самую пору цветения эмигрантской литературы. Когда Игорь Владимирович узнал о публикации в 197-ой книге НЖ (1996) статьи "Игорь Чиннов: «Последний парижский поэт»", он сказал мне: "Да, последний: Заковича уже нет, Шиманская недавно умерла. Последний парижский... Но поставьте это в кавычки". Мой разговор (по телефону) был о письмах к нему Г. В. Адамовича, которые готовились для № 198-199. Несколько слов, добавленных к машинописи его трудным почерком, я не разобрал и обратился к нему. В тот вечер он говорил бодрым голосом, шутил, и казалось, что, несмотря на изматывающую болезнь, не утратил жадного интереса к жизни. Скоро он начал уставать, и мы договорились, что свои вопросы я задам ему в письме. Ответа не последовало.

В "Новом Журнале" Чиннов печатался с 1950 г. С той поры большинство его стихотворений, впоследствии включаемых им в

его поэтические сборники, публиковались, как правило, в НЖ, в котором он печатался чаще, чем любой из новожурнальных поэтов. Его книги "Метафоры" и "Партитура" изданы под маркой "Нового Журнала". В 1987 г. Игорь Владимирович — вошел в редакционную коллегию. Он был искренне заинтересован в дальнейшей судьбе НЖ, в его благополучии. Я помню, как темпераментно говорил он об этом. В декабре 1995 г. он написал письмо в поддержку НЖ, считая его "чрезвычайно важным периодическим изданием и единственным серьезным русским литературным журналом, печатающимся на Западе".

Главное в литературном наследии И. В. Чиннова — поэтические сборники: "Монолог" (1950), "Линии" (1960), "Метафоры" (1968), "Партитура" (1970), "Композиция" (1972), "Пасторали" (1976), "Антитеза" (1979), "Автограф" (1984) и еще книга избранных стихотворений, сравнительно недавно вышедшая в Москве. Поэт менялся от сборника к сборнику, и однако можно говорить о стилистическом единстве, хотя бы и сотканном из противоречий — подчиняемых чутко услышанной гармонии. Это был большой мастер сложный и неожиданный, изобретательный и изощренный, очаровывающий и технически совершенный несомненный художник в каждой строфе. У него выработался свой почерк, своя тональность, интонация, мелодия, своя эмоциональная палитра; многие его стихотворения безошибочно узнаются без подписи. Он оставил в наследие русской культуре особый поэтический мир, который не спутаешь ни с каким другим. Вот его остающееся живым, певучим, пульсирующим "Вдохновение":

Пожалуй — жалость, "грусти жало",
и звук, как тени в ночном саду.
Немое слово трепетало,
я бредил словно на ходу.

Я не могу сказать яснее,
я не умею тебе сказать.
Как будто музыка во сне — и
начало трепета опять.

Как будто жалость или скрипка
и даже — Муза поет в луче.
И новый звук качнулся зыбко,
не знаю — мой? Не знаю, чей.

И взмах крыла (несмелый, жалкий),
как будто осенью свет весны,
и звуки флейты, как фиалки,
пугливой свежести полны.

И. В. Чиннов родился 25 сентября 1909 г. под Ригой (Тукум) в имении бабушки. Родители — дворяне, и сам Чиннов говорил о столбовом, т. е. еще допетровском дворянстве своих предков. С 1914-го по 1922-ой он жил в России, затем — в Латвии. Окончил Ломоносовскую гимназию в Риге. В выборе профессии пошел по стопам отца — юриста. В Рижском университете изучал экономику и право, курс обучения закончил в 1939 г. Работал юридическим консультантом. В 1944 — 1947 гг. жил в Германии, затем в Париже. Посещал Сорбонну. С 1952 до 1962 — снова Германия, Мюнхен, работа на радиостанции "Свобода". Был редактором, писал радиоскрипты на тему искусства и литературы. В 1962-ом его пригласили преподавать русскую литературу в Канзасский университет. С 1968 по 1976 И. В. Чиннов — профессор в Вандербилте (Нэшвилл, Теннесси). Последние девятнадцать лет жил в городе Дайтона Бич (Флорида). Много путешествовал. Писал. Умер И. В. Чиннов во вторник 21 мая на 87-м году жизни во Флориде, в Порт Оранж, близ Дайтон Бич.

Вадим Крейд

ПАМЯТИ ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ЧИННОВА

21 мая 1996 года после тяжелой болезни скончался поэт Игорь Чиннов, автор многих сборников стихотворений ("Монолог", 1950; "Линии", 1960; "Партитура", 1970; "Автограф", 1984 и др.). В первых

сборниках Чиннов выступает как поэт Парижской ноты, причем на него, несомненно, оказали воздействие художественно-теоретические взгляды Георгия Адамовича, который, между прочим, писал о нем: "Это наредкость искусный поэт. С первого же появления в печати стихи его пленили едва уловимыми, тончайшими, будто перламутровыми переливами оттенков, причудливо-печальной мелодией, в них приглушенно звучавшей..." В дальнейшем Чиннов нашел новые формы образного выражения. Парижская нота была для него только точкой отправления. Сам поэт писал о себе: "Первая книга... со словарем, нарочито обедненным, вышла в Париже... В четвертой книге появились гротески; нарочито обедненный словарь сменился обогащенным, с усиленной образностью. Шестая книга оказалась "гимном красоте", в седьмой опять возобладали гротескные картинки" (Игорь Чиннов, О себе, 1984). Действительно, Чиннов — мастер усложненной образности, иногда доходящей до экспрессионизма, иногда дающей как бы "псевдо-объективность", как например, в стихах:

И я очутился в той роще осенней
У берега детских моих впечатлений
И больше не прибыль, и больше не гибель,
А лист, пожелтевший на водном изгибе,
И жук, малахитовый брат скарабея,
Жужжащий в траве, от нее голубея.
Там словно под тенью священного лавра
Корова лежит с головой Минотавра.
Египетским богом там кажется дятел,
И я наблюдаю, простой наблюдатель,
За уткой, которая в реку влетела,
Как в небо — душа (только более смело?)

Чиннов всегда стремится к расширению художественных возможностей языка, стих его рассчитан на изошренный художественный слух читателя. Поэт с первой книги зарекомендовал себя мастером, но в связи с тем, что стиль его постоянно изменялся в результате поиска новых образных комбинаций, каждая новая книга была для него проверкой своего исключительного мастерства. Сама образность его стихов действует магически, мысль у него

совершенно не отделима от образа. Художественная тематика его — меняется, но тема всегда служит образности. Иногда Чиннов дает блестящие примеры глубины и трагичности переживания:

Сломал плечо я. Душечка-больница?
От жалости к себе почти не спится,
Я себялюб. Прости. Я виноват.

Да, боли. Наказание Господне?
За себялюбие? Вчера, сегодня
Я чуть не плакал. Да, увы и ах.
Но выздоравливаю понемногу.
Весной на подмосковную дорогу
(Всю в лужах, в мокрых листьях, в воробьях)
Я выйду с палкой. Здравствуйте, березы!
Скучал без вас. Ах, радостные слезы,
Еще я жив. Я не холодный прах.

(1995)

"Серебряный век" повлиял на него скорее общей настроенностью, атмосферой, чем какой-либо традицией. Налицо — связь с Г. Ивановым, за которым, в свою очередь, стоит акмеизм, но гротескная линия Чиннова идет в разрез с акмеизмом. По линии ритма и звука можно отметить связь с Блоком. Но это все — частности. Заслуги Чиннова по линии расширения возможностей звукоритма и усложнения образности ради фиксации обертонов и оттенков — несомненны. Здесь можно говорить даже о создании школы. У этой школы, несомненно, есть будущее. Этим и определяется для нас значение поэзии Чиннова. В этом основной смысл его жизненного дела.

Олег Ильинский

БИБЛИОГРАФИЯ

ТО, ЧТО ВСПОМИНАЕТСЯ. Из семейных воспоминаний Николая Ефремовича Андреева (1908-1982). 2 тт. Под редакцией Е. Н. и Д. Г. Андреевых. Таллинн, 1996.

Жизнь и карьера Николая Ефремовича Андреева — историка, литературоведа и журналиста — сосредоточили в себе типичные превратности эмигрантской судьбы. Николай Ефремович родился в 1908 г. под Петербургом в семье педагогов. В одиннадцатилетнем возрасте, пережив два года "военного коммунизма", вместе с родителями эвакуируется за армией Юденича в Эстонию. Там он получает среднее образование в русских гимназиях. Участвует в культурной жизни русской эмигрантской общественности Прибалтики. Таким образом, на чужбине он растет в чисто русской среде и открывает для себя русскую литературу и церковное прошлое (напр., в экскурсиях в Печерскую лавру и на Валаам). По окончании гимназии он уезжает в Прагу, где учится в русском и Карловом (чешском) университетах и получает докторскую степень по славянской филологии и русской средневековой истории. Получив скромную стипендию от Института средневековой славянской культуры имени Кондакова, он впоследствии выбирается его штатным сотрудником, а во время Второй мировой войны становится его директором. Попутно он печатает литературные и культурно-исторические статьи в эмигрантских периодических изданиях и принимает участие в литературных кружках русской Праги.

Несмотря на то, что он держался в стороне от политики, после

прихода Красной Армии его арестовал СМЕРШ, и Андреев содержался "под следствием" в разных тюрьмах до 1947 г. После недолгого пребывания в Берлине, где он давал уроки русского языка, он восстановил контакты с эмигрантскими и академическими кругами. Затем его приглашают в Кэмбриджский университет. Там он проводит вторую половину своей жизни как лектор по русской литературе и истории, женится и основывает семью. К концу жизни, потеряв возможность читать и писать, он диктует свои воспоминания, которые увидели свет в Эстонии, благодаря усилиям его вдовы и дочери.

Николай Ефремович — интересный, наблюдательный и остроумный рассказчик, и у него исключительная память. Его воспоминания рисуют живую картину быта, культурной деятельности, взглядов и настроений русской эмиграции в Восточной Европе. Читатель получает почти непосредственное ощущение материального неблагоустройства и шаткости правового статуса людей, чье существование зависело от политических обстоятельств страны убежища и международного положения в мире.

Автор вспоминает многое, часто с красочными деталями, и живо восстанавливает облик многочисленных как известных, так и малоизвестных лиц (перечисляются в индексе во 2-ом томе), и передает частные беседы с поразительными подробностями, даже если учесть неизбежную ретроспективную ретушь.

Особенно ярко изображены нравы русской гимназии и бытовые условия в Эстонии 20-х годов. Автор дает ясную картину так называемой "русской акции" в Чехословакии — как ее достижения, так и ее зависимость от чешской внутренней и внешней политики. Нацистская оккупация и война внесли новые осложнения и разногласия в эмигрантскую среду, а они в свою очередь осложнили человеческие отношения. Повествование Андреева убедительно показывает, что эмигранты, несмотря на бесправие и бедность, проявили бытовую практичность и широкую взаимопомощь, которые позволили им сохранить свое русское лицо и достоинство в самых тяжелых положениях. Исключительный интерес представляют наблюдения Андреева о тюрьмах советского СМЕРШа.

У нас нет такого "фильма", который зафиксировал бы трудности, радости и достижения Зарубежной России в Европе 20-х — 40-х годов. Рассказ Андреева о своей жизни как бы восполняет этот

пробел. Его воспоминания восстанавливают множество лиц и событий, которые должно знать, чтобы понять, чем и как жили русские люди, выброшенные в зарубежье революцией и гражданской войной.

Марк Паев

The Salon Album of Vera Sudeikin-Stravinsky. Edited and translated by John E. Bowl. Princeton University Press, 1995.

Литературные салоны в России 19-го и 20-го веков положили начало особому литературно-художественному жанру — салонному альбому, где гости оставляли свои экспромтные записи, стихи и рисунки, посвященные обычно хозяйке или хозяину дома. Литературная и историческая ценность таких альбомов велика. Они документируют дух эпохи, ее культуру быта, дают штрихи, обрисовывающие характер авторов, не говоря уже о самостоятельной ценности отдельных стихотворений, записей, рисунков. Таким документом является, например, известный альбом-альманах "Чукоккала" Корнея Ивановича Чуковского. Сейчас мы имеем возможность познакомиться с другим альбомом, тоже относящимся к Серебряному веку, но вместе с тем охватывающим и эмигрантский период. Это — прекрасно изданная книга "Салонный альбом Веры Судейкиной-Стравинской". Сам альбом находится в частной коллекции, и имя владельца не названо. Мы должны поблагодарить известного искусствоведа, директора Института современной русской культуры в Лос-Анжелесе Джона Е. Боулта за подготовку к печати этого издания, в котором мы находим стихи Бальмонта, Волошина, Блока, В. Брюсова, Вяч. Иванова, С. Есенина и многих др. Из художников мы встречаем в альбоме С. Судейкина, Б. Григорьева, В. Белкина, С. Сорина, П. Волконского, братьев Илью и Кирилла Зданевичей, М. Герасимова и саму Веру Судейкину, талатливую художницу и писательницу. В альбоме воспроизведены факсимиле страниц с текстом и рисунками, ноты и фотографии.

Вера Артуровна Боссэ-Шиллинг-Судейкина-Стравинская (1888-1982) известна нам больше как жена великого композитора. Но до

того, как она вышла замуж за Стравинского, она была женой трех других известных людей, в их числе С. Судейкина (его работы преобладают в альбоме).

"Эта "Коринна Севера", — пишет в своем предисловии Джон Боулт, — обладала творческими талантами, физической красотой, острым умом и вдохновляла многих поэтов, художников и музыкантов своего времени". Джон Боулт указывает на то, что Вера вела дневники, в которых записывала свои впечатления о людях, о событиях дня и даже свою философию жизни. Альбом охватывает период с апреля 1916 до лета 1923 года. Однако главная его часть относится к 1918-20 гг., когда Вера находилась в Крыму, в Тифлисе и в Баку. "Муза муз" (так называл ее секретарь и либреттист Дягилева Борис Кохно) проделала долгий путь из России в эмиграцию. Вот вехи этого пути с 1917-го года: Петроград, Москва, Киев, Ялта, Новороссийск, Батум, Тифлис, Баку, Марсель и, наконец, 20-го июля 1920-го года — Париж. Каждому из этих этапов посвящена глава, дающая интересную информацию не только о жизни Веры и Сергея Судейкиных, но и о людях, их окружавших, и о культурной жизни, которая, несмотря на все неустойчивость и опасности послереволюционных лет, продолжала существовать.

Вера влюбилась в Судейкина и до разрыва с ним в Париже в 1921-м оставалась ему преданной женой, заботившейся, как пишет Джон Боулт, не только о его физических и духовных нуждах, но и старавшейся продвигать его искусство. Интересен следующий штрих: в одном из дневников, под заголовком "Обязанности жены художника", Вера перечисляет их таким образом (обратный перевод с английского мой. — С. Г.):

- 1) Заставляй художника работать, даже палкой.
- 2) Люби его работы не меньше его самого.
- 3) Приветствуй всякое проявление творческой энергии. Вдохновляй его новыми идеями.
- 4) Держи его главные работы, рисунки, наброски и карикатуры в порядке, знай каждую работу, ее цель и смысл.
- 5) Относись к новым работам как к неожиданным подаркам.
- 6) Умей смотреть на картины часами.
- 7) Будь совершенна физически, поэтому оставайся его натурщицей навсегда".

Судейкин увлекся Верой в неменьшей степени и, со своей стороны, старался продвигать ее как актрису и танцовщицу. Работая для Таирова в Камерном театре в 1915 г., он уговорил его создать специально для Веры испанский танец в постановке "Свадьбы Фигаро" Бомарше. Премьера состоялась 10 октября 1915 г. Снималась Вера и в фильмах в том же году — в роли Эллен ("Война и мир") и в роли Королевы (фильмовая версия "Спящей красавицы").

Однако описание совместной жизни Веры и Сергея Судейкиных составляет малую часть альбома — о ней говорится лишь в предисловии Джона Боулта. Основная ценность этого издания — факсимиле страниц со стихами и рисунками. Рисунки разнообразны по технике: мы видим работы углем, карандашом, пером и кистью, причем большинство из них подцветчено акварелью. Много портретов, главным образом Веры Артуровны. И, конечно, как и в "Чукоккале", в альбоме много юмора. Думаю, что салонные встречи располагают к нему. Стилистически все рисунки овеяны духом Серебряного века, в них много графической театральности, берущей начало как в "Мире Искусства", так и в позднейшем увлечении лубком и народной игрушкой.

Внимания заслуживают рисунки самой владелицы альбома. Вера Судейкина как художница, несомненно, находилась под влиянием мужа. Не имея его большого таланта, формальной выучки и техники, она отчасти компенсировала их свободой композиции и долей лубочного примитивизма. Всего в альбоме воспроизведено семь ее акварелей. Как Судейкины, так и многие из их окружения преклонялись перед творчеством Э. Т. А. Гофмана. Судейкин даже сделал эскизы декораций для оперетты "Сказки Гофмана" Оффенбаха, которая должна была быть поставлена в опере Зимина в Москве. К сожалению, постановка не состоялась. Во всяком случае, неудивительно, что одна акварель Веры полна "гофманиады" — сумасшедший скрипач и танцующие куклы. В других акварелях Веры Судейкиной фигурируют элементы русской народной игрушки — матрешки, петухи, кони. Интересен сделанный ею карандашный набросок под названием "Судейкины краскотраты". Изображены художники за мольбертами. Один из них сам Судейкин, другой — его ученик Никодим. Юмористические наброски характерны для всего альбома и прекрасно передают дух салона Судейкиных.

Веру рисовал не только ее муж, но и Сигизмунд Валишевский,

Илья Зданевич и Петр Волконский. Во многих рисунках других художников, главным образом аллегорического содержания, можно угадать хозяйку салона в разных образах — ее полное лицо с большими глазами и прекрасная линия шеи легко узнаваемы.

Невозможно перечислить все интереснейшие записи, экспромты, виньетки и карикатуры в альбоме. Как уже было сказано выше, на многих страницах воспроизведены ноты. Стравинский посвятил Вере отрывок из своей "Свадебки". "Даме, этой очаровательной, этой красивой, этой милой Вере Судейкиной", — гласит надпись. Слова к нотам такие: "Э-та Э-та хоть куда, э-та и теперь сто-ить рубля, а коль ей ей бо-ка на-дуть, за э-таку и два дадут". Подпись — из "Свадебки" И. Стравинский, Париж 1921. Тот год оказался судьбоносным для Веры. Сергей Судейкин пригласил Стравинского на ужин в ресторан и познакомил со своей женой. Вера влюбилась в композитора, между ними, при посредничестве Бориса Кохно, завязалась переписка, и она порвала с Сергеем Судейкиным.

Совершенно сознательно я до сих пор не касался поэтической части альбома. Я — не литературовед и не берусь судить о том, насколько она значительна. Даю наугад несколько примеров:

Вере Артуровне Судейкиной

Любовь любовью остается,
Но есть влюбленная любовь.
Она лишь прихотью дается
И вдруг так быстро засмеется,
Рыданьем тайным оборвется
И звучным светом долго льется,
Лишь ей все сердце приготовь.

Она одна всегда живая.
В ней возрождение твое.
Она опять, как утро мая,
Как ключ, где влага огневая,
Сама себя перебивая,
Бежит, журчит, напев свивая,
Люблю тебя. Люблю ее.

*1920 VIII. 10, Париж
К. Бальмонт*

Познай же в запахе жасмина
 Благоухающий восток,
 Вечерний голос муэдзина
 И пыль лоснящихся дорог...

*Максимилиан Волошин
 Вере Артуровне на память
 29 мая 191? (неразб.)*

И еще под карикатурой на Судейкина работы В. Белкина:

Приписка

Вглядись в его карикатуру,
 Пойми Судейкина натуру.
 Да! Ни одна из эпиграмм
 Сатиры злобствующе-клейкой
 Во мненьи не уронит дам
 Тебя, божественный Судейкин!
 Красив ты всюду, словно чорт —
 Мужчина самый первый сорт!

Юрий Деген (без даты)

Конечно, этот прекрасный альбом может быть по-настоящему оценен лишь теми, кто знает поэзию и искусство Серебряного века. Для них он настоящий подарок. Но и менее сведущие люди смогут ощутить ту творчески насыщенную жизнь, которую вели наши поэты и художники даже в самые тяжелые годы гражданской войны, бегства и эмиграции.

Сергей Голлербах

*Марина Гарбер. "Дом Дождя. Стихи" (обложка работы Ю. Круты).
 Филадельфия, The Coast, 1995, 130 сс.*

Стихи в этой книге (первой) — работа всего четырех лет: 1992–1995. Имя же молодой поэтессы Марины Гарбер впервые появилось в печати только в 1993 году. Поэтому так радостно говорить о ней как о свершившемся, зрелом художнике.

Поэзия Марины Гарбер весьма современна, в том смысле, что в ее стихах прослеживается присущий нынешним западным поэтам интуитивный, трудно объяснимый подсознательный элемент творчества, ее словами: "Необъяснима только ткань стиха:/ Черным-бела. Как память, сны и чудо" (стр. 112). Поэтесса видит оком воображения и выражает увиденное языком, послушным музыке ее стиха:

Сердечный плач, мой маленький Бетховен,
Достав тебя из каменной груди
И выпустив, как птицу из ладони,
Переступлю, оставив позади.
И будут люди, всхлипывая: "Жалко", —
Бросать монеты бледному тебе,
Не замечая облачной русалки,
Как вещей бог, бегущей по воде.

(стр. 33)

Не все ли равно о чем здесь говорит автор? Мы просто согласимся с Волошиным в том, что "каждое произведение поэзии есть заклинание". Несомненно, есть энергия заклинания и в стихотворении с бегущей по воде облачной русалкой, увиденной авторским оком воображения. А вот стихотворение о городе, построенное на аллитерациях и ассонансах в сочетании со сложными смысловыми образами:

Подкрадываешься под,
Разламываешься разом,
Глотаешь, как гулкость свод,
Как сном обожженный разум,
Стискиваешь тиском,
Проламываешься промеж
Двух ребер своим ребром
Каменным, как Воронеж
Пронзал Мандельштама грудь
Пролетом навывлет пулей.
Петляешь, как пыльный путь,
И жалишь, как звездный улей.

Ютишь юродивых. В сеть
Вволакиваешь за ворот.
Пытаешь. Пытаюсь петь
В тебе и с тобою, город.

(стр. 122)

Таков ли Денвер в штате Колорадо ("Этот город кто-то из колоды,/ Будто карту, вытащил случайно"), где живет Марина Гарбер? Конечно, нет. Не такой он, каким она изображает его и в другом стихотворении, посвященном этому же городу. Ее город — плод поэтического видения и мы принимаем ее художественную правду, а не ту, которую можем увидеть простым оком, то есть не то, о чем можем прочесть в любом справочнике.

Марина Гарбер пишет лирический портрет и пейзаж своей души, но вместе с тем, ее стихи не носят исповедальный характер, в них нет и намёка на нередко смущающую читателя интимную откровенность. Ее любовная лирика легка, вдохновенна и целомудренна ("Я сгорела с весной разожженным костром,/ Растворившись тобою воспетой Снегуркой" (стр. 83). Можно так же заметить, что чем богаче внутренний мир художника, тем интереснее получается изображаемый им портрет и пейзаж.

В наше время внешняя сторона жизни, т. е. быт поэта редко совместим с его творчеством. Отсюда уход в себя. "Я вынесла главное: я ушла" — ушла не только в эмиграцию, но ушла в себя, то есть в поэзию. Такой выбор делает ныне каждый настоящий художник. Ибо, если у Лермонтова был перед глазами вдохновлявший его Кавказ, а у Пушкина, скажем, "свободная стихия" моря, то у современного поэта, нередко живущего в большом городе, в ушах грохочет метро или (в лучшем случае) он едет в автомобиле на службу, дающую считанные дни отпуска, в который едва втискивается мимолетное путешествие куда-нибудь от надоевшей рутины. В выходные дни он не выходит, а приходит в себя и "входит в себя", т. е. окунается в свое творчество. Притом несметное количество часов он проводит у компьютера, но оды ему не слагает, ибо компьютер имеет отношение к творчеству не большее, чем гусиное перо и чернильница Пушкина к "Медному всаднику". И автомобиль — не конь, воспетый поэтами всех времен. Крылья Пегаса к нему не прицепишь. Быть может, отчасти прав Пастернак, предпола-

гавший, что творчество возникает от потребности человека в компенсации, так как оно вносит в жизнь то, чего в ней нет.

Поэзия Гарбер не придерживается западной уитменовской линии стихийного свободолюбия, основанного прежде всего на освобождении от поэтических канонов. Корни ее творчества можно найти в русской традиции начала и середины века. Оттуда ее несколько стилизованный артистизм и сложные ассоциативные образы. Однако не будем называть имена, здесь слишком легко ошибиться.

Гарбер можно так же отнести к поэтам музыкального дара, т. е. к тем, у кого более остро развито слуховое восприятие, в отличие от восприятия зрительного. Стихи ее неизменно ритмичны и музыкальны. Нередко она использует фонетическую анафору: "...То время, когда мы не знали грусти,/ То время, которое в прошлом осталось,/ То время, которое детством звалось..." (стр. 39). Или: "Я — слезы всех гонимых и бегущих,/ Я — чей-то смех и чей-то долгий плач,/ Я — тот, слепой, на части душу рвущий,/ Талантливейший уличный скрипач" (стр. 104).

Дождь — центральная метафора в поэзии Марины Гарбер. По-видимому, название сборника ("Дом дождя") не случайно: дом — опора и дождь — вдохновение. Дождь — как у Пастернака, а позже у Ахмадулиной, отождествляется с творчеством. Дождь — как очищение, как торжество над буднями и над собой, живущей в буднях. Вода — как начало жизни и как источник творческой силы. Дождь — радость творчества и радость бытия. Дождь — живой и живой. Прочитаем начало одного из многих стихотворений Гарбер, посвященных дождю:

Здравствуй дождь! Я ждала тебя целое лето.
Где-то там, ты с другой проводил вечера.
Я ждала тебя так же, как ждут ответа
На письмо, отправленное вчера.
Знаешь, дождь, наплывают порою чувства,
Так, как ты, бьют без продыху, в дрожь, взхлеб

И тогда я ныряю в твое распутство,
В неуютство, в осенний, сырой озноб...

(стр. 108)

Поэтесса просит дождь разрешить ей стать его первой скрипкой:

Дождь-оркестр, наивный и детский,
Дай мне стать твоей первою скрипкой...
Я смогу...

(стр. 125)

Мы тоже верим, что она сможет стать первой скрипкой в зарубежном поэтическом оркестре. Цветаева говорила, что критик должен обладать "слухом на будущее". Хочется верить, что слух нас не обманывает: Марина Гарбер — художник, от которого мы ожидаем многого и в настоящем и в будущем.

*Валентина Синкевич,
Филадельфия*

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ “НОВОГО ЖУРНАЛА” NN 192 — 200

ПРОЗА

Агафонов В. — Книга Свиньи — 195.

Антонович А. — Снега в новом году — 198/199.

Барабтарло Г. — Английское междометие (Заметки о посольстве
лорда Дурама в Петербурге в последние годы жизни
Пушкина) — 197.

Башкиров Д. — Оля — 196.

Бородыня А. — Гонщик — 194.

Бродский И. — Коллекционный экземпляр. Авторизованный
перевод с английского *А. Сумеркина* — 195.

Войлоков В. — Одна украинская ночь для палаты на восемь коек
в отделении хирургии — 196.

Газданов Г. — На острове — 200.

Гандельсман В. — Чередования (Запасные книжки) — 197.

Георгадзе М. — Тбилисский дворик — 195.

- Голлербах С.* — Заметки художника — 194.
- Грэм И.* — На новых берегах — 196; Маленький креольчик — 197.
- Дрейцер Э.* — Госпожа — 198/199.
- Иванов Г.* — Парижские фотографии — 197.
- Кашкаров Ю.* — Дама в белом — 200.
- Кторова А.* — Герой Соединенных Штатов; Американочка
Ивановна — 194.
- Лемберский П.* — Рассказы — 196.
- Лосев А. Ф.* — Метеор — 192/193.
- Мамедов А.* — Свадьбы — 196.
- Муравьева И.* — Комната с видом на прошлое — 194; Сколько лет
утекло — 197; Филимон и Бавкида — 198/199;
Близнецы — 200.
- Набоков В.* — Что как-то раз в Алеппо; Забытый поэт; Быль и
убыль; Условные знаки; Сестры Вейн. Послесловие
переводчика *Г. Барбтарло* — 200.
- Плешаков К.* — Записки мыши. II — 192/193; Богатый сюжет;
Дионис — 195.
- Разин В.* — Смерч — 192/193.
- Розанов В.* — Мимолетное. 1915 год.
Публикация *А. Николюкина* — 192/193-194.
- Сарафанников Н.* — Дача в Сходне (Памяти Ю. Д.
Кашкарова) — 196; Три осенних эскиза — 198/199.
- Скоков А.* — Лучших не будет — 195.
- Стрижов Д.* — Пугачев — 196.
- Чулков Г.* — Красный жеребец.
Предисловие *М. Михайловой* — 192/193.
- Шарапов А.* — Кража — 192/193.
- Швейцер В.* — Летним вечером в Феодосии — 196.
- Шмарьян И.* — Прекрасней кошки зверя нет — 196.
- Яновский В.* — Яблоки Кальвадоса — 197; Ересь нашего
времени — 198/199-200.

ПОЭЗИЯ

- Акимов И.* — Душевным недугом умучен; Печать лежит на всех моих трудах; Там мертвый мир уж не раскроет вежд; Еще один бесцельный день; Но избави мя от лукавого!; Темной ночью воют волки; Твои духи забыла ты — 200.
- Алейник А.* — Я в городе пожарных лестниц — 200.
- Александрова И.* — Цвета зари закат — 192/193.
- Антонович А.* — Вот и осень в Нью-Йорке. Ветра; Живу предчувствием победы ли, беды; Будни; Своей душе нimalo не молясь; Судьба; Ничего другого, кроме детства; Однажды снилось мне; Тень дерева в ладонях остужу — 196.
- Барабтарло Г.* — Фома и Ерема; Баллада; Тоска, от страха чуть живая; Дочери; Ночной аквариум (Восемь терцин) — 198/199.
- Близнецова И.* — Вольному-воля, спасенному-рай; Бывает близость невозможна душам; Сон; Стрекоза; Труды влачащему с трудом; История одной любви — 198/199.
- Бобышев Д.* — “Петербургские небожители” — 197; Завитки — 198/199.
- Бриф М.* — В гостинице — 200.
- Бродский И.* — У памятника А. С. Пушкину в Одессе; Мы жили в городе цвета окаменевшей водки; Приглашение к путешествию; Метель в Массачусетсе; Итака; Подражая Некрасову; В воздухе - сильный мороз и хвоя — 195; Из “Меден” Еврипида — 196.
- Гандельсман В.* — Это ты стоишь в прихожей с клюкой; На скорбном родине развале — 192/193; Остановка над дымной Невой; Это город слепых; Если заперты рыбы,

- прохожий; Коридоров жилищных контор; Если это последний — 194; Из календаря 1955 года — 198/199.
- Георгадзе М.* — Гольфист; Как янтарь небоскребы над морем; Черный и бледный, весь в волосах и в коже; Как хорошо сказать: “я в тех краях жила” — 194.
- Горбаневская Н.* — Я из тех кого она; Ставили поставец; Это стон у нас, этот вопль; Не говори ты мне о легкости; Когда осемь и седьмь; Мое место под солнцем на грязном; Еще сердце — как заяц; Нет, не спя, не разлюбя; Поди походи по Тверскому бульвару; Хоть и освещена фонарями — 196.
- Грицман А.* — Москва; Конец столетия; Кладбище — 198/199; Нью-Йорк; Автоответчик — 200.
- Гройсман В.* — К музыке; Тесный круг рассеялся, как дым — 194.
- Дижур Б.* — Утро; Слушая Баха; Гора; Нас породил ветхозаветный Каин — 198/199.
- Дубнов Е.* — Как по губам сухой колющий снег — 192/193.
- Жмайло Т.* — Гори, гори, отечество мое — 192/193.
- Зубова Л.* — Старухи; Когда он мне еще дарил цветы; Лихой молодец духовный отец; Есть племя такое в дикой стране — 195.
- Ильинский О.* — Смыслы; Тягач — 200.
- Коган А.* — Ты в ночь закинул отраженье; Я узнаю январь — 193/193.
- Косман Н.* — В сумрачное утро разве знаешь; Вот он, видишь, летя; От тревожного света ночных фонарей просыпаясь — 192/193.
- Красильников Н.* — Югославские вишни — 194.
- Кротов М.* — За время, прошедшее с нашей последней встречи, я переехал; Как города, засыпанные снегом; Что, если окровавленная бритва; Сердце наполненное ядом; Пусть в будущем своем перерождении — 195.

- Кружков Г.* — Скамья в Тригорском; Банька в Михайловском;
Тотнесская крепость; Дьявол в Дартингтон-Холле;
Химера времени; Человекообразная обезьяна — 196.
- Куллэ В.* — Из поэмы — 192/193.
- Кунина Ю.* — Спасибо, что ты миновала, работа; По улице. Над
головой; Когда кликушествуют дни — 194.
- Левинзон Р.* — Голубеет, синее, темнеет; Чем дольше живешь,
тем прозрачнее пишешь; За раковиной прячется ушную;
Быть женщиной — дышать судьбой; Забудем о славе,
о музах — 198/199.
- Легкая И.* — Мы выбрали благую участь безумия — 200.
- Лосев А. Ф.* — Стихи 1942-1943 гг. — 196.
- Мазо Н.* — Просторный вид с далекого холма; Канторы и
атеисты; Катулла желчь и зной. Отчаянье в
крови — 192/193.
- Мальцева Н.* — Возвращение Одиссея — 198/199.
- Марк Г.* — В тот час, когда в загаженных парадных; Мой
дряхлающий город засыпало синей золою; Над каналом
храм языческий; Петербургский романс — 194.
- Машинская И.* — Не хочу; Блюз пешего хода; Диетическое;
Автобус. Ньюарк. Нью-Джерси; Оплаканый, уходит день
осенний; Под часами; Уходи, уходи, улетай;
Песня — 195.
- Месяц В.* — Колумб; Собачьего вальса глухие шажки; Мама в
августе — 192/193.
- Микушевич В.* — Безоблачный, но безотрадный;
Комсомолка — 194.
- Наумов А.* — В дороге; Быстрой благостью лето налито; За
городом осень - ясней, откровенней — 192/193.
- Несмелов А.* — Два неизвестных стихотворения — 200.
- Николаев Ю.* — Хвала болотам — 192/193.
- Пригов Д.* — Из цикла “Пять поэм на жизненном пути” — 196.

- Пробштейн Я.* — У меня семь пятниц на неделе; Видение;
Просыпаться от петушиного клича; Тело бросается в
утреннюю росу — 197.
- Пушкин А. А.* — В эстафете помираний; На Кутузовском балконе;
У красивого хасида; Газ не выключил, дверь не закрыл; Я
часы остановил, чтобы Время отдохнуло — 195.
- Радашкевич А.* — Из цикла “ Последний Париж ” — 197.
- Семенов Л.* — Из цикла казачьих песен — 195.
- Сибилев А.* — У одной приятельницы мама — 200.
- Синкевич В.* — Натюрморт; Твои поезда идут в разные
направления; Утро на дне океана; Золотые просторы,
куда привожу я собак; Зимнее — 198/199;
О городе — 200.
- Струк А.* — Княгиня Наталья Долгорукова — 192/193.
- Темкина М.* — Вот она идет, вижу издали. Одета; Разговор с
Тамарой; О пользе свободного передвижения — 196.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Андроникашвили-Пильняк К.* — Загадочная история дневников
провинциала — 198/199.
- Бобышев Д.* — Эстетическая формула Иннокентия
Анненского — 198/199.
- Болычев И.* — Игорь Чиннов: “Последний парижский
поэт” — 197.
- Линник Ю.* — Философские искания в прозе Василия
Яновского — 194.
- Максудов С.* — “Мастер и Маргарита” — театральный роман в
пяти измерениях — 196.
- Сендерович С. и Шварц Е.* — Цинциннат в двойной
эмиграции — 200.

- Сечкарев В.* — К тематике поэзии В. Набокова — 197; Резонеры-философы в романах М. Алданова — 200.
- Тахо-Годи Е.* — “Зелень рая на земле” (Поэтический мир А. Ф. Лосева) — 196.
- Шнеерсон М.* — “Лучший слой в нашей стране” (Заметки о Булгакове) — 192/193.
- Шраер-Петров Д.* — Искусство как излом — 196.

ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ПОЛИТИКА

- Аксенов В.* — Литература - дитя открытого общества. Интервью, данное *М. Гольденбергу* — 192/193.
- Дружников Ю.* — “С Пушкиным на дружеской ноге” — 195.
- Ильин П.* — О переименовании городов в Советском Союзе в честь “выдающихся личностей” — 192/193.
- К столетию А. Ф. Лосева. *Е. Тахо-Годи* - Вступительная заметка; *В. Ерофеев* - Последний русский философ; *о. А. Бабурин* - Из общения с А. Ф. Лосевым; *Г. Вагнер* - А. Ф. Лосев о становлении личности — 192/193.
- Либерман А.* — Волшебная сказка и строгий расчет (К столетию со дня рождения В. Я. Проппа) — 198/199.
- Люлечник В.* — Русский вопрос в России — 196.
- Максудов С.* — Цивилизация страха — 197.
- Молодяков В.* — Константин Леонтьев и Валерий Брюсов (История не встречи) — 197.
- Поповский М.* — Вера, церковь и моя профессия — 198/199.
- Пробштейн Я.* — Миф и поэзия — 196.
- Раев М.* — В помощь исследованию Зарубежной России — 196; Реформы в истории России — 198/199.

- Синкевич В.* — “Наследие Чингисхана” (К столетию со дня рождения Н. С. Трубецкого) — 196.
- Сонкин Д.* — Практическая генеалогия. Опыт применения в литературоведении — 195.
- Суконик А.* — Похороны куклы — 194.
- Тарабукин Н.* — Ритм в искусстве. Подготовка текста *А. Дунаева* — 194.
- Юниверг Л.* — Эрих Голлербах как издатель и библиофил — 198/199.

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

- Письма *Георгия Адамовича*. Публикация и примечания *В. Крейда* — 194; Письма Г. В. Адамовича *И. В. Чиннову* — 198/199.
- Алданов - Коновалову*. Письма. Публикация *А. Любимова* — 200.
- Письма *К. Д. Бальмонта* *А. Ранниту*. Публикация *Ж. Шерона* — 198/199.
- А. Бахрах* — По памяти, по записям... III. Публикация *Г. Поляка* — 197-198/199.
- Булгаков - Шестову, Шестов - Булгакову*. Публикация *М. Раева* — 200.
- В. Вейдле* — О тех, кого уже нет. Воспоминания. Мысли о литературе. Публикация *Г. Поляка* — 192/193.
- И. Грэм* — Артур Сергеевич Лурье — 198/199-200.
- Р. Гуль* — Моя краткая биография — 200.
- Письма *Р. Гуля* писателям-эмигрантам. Публикация *В. Крейда* — 200.
- А. Даманская* — На экране моей памяти. Публикация *О. Демидовой* — 198/199.

- А. Донсков* — Сожжение огнестрельного оружия (1895 г.) и его последствия — 197.
- М. Драй-Хмара* — Письма из Гулага. Предисловие
А. А. Пушкина — 197.
- гр. А. Комаровский* — Воспоминания — 198/199.
- Н. Лесков* — Новые материалы. Публикация *А. Романенко* — 197.
- А. Нилин* — Переделкино. Зимняя дача — 198/198.
- Письма писателей Р. Гулю. Публикация *Г. Поляка* — 200.
- Б. Поплавский* — Дневник Т. Публикация *А. Богословского* — 195.
- М. Раев* — М. М. Карпович - русский историк в Америке — 200.
- Л. Ржевский* — Зажмурясь в прошлое... — 200.
- В. Романович* — Воспоминания. Письма к Е. Л. Миллер.
Публикация *О. Демидовой* — 195.
- Последняя жена Есенина. Письма *С. А. Толстой-Есениной*.
Предисловие, публикация и примечания
С. Шумихина — 196.
- П. Шибанов* — Полвека со старой книгой и ее друзьями.
Публикация *А. Богословского* — 195, 198/199.
- Э. Штейн* — Ларисса вспоминает — 200.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Георгадзе М.* — Anna Akhmatova and her circle. Compilation and notes by K. Polivanov — 194.
- Голлербах С.* — “Кентавр” Эрнста Неизвестного — 194; Олег Цингер. Где в гостях, а где дома — 197; А. Русакова. Символизм в русской живописи — 198/199; Алэн Герра. Прогулки по русской Ницце — 198/199; The Salon Album of Vera Sudeikin-Stravinsky — 200.
- Гут А., Кумыков В.* — Мариам Ибрагимова. Имам Шамиль — 196.

- Дмитриев В.* — Встречи. Альманах-ежегодник под ред. В. Синкевич — 195; Диана в стране чудес. Д. Виньковецкая. Америка, Россия и я — 197; Встречи. Альманах-ежегодник 1995 — 198/199; Helen Yakobson. Crossing Borders — 198/199.
- Завалишин В.* — Д. Стрижов. Ранние вода и земля — 195; Н. Косман. Перебои — 197; Библиография дипийских книг — 197.
- Ильинский О.* — Воспоминания о Серебряном веке. Сост. В. Крейд — 194.
- Крейд В.* — Берега поэтической диаспоры. Сб. "Берега" под редакцией В. Синкевич — 194.
- Мартынов И., Косс Ф.* — Уроки сострадания. Ирина Муравьева. Душа, плывущая в эфире. Рассказы — 196; Проснувшийся в Армагеддоне. Г. Марк. Среди вещей и голосов — 197.
- Раев М.* — Р. Г. Скрынников. Царство террора — 192/193; G.S. Smith. The letters of D. Mirsky; V. Ivanov. Dichtung und Briefwechsel; Russische Emigration in Deutschland 1918 bis 1941 — 197; Н. Е. Андреев. То, что вспоминается — 200.
- Ратникова Л.* — Новая антология русских поэтов-эмигрантов — 198/199.
- Синкевич В.* — Новое издание "Энциклопедического словаря русской литературы" В. Казака — 192/193; Марина Гарбер. Дом дождя — 200.
- Соловьева М.* — К. Плешаков. Физика — 195.
- Сумеркин А.* — Пути поэта. Иосиф Бродский. Пересеченная местность — 196.
- Толстая Т.* — Boris Yeltsyn. The Struggle for Russia — 196.
- Штурман Д.* — О многопринадлежности homo novus — 192/193.
- Ясногородская Е.* — Евреи в культуре Русского Зарубежья. Вып. I — 192/193.

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

- Бабенышева С.* — Цветаева в дни столетия — 192/193.
Белый А. Л. — Об И. К. Акимове и его стихах — 200.
Голубков М. — “Новый Журнал” вчера и сегодня — 192/193.
Давидсон А. — Николай Гумилев и русская эмиграция в
Эфиопии — 196.
Дижур Б. — О хранителе буддийского храма — 197.
Езерская Б. — Ты один мне поддержка и опора — 193/193.
Ершов В. — Русский Общевоинский Союз и российская
эмиграция — 197.
Из беседы, состоявшейся 16 марта 1984 года
(О А. Ф. Лосеве) — 192/193.
Климов Р. — О Михнове — 192/193.
Лещенко-Сухомлина Т. — Козминский — 197.
От редакции — Двухсотый номер — 200.
Письма в редакцию: *С. Божков* — 192/193; *Т. Курилова*,
И. Яновская — 195; *Р. Герра, L. Szilard, В. Ткачук*,
Н. Жернакова, Г. Поляк — 200.
Поповский М. — Постскриптум — 200.
Хисамудинов А. — “Исповедь белого эмигранта
Жиганова” — 197.
Штейн Э. — Альбом шаржей В. Сорокина — 200.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

- Н. Н. Берберова* (1901 - 1993) — Я любила минуту жизни больше
славы — *А. Сумеркин* — 192/193.
И. А. Бродский (1940 - 1996) — Вослед уходящему —
Д. Бобышев — 197.

- В. К. Завалишин* (1915 - 1995) — Памяти Вячеслава Клавдиевича Завалишина — *С. Голлербах* — 197.
- Ю. Д. Кашкаров* (1940 - 1994) — Памяти Юрия Даниловича Кашкарова — *С. Голлербах, Д. Шраер-Петров, М. Пельцман, М. Георгадзе, А. Сумеркин* — 195.
- Т. А. Осоргина-Бакунина* (1905 - 1995) — Памяти Т.А. Осоргиной-Бакуниной — *М. Раев* — 197.
- Анна Стен* — Анна Стен — *В. Завалишин* — 192/193.
- И. В. Чиннов* (1909-1996) — Поэт Игорь Чиннов — *В. Крейд*; Памяти Игоря Владимировича Чиннова — *О. Ильинский* — 200.

РЕДАКЦИЯ
РАСПОЛАГАЕТ

номерами "Нового Журнала" прошлых лет издания.

Цена — от 15 до 10-ти долларов.

ГODOВАЯ ПОДПИСКА НА "НОВЫЙ ЖУРНАЛ" —
— ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУЗЕЙ
И РОДСТВЕННИКОВ В С. Н. Г.

Стоимость подарочной подписки,
включая пересылку — \$ 40.00

Русская благотворительная миссия, обществу г. Ногинска (бывшего Богородска) совместно с Институтом российской истории Российской академии наук готовятся отметить в 1997 году 200-летие торгово-промышленного дела Морозовых и осветить огромный вклад этой семьи в экономическую и культурную жизнь России.

Планируется проведение юбилейных торжеств в Москве, Орехово-Зуеве, Ногинске (Богородске), Твери, создание музеев, издание энциклопедии "Морозовы".

С ноября 1995 г. проводятся ежегодные "Морозовские чтения" — первая конференция пройдет в Ногинске на тему: "Морозовы и их роль в истории России".

Приглашаем соотечественников и прежде всего потомков рода Морозовых к сотрудничеству в восстановлении памяти о достойнейших людях России.

Присылайте свои воспоминания, документы, фотографии — они будут опубликованы в материалах "Морозовские чтения".

Со всеми Вашими предложениями обращайтесь в Оргкомитет.

Секретарь оргкомитета — Маслов Евгений Николаевич.

Адреса в России:

105215 г. Москва, 11 - Парковая ул. 44-3-154, тел. (095) 468-44-57, Заводская Галлея.

142410 г. Ногинск, Московской обл., ул. Бетонная, д. 2, Маслов Евгений.

Юрий Кашкаров

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

Повести и рассказы великолепного мастера русской прозы, многолетнего редактора "Нового Журнала", складываются в трагический портрет России от Смутного времени до брежневских десятилетий.

(266 стр. ISBN 0-89830-112-2)

Цена книги \$20.00, пересылка \$1.50

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВОВ

- На путях изгнания. А.Н.Донсков вспоминает.* Сост. А.А. Донсков (внук). Legas. Ottawa, 1992 .
- Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о русских людях. В Эстонии. По дороге оттуда. В Америке.* Н-Й, 1994.
- Петровская-Халили, Тамара. *Рассказы о старом и новом мире.* Н-Й, 1995.
- Lemkhin, Michael. *Missing Frames. Photographs.* Intr. by Olga Andreyev-Carlisle. Hermitage Publishers. Tenaflly, NJ, 1995.
- Socialist Realism without Shores.* SAQ, Vol.94 (3). Spec.Iss.
- Eds.: T. Lahusen and E. Dobrenko. Duke Univ.Press. Durham, NC, 1995.
- Курилова, Таина. *Поводырь мой — любовь.* Стихи. "Джангар". Элиста, 1995.
- Кудлай, Алексей. Каталог иконописи. "Фонд". М., 1995.
- Chef, Genia. *Neo-Mythology and Regressive Projects.* Stuart. NY.
- Описание документов XIV-XVII вв. в копийных книгах...*
(Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.
- Рукописные книги собрания придворной певческой капеллы.*
(Каталог Российской Национальной Библиотеки). С-Пб., 1994.
- Hilton, Alison. *Russian Folk Art.* Indiana Univ. Press. Bloomington & Indianapolis, 1995.
- Тальберг, Николай. *Неизвестная Россия (1825-1917).* Очерки истории Императорской России... ЛитУч. М., 1995.
- Терновский, Е. *Кудесник.* Роман. Klincksieck. Paris, 1996.
- J. Thomas Shaw. *Collected Works, Vol. I. Pushkin. Poet and Man of Letters and His Prose.* Charles Schlacks, Jr., Publisher, 1995.
- E. Ternovsky. *Pouchkine et la tribu Gontcharoff.* Klincksieck. Paris. 1992.
- Adrian Wanner. *Baudelaire in Russia.* University of Florida, 1996.

The NEW REVIEW (NOVYI ZHURNAL) is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly in the free world. It requires the support of loyal friends:

Patron	— \$1,000
Benefactor	— \$ 500
Sponsor	— \$ 250
Fellow	— \$ 100
Friend	— \$ 50

The Internal Revenue Service has determined, in a letter of March 29, 1990, that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a "public charity" pursuant to the provisions of the Internal Revenue code.

Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible under the provisions of section 170 of the code.

Checks may be made to The NEW REVIEW.

THE NEW REVIEW
611 Broadway, Room 842
New York, NY 10012

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication - The New Review. - A. Publication No. 596680
2. Date of Filing - [as published]
3. Frequency of issue - Quarterly. - A. Number of issues published annually - 4
- B. Annual Subscription price - \$ 40.00
4. Location of known office of publication - 611 Broadway # 842, New York, NY 10012.
5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers - 611 Broadway # 842, New York, NY 10012.
6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor.
Publisher : The New Review Incorp. - 611 Broadway # 842, New York, NY 10012.
Managing editor : Vadim Kreyd.
7. Owner : The New Review Inc. - 611 Broadway # 842, New York, NY 10012.
8. Known bondholders, mortgages, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities. - None.
9. For completion by non-profit organizations authorized to mail at special rates (Section 132, 122 Postal manual).
The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes. - Have not changed during preceeding 12 months.
10. Extent and nature of circulation

	Average number of copies each issue during preceeding 12 months	Actual number of copies of single issue published nearest to filing date
A. Total No. copies (Net Press Run)	1150	900
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	160	150
2. Mail Subscriptions	430	460
C. Total paid circulation	590	610
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples complimentary, and other free copies	40	40
E. Total distribution (Sum of C and D)	630	650
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccounted, spoiled after printing	520	250
2. Returns from news agents	none	none
G. Total (Sum of E & F and 2 should equal net press run shown in A)	1150	900

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. (Signature of editor, publisher, business manager, or owner) - The New Review Inc.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132, 121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner.

Oksana Radysh: Business Manager & Treasurer.

НОВЫЙ Журнал THE NEW REVIEW

Условия подписки:

Подписная цена на 1996 год (за 4 книги) для университетов
и организаций — \$60.00 (пересылка в США — \$7.00, за границу —
\$14.00)

Подписная цена в год за 4 книги для отдельных лиц — \$40.00
(пересылка в США — \$7.00, за границу — \$14.00)

Цена отдельного номера — \$12.50
(пересылка в США — \$1.70, за границу — \$3.00)

Плата от заграничных подписчиков принимается ТОЛЬКО
в международных чеках.

**ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»**

**THE NEW REVIEW, 611 BROADWAY, #842
NEW YORK, N.Y. 10012**

Телефон и факс редакции (212) 353-1478

Прием по делам редакции и конторы

— по понедельникам и средам

от 10 до 12 час. дня.

Наш представитель в Москве:

Галина Ивановна Завидовская

Тел.: (095) 468-4457.
